

# Непрошедшее прошлое

## Собрание сочинений Шимона Маркиша

### Том 1 Античность



**Непрошедшее прошлое**

**Собрание сочинений  
Шимона Маркиша**

Том 1

**АНТИЧНОСТЬ**

Составитель  
**Zsuzsa Hetényi**

ELTE – MűMű  
Budapest, 2020

Издание Ателье Художественного Перевода (MűMű) ЭЛТЕ, Будапешт  
Published by the Atelier of Literary Translation MűMű, Budapest  
Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem MűMű Műfordító Műhelye

Ответственный редактор  
**Жужа Хетени / Zsuzsa Hetényi**

*В конце работы над серией составитель был аффилирован–ным научным сотрудником в ИПИ ЦЕУ (2020–2021).*

*At the end of her work with this series the Editor was Affiliated Senior Fellow at Institute for Advanced Study of Central European University (2020–2021).*

*На обложке*

Тит Ливий. Книга XXI. Нашествие Аннибала с введением, примечаниями, 31 рисунком, 2 географическими картами и 2 планами. Объяснил Ф. Зеленский, профессор императорского С.-Петербургского университета. Изд. 2-е. Часть I: Текст. «Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Л. Георгиевского и С. Манштейна». Царское Село, б. и., 1892. *Из библиотеки Шимона Маркиша.*  
Монета IV. века с изображением Апулея. Фото из архива Шимона Маркиша.

*Публикация в открытом доступе в интернете позволяет вносить поправки. Просьба сообщить об опечатках или ошибках по адресу:*  
***phd.kny@gmail.com***

Тексты этой книги представляют собой **ограниченный авторскими правами материал**, обязывающий на цитирование и ссылки согласно академическим правилам. Публикация в любой форме возможна только по договору и с разрешения владельца авторских прав, составителя книги.

***Корректурa, техническая редакция:***

Евгения Волнова, Наталия Дьяченко (с поддержкой ЦЕУ ИПИ),  
Анель Коженбергенова, Антонина Краснопольская

© Шимон Маркиш (*наследник*) / Shimon Markish (*heir*)

© Жужа Хетени / Hetényi Zsuzsa

**ISBN 978-963-489-269-4**

## Содержание

<i>«Непрошедшее прошлое» (От составителя)</i> .....	5
<i>Журжа Хетени</i>	
<i>«Чувство, одухотворяющее смысл»</i> <i>(Предисловие к первому тому)</i> .....	9

### Советская античность.

Из опыта участника (2001).....	21
Гомер и его поэмы (1962).....	31
Сумерки в полдень (1971, публ. 1988).....	135
Апулей (Предисловие к «Золотому ослу») (1956).....	343
О языке и стиле Апулея (1956).....	371
К читателю от переводчика («Сравнительные жизнеописания» Плутарха) (1963).....	375
Путь к Гомеру	
(«Илиада» и «Одиссея» Гомера) (1967).....	379
Что такое «миф» и что значит «пересказать миф» (Предисловие к «Мифу о Прометее») (1967).....	403

**Римская летопись**

(Тит Ливий. «Война с Ганнибалом») (1968).....407  
**Античность и современность (1968).....417**

**«Господь — сила моя и песнь...»**

(О Псалмах») (1990–1994).....441

*Жужа Хетени*

*Об истории архива Шимона Маркиша..... 457*

*Краткая биография Шимона Маркиша ..... 467*

*Библиография работ*

*Шимона Маркиша по античности.....471*

*A Summary.....474*

Жужа Хетени

«НЕПРОШЕДШЕЕ ПРОШЛОЕ»

От составителя

Эта книга является первым томом в серии «Непрошедшее прошлое. Собрание сочинений Шимона Маркиша» Начало публикации серии приурочено к 90-летию со дня рождения Маркиша (6 марта 1931–5 декабря 2003).

В первый том серии вошли две книги-пересказа и важнейшие восемь текстов — предисловия, послесловия и теоретические эссе, органически примыкающие к переводам — об авторах античности (Гомере, Апулее, Плутархе, Тите Ливии) с древнегреческого и латинского, в большинстве не переизданные за последние более чем 50 лет. Том завершается самой поздней статьей Маркиша (но о самом древнем тексте в томе) о «Псалмах», предисловием к их новому изданию.

Работа над серией и переговоры об издании в России шли долго и с перерывами в течение полутора десятилетий, и в итоге зашли в тупик. Поэтому настоящая книга является результатом независимого и никем не поддержанного проекта (в соответствии с таким же статусом Маркиша в науке). В нем составителю-редактору-издателю томов (с неродным русским языком), автору этих строк помогали лишь студенты-непрофессионалы.

Любые предложения к коррекции и улучшению принимаются с благодарностью<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> По адресу, который служит и для заказа печатной версии через книжный сайт в системе «book on demand»: **phd.kny@gmail.com**.

В тома серии входят и архивные, никогда не печатавшиеся материалы, или печатавшиеся только на других языках; и также в полной форме те тексты, которые при первой публикации были сокращены.

Публикация в интернете — не вынужденное решение. Открытый доступ к текстам, естественно, при условии строгого соблюдения авторских прав, позволит строкам Маркиша достичь заинтересованных специалистов и широкого круга русскоязычных читателей.

Уникальность серии состоит и в стремлении к полноте в том, что она охватывает все творчество Маркиша, филолога-классика, исследователя эпохи гуманизма-ренессанса-реформации и основателя ныне расцветающей исследовательской области «русско-еврейская литература»; и в том, что он показан в ней как ученый, публицист и переводчик одновременно, но, главное, в том, что — в отличие от первых изданий текстов (нередко с ошибками) и их нелегальных версий (и в интернете, и в форме книг) — все тексты поправлены на основе оригиналов, не только рукописей и машинописей, но и подправленных руками автора окончательных версий, после публикации статей в журналах и книгах. (Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки.)

Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны даваться без ошибок в соответствии с этими языками. При этом иногда нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который в большинстве случаев (до 1999 года) печатал свои тексты на машинке, не всегда выкручивая расплзающиеся листы из одной машинки, чтобы вкрутить в другую для смены шрифта. Например, если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия журнала *Комментэри* дал бы *Commentary*. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной. Однако, троеточия для обозначения пропуска в статьях и цитатах были оставлены.

Тома распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества. Таких направлений было три, или, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины XIX века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с переводческой деятельностью разной степени интенсивности, а с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями. По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария, по длительности проживания — Советский Союз, Швейцария, Венгрия и, на несколько коротких периодов, Израиль. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна. Он — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший со вкусом и искусно на французском, старательно разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял).

Тексты публикуются в соответствии с примерной хронологией творчества самого автора, которая удивительно совпадает с хронологией культуры человечества и чуть ли полностью ее охватывает. Не зря Маркиша называли и энциклопедистом, и гуманистом, и космополитом культуры. Внутреннее время его публикаций по темам анализа охватывает диапазон с эпохи древнейших Псалмов до его современника Фридриха Горенштейна. В рамках каждого тома тексты расположены хронологически, ибо первичной целью собрания сочинений является показать пройденный автором путь, и даже если жанровые и тематические принципы иногда пересекаются, на первом плане стоит эта внутренняя линия творчества Маркиша, путь его становления и развития.



## «Чувство, одухотворяющее смысл»

Предисловие к первому тому «Античность»

Жужа Хетени

**П**еред читателем — первый том собрания сочинений Шимона Маркиша. Книги первого периода его творчества и первой области его деятельности принадлежат к жанру пересказа, не признанного ни художественной, ни научной литературой, считающегося скорее дидактическим, чуть ли не школьным жанром. Какова мотивация для ученого высокой эрудиции обращаться к пересказу? Название нашего многотомника будет самым кратким ответом на это. Оно выражает, что Маркиш рассматривал выбранные им темы как живую среду для культуры собственного времени, о чем он пишет на страницах чуть ли не всех вошедших в этот том текстов. Именно жанр пересказа позволил ему перефразировать античные тексты и изложить их в доступной форме, превратить их в достояние современности. «Если классическая филология хочет быть живой наукой, то ей неминуемо придется расстаться со многими своими привычками, утратить самодовлеющий, замкнутый, преимущественно эзотерический характер науки для немногих знатоков. Только принявши в себя злободневность, критическую мысль, она может доподлинно встретиться с современностью» — пишет он в статье «Античность и современность» (1968).

Этот совсем не «низкий», или, правильнее говоря, общепонятный пересказ — вместе с изящностью и богатством лексики, со свободными речевыми оборотами и некоторой архаически стилизованной манерой письма — определил научный язык Маркиша на протяжении всего творчества.

По определению Маркиша, пересказ не позволяет отклонения от темы и прибавления к нему внешних элементов, более того, сам он как «рассказчик старался передать и слог тех старинных поэтов и прозаиков, которым он следовал. Слог старинной литературы, в особенности античной трагедии, сегодня может казаться странным, но, если его упростить, приблизив к нашим сегодняшним вкусам и привычкам, это разрушит миф» (предисловие к «Мифу о Прометее»). Наверное, не будет ошибкой предположить, что архаические элементы языка самого Маркиша органично сформировались во время занятий авторами архаического периода. В то же время этот дореволюционный русский язык (вероятно, услышанный Маркишем от любимого профессора Сергея Соболевского, ученого старшего поколения) стал выражением демонстративного противостояния испорченному и фальшивому советскому варианту русского языка<sup>2</sup>. Как он сам отметил в статье об истории классической филологии советского времени, в античников-классиков «впитывалось противоядие советскому одичанию и хамству, впитывалась цивилизация как альтернатива варварству».

В наррации пересказа обращают на себя внимание речевые приемы автора, его установка на устные обращения — с одной стороны к читателю, с целью не только вовлечь его, но и удержать его внимание, с другой стороны — рассказчика к самому себе, для выражения его вовлеченности, с сомнениями и эмоциями. Функция этих устных элементов саморефлексии связана с двойными и двойственными явлениями, которыми — будь то явления прошлого или настоящего, или их связь, — Маркиш интересовался всю жизнь: двойная принадлежность, билингвизм, двойная национальная или культурная идентичность стояли в центре его исследований. Любопытно, что в его размышлениях часто встречаются выражения и формулировки

---

<sup>2</sup> Он предпочитал, например, старомодное окончание «-ою» в форме творительного падежа существительных женского рода — 'пыткою', 'ошибкою', и не склонял слово 'идиш'.

через дефис, т. е. конструкции, составленные из двух слов или двух понятий, внушающие сомнение и невозможность однозначных определений, но в то же время, понятийно и метафорически уточняя, да и графически стягивая в одно целое.

В первом томе собрания сочинений Маркиша собраны главные его работы по античности, в основном — урожаем периода, предшествовавшего его отъезду в эмиграцию (1956–1971).

В 1948-м году Маркиш поступил на филфак МГУ, на англистику (не забудем при этом, что несколько школьных лет он провел в эвакуации, в конце войны ему исполнилось 14 лет). История снова вмешалась в ход его судьбы: уже на первом курсе, во время его первой сессии арестовали его отца, Переца Маркиша, видную личность советской идишской культуры. Шимону Маркишу пришлось перевестись на классическую филологию, не только чтобы специализироваться на латыни и древнегреческом, но скорее для того, чтобы «спрятаться», как он говорил, «с пятном в биографии». О подробностях этого «укривища» (его слово) он сам расскажет в статье «Советская античность. Из опыта участника», приведенной в начале тома в качестве авторского предисловия. (Такие авторские предисловия подобались и для последующих томов.)

Само отделение классической филологии в МГУ находилось, по его словам, «в неприглядном виде». Попасть на него можно было не столько в результате сознательного выбора, сколько в качестве наказания. В это время еще шло увольнение из армии солдат Второй мировой войны. Часть их пыталась поступить в вузы, в том числе и на филологию. Все стремились попасть на русское или романо-германское отделения. При провале их ставили перед выбором: идти учиться на классическое отделение или забирать документы. Из 25 студентов-«классиков» первого курса только четверо выбрали свою специальность сознательно<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> В надежде, что читатель примет личное примечание, отмечу, что

Дипломная работа редко упоминается даже в научных биографиях и почти не считается частью творчества. Но в советское время биографии писались не теми же личностями, которым они принадлежали. Только в 2021 году (из израильского архива) я могла познакомиться с текстом дипломной работы Маркиша на тему «К вопросу об условном периоде в поздней латыни (Опыт историко-лингвистического и стилистического анализа на материале «Апологии» Апулея)». Эта, как принято говорить, многообещающая работа на 88 страницах показывает зрелого античника, знатока лингвистики, истории и литературы. У меня хранятся официальные отзывы о ней, датированные 22-м января 1953 года. Важная дата. Маркиш учится на последнем, пятом курсе. Обычно защита, экзамены и госэкзамен проходят в конце учебного года. Но это зима 53-го года. 13 января в газетах «раскрыли» «заговор» врачей, в списке арестованных преобладали еврейские имена. Прошло ровно 5 лет со дня убийства Михоэлса. На улицах и в школах установились чуть ли не погромные настроения. Начали забирать членов семей арестованных тремя годами ранее деятелей искусства из еврейской интеллигенции (об их массовой казни 12 августа 1952 года тогда никто не знал). Когда еще 16 декабря 1952 у Маркишей взяли подписку о невыезде, стало ясно, что приближается арест их семьи. И тут Маркиш решил, что он должен защититься перед арестом. Сдать госэкзамены для получения диплома он не мог никак, но удачная защита могла дать право на работу по специальности. Нужно было получить специальное разрешение, дописать работу об Апулее, получить отзывы, собрать комиссию. Три положительных мнения лежат в архиве — одно из них

---

после отличных результатов в гимназии по латинскому языку и года изучения древнегреческого языка меня отклонила от выбора классической филологии в университете и направило к русскому отделению именно узость первой области. Без такого выбора не было бы знакомства через 15 лет с Маркишем, а мои латинские занятия прекрасно вписывались в общие с ним области интереса.

написано 89-летним Сергеем Соболевским, который иногда даже приглашал Маркиша к себе домой на уроки. В день защиты у дверей аудитории Маркиша с матерью встретила Жюстина Севериновна Покровская, вдова академика Михаила Покровского (классика и романиста с мировым именем), преподававшая латинский и греческий языки, и громко, на весь коридор, сказала: «Что же это делается! Ведь это страшнее дела Бейлиса! Тогда хоть протестовать можно было, а теперь все молчат, все молчат!» Это была необычайно храбрая демонстрация солидарности, опасность которой можно оценить только со знанием эпохи. В протоколе защиты значилось, что Маркиша рекомендуют в аспирантуру — заслуженно, но также в качестве очередного жеста поддержки со стороны комиссии. Защита прошла в конце января, а 1-го февраля Шимон Маркиш, его мать, двоюродный брат, мужчины и женщины по отдельности, были погружены в этапный вагон для арестантов. Апулея от этапа отделили всего несколько дней. Маркиш получил диплом по возвращении из ссылки, из Казахстана, в июне 1954 года.

Возможности работать по специальности у филологов-классиков в 1950-е годы было мало. Первой работой Маркиша, связанной с античностью, была подготовка статей ко второму изданию Большой советской энциклопедии, но до сотрудничества с редакцией БСЭ он полгода преподавал латынь в одном медицинском училище, где «дальше родительного падежа в латыни будущие медсёстры не продвинулись, ведь в рецептах слова ставятся только в именительном и родительном»<sup>4</sup>.

Когда Маркиш присоединился к подготовке второго издания Большой советской энциклопедии, как раз шла работа над томом под буквой «С». Первым заказом, который он получил, стала статья о Солоне, государственном деятеле и законодателе Древней Греции. К статье из первого издания нужно было дописать всего лишь две строки о том, что Солон был ещё и поэтом.

---

<sup>4</sup> Интервью Вадиму Аристову. // Венгерский Курьер, 2001.11.

Маркиш сидел в библиотеках, рылся в каталогах и книгах, обобщал и анализировал материал, чтобы в небольшой по объему энциклопедической статье сказать о личности или явлении самое характерное. Потом он писал статьи для «Краткой литературной энциклопедии». Они касались в основном его специальности — латинских и греческих сюжетов.

С редакциями энциклопедий Маркиш сотрудничал около полутора лет. Так он наработал определенный опыт и попал в «Гослитиздат», который позже стал издательством «Художественная литература». Сотрудничество началось с предисловия и примечаний к книге Апулея «Золотой осёл» — ведь Маркиш и дипломную работу писал именно на эту тему. В рамках работы он начал и переводить тексты с латыни на русский. После примечаний и предисловия к вышедшему в 1956 году «Золотому ослу» Маркиш стал редактором «Художественной литературы» и проработал у них более пяти лет. С этой должности и из самой редакции он ушёл по собственному желанию, когда стал членом Союза писателей, и открылась возможность переводить и писать самому, вместо корректуры и дополнения чужих текстов.

Первой его сугубо самостоятельной печатной работой в литературе стала книга «Гомер и его поэмы». Она вышла в 1962 году в серии «Массовая историко-литературная библиотека» в том же издательстве «Художественная литература». Одновременно Маркиш много переводил с древнегреческого и с латыни — интерес к первоисточникам Древней Греции и Древнего Рима в СССР набирал силу.

Последнюю книгу об античной культуре он закончил только в 1971 году<sup>5</sup>. «Сумерки в полдень» — это очерк о закате древнегреческих городов-государств, об истории древнегреческой

---

<sup>5</sup> В 1966 году появилась книга «Никому не уступлю. Рассказы об Эразме из Роттердама», которая ознаменовала отход Шимона Маркиша от занятий античностью. Следующая книга об Эразме увидела свет в том же 1971-м году. Работы второго периода составляют материал второго тома серии.

цивилизации времен Пелопоннесской войны, изменившей модель жизни людей тогдашнего общества, в котором коллективизм полиса сменился индивидуализмом; вместо героя коллективизма Перикла появился индивидуалист Сократ.

Эта книга должна была стать частью серии, задуманной в 1969 году академиком-востоковедом Николаем Конрадом, и список работавших над ней авторов красноречиво свидетельствует о роли интеллектуальной оппозиции в мире исторических исследований. Серия называлась «Культуры времен, народов, стран» в издательстве «Художественная литература». Конрад собрал коллектив из авторов с именем. Среди них были Лев Гумилёв, Александр Каждан, буддолог Александр Пятигорский. Почти ничего из этих планов не было реализовано (кроме книг Льва Гумилёва, изданных вне серии). Из членов этого коллектива никто не остался в России, со временем все уехали.

Издательство «Искусство» отказалось печатать книгу в 1971 году, хотя она была написана по договору, и удалось выпустить её только в 1988 году в Израиле. Её текст включен в этот первый том, вместе с предисловием, написанным в 1987 году.

Маркишу помнилось, что в России кто-то издал её в 1990-е годы без ведома автора — это выяснилось, когда в первой половине 1990-х годов Маркишу позвонили из Москвы и поинтересовались, не будет ли автор против, если думская фракция «Яблоко» разместит эту книгу на своем сайте. Он дал согласие. Так появилась возможность прочитать в интернете работу Маркиша о закате греческого полиса, его коллективистского политического мировоззрения и культуры. В 1999 году книга была издана уже с одобрения Маркиша («Университетская книга»).

Необходимо сказать несколько слов о том, какую роль в советские времена играла античная литература. Идея «непрошедшего прошлого» была не просто эстетической и философской позицией. Античная литература выполняла роль иносказания о текущем (подцензурном) времени, как мы видели в приведённой выше истории с фракцией «Яблоко». Противопоставление

понятий коллективного и индивидуального, рассказы о тиранах и диктаторах или же о свободной морали Рима (свободной в том числе и от идеологии) означали для того времени глоток свободы и интеллектуальную оппозицию режиму. Образованность, мир книг стали убежищем для мыслящих людей в духоте крошечной лжи. Исторические этапы отношения советской власти к классической филологии Маркиш рассматривает в статье, которая приводится первой («Советская античность. Из опыта участника»). Там же он рассказывает случай, как «Критон» Платона был прочитан (и не издан) в контексте польских событий 1968 года, и как в другом журнале, в «Новом мире», все-таки прошла в печать статья «Античность и современность» с явным иносказательным текстом о рабстве и доносчиках. Можно считать отважным поступком ссылку Маркиша на Пастернака, или на Мандельштама («*Есть ценностей незыблемая скала / Над скучными ошибками веков...*», 1914), чьё имя десятки лет было вычеркнуто из советских публикаций. И конечно, читаем эпитафии — неизменные посвящения памяти отца, убитого режимом, который в корне был тем же самым и в конце 1960-х годов, и это еще ярче обнаружилось именно в 1968 году.

Маркиш некоторое время хранил у себя прозаические произведения Осипа Мандельштама. Но еще до встречи с Надеждой Мандельштам в 1957 году, годом раньше, он переписал у знакомой коллеги от руки в тетрадь чуть ли не полные «Воронежские тетради», которые затем давал людям перепечатать для распространения. (Об этом рассказано в интервью 1983 года Раисе Орловой.) Эта коллега показала Маркишу стихи, потому что в беседе с ней он заявил, что для него Мандельштам — самый великий русский поэт<sup>6</sup>.

В предисловии 1987 года к книге «Сумерки в полдень» Маркиш написал:

---

<sup>6</sup> Текст интервью мне прислал Геннадий Кузовкин (Общество «Мемориал»), которому я выражаю благодарность. Он готовит к изданию сборник из серии интервью Раисы Орловой о самиздате.



Я думаю, что мое описание греческой цивилизации в эпоху Пелопоннесской войны отражает состояние не только афинского или спартанского общества V века до христианской эры, но и советского общества на рубеже 60-х и 70-х годов нашего столетия. Отношение к античности всегда было в России показателем общественных настроений — по одному этому показателю можно написать чуть ли не историю российской интеллигенции.

Любопытно, что он ни разу не упоминает, как интерес к Древней Греции и в особенности к Риму в России издавна был связан с имперским самоопределением страны и православным теологическим, да и политическим самосознанием — в непрошедшем прошлом.

В итогах своего творчества, подведенных в 2001 году в одном из писем Марлену Кораллову (упомянутых в описании истории архива в данном томе), Маркиш раскрывает, какую важную скрытую роль он — вероятно, как и его читатели — придавал простым, казалось бы, вторичным по жанру комментариям к переводам. Комментарии заполняли лауну, прорезанную цензурой и антирелигиозной культурной амнезией (см. выше процитированные слова о том, что по его примечаниям к трилогии Фейхтвангера об Иосифе Флавии «целое поколение еврейской молодежи знакомилось с начатками нашей истории и цивилизации: другие источники были недоступны».

В интервью же 2001 года в Будапеште В. Аристов спросил: «Что считаете в своем творчестве самым важным?» Ответом было следующее: «Свои классические переводы. Я переводил Платона, Саллюстия, Эразма. Один голландец как-то показывал мне статью русского автора, в которой сказано, что именно я "вернул Эразма в Россию". Это приятно».

При чтении этого тома произведений Маркиша важно помнить, как читал он сам — всегда в контексте эпохи. Не только «той», но и «своей». Проводя параллели между прошлым и

настоящим, с пониманием текстов прошедших лет в контексте, не только античном, но и советском. Только этот тройной фокус исторической призмы покажет все отблески света, освещающего его интерпретацию. Мы одновременно читаем и об античности как таковой, и об античности в советские времена, и, косвенно, о самом античнике в советские времена, да и о его веке. Прозрачная призма письма Маркиша оптически преломляет свет на трех гранях, чтобы в дисперсии раскрылся весь спектр разноцветной радуги творчества.

В конце предисловия пусть сам автор расскажет, как он подвел итоги своего творчества в письме Марлену Кораллову в декабре 2001 года

Марлеша, дорогой!

Вот тебе заказанное, не отвлекаясь ни на личные дела (сегодняшние и давнишние), ни на общие рассуждения. Сколько я понимаю, ты пишешь про меня, как ты меня видишь. В добрый час, я тебе помогаю только фактографией.

Итак, я напечатался в первый раз у Сани Каждана, в сборнике Лукиана, первой книге серии «Научно-атеистическая библиотека» издательства АН СССР (перевод трех диалогов и примечания), 1954, декабрь, стало быть, ровно 47 лет назад. «Всю дорогу» считал себя, в первую голову, переводчиком и комментатором, во вторую — популяризатором и ни в какую (голову, очередь) — ученым.

Из переводов выше всего оцениваю следующее: Платон, «Федон» (1960). Еще я перевел «Горгия», но то похуже, потому что и оригинал — не такой шедевр, как «Федон».

Саллюстий, «Война с Югуртой», «Заговор Катилины» (1969). Томас Манн, «Закон» в собр. соч. (не помню года). Эразм, «Разговоры запросто» (1968–1969).

Даты — не публикации, а работы. «Венгерские народные сказки» (1972–1973). Очень радуюсь, что составил примечания к трилогии Фейхтвангера об Иосифе Флавии: по ним целое поколение еврейской молодежи знакомилось с начатками нашей истории и цивилизации: другие источники были недоступны.

Доволен двумя книгами пересказов для юношества (обе — в Детгизе): «Слава далеких веков. Из Плутарха» (кажется, 1965) (или 1964?). Тит Ливий, «Война с Ганнибалом» (1967–1968). <...>

Собственные писания.

Я начал писать «свое» из нужды. У меня не было денег даже на троллейбус, и я брался за любую работу. Одна случайная знакомая представила меня своим знакомым в издательстве «(Больш.) Сов. Энцикл-дия», где я и пошел по рукам, т. е. по редакциям. Первым моим «шедевром» были двести знаков о Солоне как поэте — добавка к статье (?), которая проходила по исторической редакции. Но это тебе просто для анекдота. Я подрабатывал в литературной редакции (Жданов, Верцман, Белкин) — все люди экстра-класса, и в театральной (увы, забыл имя-отч.-фамилию благодетельницы, кажется, Литвинова). Но повторяю: это — заработок, не «служенье музам» ни в какой мере.

Не было «служеньем» и копошение вокруг художественного перевода, хотя я писал на эту тему довольно часто и даже был членом редколлегии ежегодника «Мастерство перевода». Первая статья напечатана в выпуске «Мастерства перевода» за 1959 год. «Теория» и критика художественного перевода были для меня составной частью моего «ремесла» — не больше, но и не меньше. Так что этих статей я бы в избранный список не включил.

Не включил бы, пожалуй, и предисловий, и рецензий (из «Воплей» и «Нов. мира»), и даже статью «Античность и современность» в «Нов. мире» (1968), которую хвалил Солженицын в случайном телефонном разговоре со мною (он искал Вику Некрасова). Об этой статье я рассказал в том кусочке, что напечатало «Знамя». Я думаю, она своего времени не пережила, но судить категорически не берусь.

Напротив, маленькая книжечка о Гомере (1962) мне кажется живехонькой. Почему «Ил<иада>» и «Одисс<ея>» нас держат, не отпускают и сегодня, как это они сделаны, черт их дери? Вот она о чем, эта книжонка. Но никто ее не помнит и не упоминает. И другая живая — «Знакомство с Эразмом» (1971), такой и на Западе нет. Но, конечно, о переводе и речи быть не может, сами с усами. А «Знакомство», действительно, знакомит — и с идеалами (идеологией), и, главное, с сочинениями, которых никто давным-давно не читает.

Не скрою и того, что люблю свои «Сумерки в полдень». (Их ведь всё-таки переиздали и в России, но мне не заплатили, не сообщили даже.) Я не видел книгу Гаспарова «Занимательная Греция», сравнить не могу, но уверен, что и мои «Сумерки» заслуживают доброго слова, которое никогда и нигде, насколько я знаю, не было произнесено.

О продукции моих эмигрантских 30 лет ты знаешь, мне кажется, всё. Тем не менее, для полноты обзора, напомним, что выпустил книгу «Эразм и евреи» (по-франц., 1979, и по-англ., 1986), очерк «Пример Василия Гроссмана (по-франц., 1983, по-русски, кажется, 1985), десятка полтора-два статей по русско-еврейской литературе на разных языках, в том числе статью о Бабеле, вводящую его в контекст этой литературы. Главное то, что от старого профиля (культура античности, XVI век) полностью ушел к новому: русско-язычная культура (цивилизация) российского еврейства.

Ну, вот тебе, по мере сил и возможностей, несколько слов не к делу, а просто так».<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Лехаим, 2006. № 3. Письма были впервые опубликованы после смерти Маркиша, нелегально.



## СОВЕТСКАЯ АНТИЧНОСТЬ

*Из опыта участника<sup>1</sup>*

**П**режде всего, необходимо уточнить название. Я не участник, я бывший участник, а это не одно и то же. Я вышел из игры, из профессии почти тридцать лет назад. Три десятка лет неучастия, взгляда со стороны лишают и возможности, и права предложить сколько-нибудь систематический и мало-мальски исчерпывающий обзор. Заранее винюсь и прошу извинения.

В позапрошлом, 1999 году Георгий Степанович Кнабе, профессор Российского государственного гуманитарного университета в Москве, выпустил в своем университетском издательстве книгу «Русская античность» с подзаголовком: «Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России». Она одна могла бы служить ответом на задание, поставленное мне Жоржем Нива (итоги классической филологии в советские времена), да только Кнабе полностью исключил из сферы своего рассмотрения советский период российской истории. Тем не менее, одним исходным понятием книги и обозначающим его термином я воспользуюсь, а именно — энтелехия культуры. (Еще раз прошу извинения: я не стану задерживаться на аристотелевских истоках термина и его судьбе в схоластике и у возрожденцев.) Кнабе определяет это понятие так: «Поглощение определенным временем содержания, характера, духа и стиля минувшей культурной эпохи на том основании, что они оказались созвучными другой, позднейшей эпохе и способными удовлетворить ее внутренние потребности и запросы» (стр. 19).

---

<sup>1</sup> По тексту публикации: Знамя 2001. № 4. С. 188–191.

На первый взгляд, советская власть и античная культура в обеих своих ипостасях, греческой и римской, несовместимы. Отвращение нового режима и «нового человека» к классическому образованию не требует ни доказательств, ни примеров. Соответствующая энтелехия на рабфаке, или за рабочим столом Демьяна Бедного, — чтобы не тревожить тень Владимира Маяковского, — или в Институте красной профессуры должна была быть равной нулю. Но...

Но, во-первых, очаги не то чтобы сопротивления, но, скажем, упорства все-таки сохранялись. Кто ссылался на героев Французской революции, универсальный эталон революционера, питавших «влечение, род недуга» к римской тоге и республиканским свободам. Кто робко напоминал, что Николай Первый как огня боялся рассуждений об этих самых свободах и уволил министра народного просвещения, слишком, по мнению царя, усердно насаждавшего классическое образование. Кто кивал на Маркса, знатока и любителя греческого. Кто, как Мандельштам, «тосковал по культуре», то есть, в конечном счете, все по той же античности. Были, наконец, «недобитки», которые благоразумно помалкивали, но неопустительно хранили и, главное, передали детям глубокое и глубоко осознанное уважение к основам и опорам своей культуры — к античности и (иудео)христианству в его православном изводе.

Но, во-вторых, контроверза советская власть vs. классическая филология пережила несколько стадий. Если до 1934 года филолог-классик был парией, и мой учитель Сергей Иванович Соболевский, последний из великих, зарабатывал свой кусок хлеба преподаванием немецкого языка на рабфаке, то после этой роковой даты была реабилитирована история, и вместе с нею вернулась в университеты, на все гуманитарные факультеты классическая филология. В каком виде, в каком качестве — это уже другой вопрос, однако ж вернулась, а ведь была изгоем, без малого врагом народа. Оставляя в стороне все прочие стадии, этапы и полуэтапы, хочу обратить ваше внимание только

на завершающий сталинскую эпоху ход. Углубляя реформу, а точнее контрреформу школьного образования, восстановившую раздельное обучение и «гимназическую» форму, в нескольких московских и, возможно, ленинградских школах ввели, в начале пятидесятых, в виде эксперимента, латынь, и даже учебник школьный появился, с посвящением, вы легко догадаетесь, кому, — правильно, товарищу Сталину.

Но, в-третьих, как показано в замечательной статье Абрама Терца «Что такое социалистический реализм?», прославленный метод советской литературы и искусства есть не что иное, как вытасченный из гроба псевдоклассицизм XVIII века, а тот, в свою очередь, вне какой-то соотнесенности с подлинной классикой немислим. Разумеется, в случае Долматовского или Первенцева об энтелехии говорить не приходится, однако же общая атмосфера имперского ложноклассического стиля, безраздельно восторжествовавшая в послевоенные годы, безусловно способствовала снисходительному и даже покровительственному отношению к наследию древности.

Этими тремя «но» я ограничусь, хотя к ним можно было бы прибавить еще несколько, и немаловажных. Они, впрочем, еще выйдут на поверхность сами — по мере рассказа о собственном опыте.

Я попал в классическую филологию случайно, но, как сказали бы марксисты, случайность была ипостасью необходимости. Я был студентом романо-германского отделения московского филфака, когда в январе 1949 года арестовали моего отца (чтобы убить его три с половиной года спустя). За сутки обыска я потерял вкус к тому, что называлось у нас гуманитарными знаниями, и решил переменить идеологически окрашенное слово на любое, какое ни случится, дело. Однако уйти из университета и даже перейти на другой факультет оказалось невозможным, единственное, что оставалось, — это нейтрализовать, деидеологизировать слово, чтобы оно не несло никакой нагрузки, кроме грамматической — род, падеж, число,



залог и т.п., — и ни под каким видом не участвовало в классовой борьбе или борьбе за мир. Латынь, от которой я уже вкусил самую малость, и еще совсем неведомый греческий чудились искомым «укривищем» (да простит мне Солженицын этот плагиат) — и я не просчитался.

Вот, стало быть, первая в моем случае функция классической филологии: она укрыла меня от смрада «советской ночи», от ее удушливой лжи. Меня — а других? Много ли нас было? Не знаю точно, да и как бы мог я узнать в те годы повального террора, но, по некоторым признакам, заключаю, что был не одинок. Конечно, бывало и обратное — смрадная ложь притягивала, соблазняла, сулила успех. Один аспирант, видимо, в борьбе против низкопоклонства перед Западом, разделался с Виламовицем-Мёллендорфом, разоблачил его буржуазные, реакционные вымыслы; другой применил гениальное ленинское учение о двух культурах в рамках одной национальной культуры к литературе Древней Греции и нашел в ней народное, демократическое направление, противостоящее аристократическому, антинародному. Но это усердие было их личной инициативой, наши старшие если и не смели ее оспаривать, то никак не поощряли. А мою безыдейную игру в бирюльки, сиречь в грамматику, — поощряли.

Позволяю себе предположение, что перевод был следующим шагом в той же игре. Мы — я имею в виду свое поколение, хотя, наверное, лучше бы мне не представлять, а говорить только от собственного имени, — мы старались шагнуть от грамматики, т. е. от голого смысла, к стилевому нюансу, т. е. к чувству, одухотворяющему смысл, и это одинаково верно и для поэзии, и для прозы. Помню, каким откровением для меня явилось платоновское письмо, ни с чем не сравнимая сота, изящество, божественная — буквально божественная! — легкость сплетаемых им словес. В старых переводах от этой божественности не было ни грана, ни искры. Передать российскому читателю хоть что-то от нее, хоть тень, хоть отблеск, казалось

уже не просто профессиональным долгом, но, не сочтите за высокопарность, миссией. Да, миссией избавления от кошмара казенной идеологии с ее «дурно пахнувшими мертвыми словами». Не говорю уже о том, что первая после почти пятидесятилетнего перерыва публикация Платона по-русски в начале шестидесятых была прямою победой над этой самой идеологией и что достигнута она была именно аргументом искусства, художества: и при утверждении издательских планов, и во вступительной статье Платон был представлен как, главным образом, мастер прозы, а не философ, да и издательство-то было «Художественная литература»!

Но древнее, давно отзвучавшее слово, случалось, обладало взрывчатой силой, превращалось, по тогдашней терминологии, в носителя «неконтролируемого подтекста». Вот поучительная на сей предмет история.

В 1966 году я написал для «Вопросов литературы» статью об актуальности античной культуры. Главный редактор, Виталий Михайлович Озеров, далеко не худший из смертных, то есть вождей Союза писателей, статью «зарубил». Что именно ему не понравилось, я не помню, но общий смысл укоров не забыл: марксистский анализ не на высоте. Года через полтора я встретил случайно бывшего однокурсника, Игоря Виноградова, который ведал тогда критикой в «Новом мире». Мы давно не виделись, и, среди прочего, он спросил, нет ли у меня чего-либо для них. Я рассказал ему про промашку с Озеровым и погорчился, что «Новому миру» мои «Античность и современность» явно ни к чему. Я ошибся — и был счастлив, не скрою. Существенная поправка была одна. Среди примеров того, как современно может звучать античная словесность, у меня был отрывок из платоновского «Критона», где осужденный на смерть Сократ объясняет свой отказ бежать из тюрьмы и от казни: этим он оскорбил бы законы, под властью и защитой которых прожил благополучно и без возражений целую жизнь, — ведь будь он недоволен афинскими законами, он мог бы беспрепятственно

выселиться в иной город, т.е. полис, город-государство, законы которого ему были бы более по душе. Игорь Иванович сказал, что в год изгнания Гомулкою остатка евреев из Польши (1968) мой пример будет безошибочно восприниматься как намек на ситуацию в этой стране и что дразнить гусей-цензоров попусту ни к чему. Не стану лицемерить: я и в 1966 году хотел протолкнуть намек, только не на Польшу, а на нас самих, на наше крепостное бесправие — «крепость» одной шестой. Но Игоря Ивановича беспокоил не намек как таковой, а политическая конъюнктура. «Возьми что угодно другое», — щедро разрешил он. И я, зажмурившись, взял:

Поистине, мы дали великий пример долготерпения! И как прошлое узнало крайние рубежи свободы, так мы — крайние пределы рабства. Через доносчиков у нас отняли даже возможность говорить и слушать. Мы потеряли бы вместе с голосом и самую память, если б забвение было в нашей власти в той же мере, что и молчание. Лишь теперь мы оживаем... Но природа человеческой слабости такова, что лекарства медлительнее недугов: подобно тому как тела наши растут не скоро, а гибнут быстро, так подавить дарования и усердие легче, чем вернуть их к жизни. Само бездействие становится сладко, и праздность, ненавистная вначале, под конец внушает любовь. Пятнадцать лет минуло, большой отрезок человеческого века, — и многие ушли по воле случая, а самых решительных, всех до последнего, убил принципс. Мы, немногие, пережили не только прочих, но, можно сказать, и самих себя: ведь из середины жизни вырвано столько лет, что мужчины состарились в молчании, а старики дошли почти до могилы.

Эти слова, известные любому мало-мальски начитанному «классику», — из похвального слова Тацита своему тестю, Юлию Агриколе; они написаны в 98 году хр. э., через два года после убийства императора Домициана; едва ли надо уточнять,

на кого и на что они намекали в 1968-м. Тем не менее Игорь Виноградов принял их совершенно спокойно, провел через цензуру и напечатал. Когда номер вышел, мне позвонили из ученого журнала «Вестник древней истории»: «Ты что, спятил?! Теперь нам всем несдобровать!». Историки вообще были трусливее «чистых» филологов, может быть потому, что с них клятвы на верность марксизму и цитаты из классиков (марксизма!) требовались строже и неопустительнее.

Связи на уровне неконтролируемого подтекста кажутся мне важной составной частью советской античности. Так, по крайней мере, понимал их и Юрий Осипович Домбровский, один из немногих русских писателей советской поры, чья укорененность в «древностях» была мысле- и формообразующей.

Но вернемся к классической филологии в прямом смысле слова.

Видный, плодовитый и верный — не в пример мне — ее Паладин, несколько обогнавший меня годами, но, по моим понятиям, того же, что я, поколения (имени называть не стану), написал мне недавно в ответ на вопрос о наших, то есть опять же поколения, итогах: «...Мы, и в самом деле, не могли кататься по всяким Европам, чтобы сличать рукописи и делать свои коньектуры. Да и учить нас было некому, хоть бы в той же папирологии, после гибели Церетели. В огромной стране с оборванной традицией классического образования нужны были переводы и снова переводы, — тиражи в 40–50 тысяч по доступнейшей в мире цене расходились из-под прилавка. Сколько в этой области сделано и старшим, и нашим поколением, и после моего — возьмите хоть того же Гаспарова, — сколько он напереводил и произдал! И что важнее — выяснить, звали ли «основоположника» александринизма Филетом или Филитом, Герода — Герондом, или дать хоть вашего Плутарха или — в разных издательствах — всего Овидия? Что касается исследовательских работ, то историки, имевшие свой сектор в Академии Наук и свое издательство, могли себе позволить и научный

аппарат, а наш брат, филолог, что мог издавать, кроме научно-популярных книг? Все это — не оправдание, а объяснение. Когда мы печатались за границей, хоть бы и в ГДР, наши работы замечали и неплохо оценивали, но и то относились к ним без интереса: мол, один марксизм! Подход, прямо скажем, очень односторонний и несправедливый». На этом обрываю цитату — не без сожаления: там дальше идут жалобы на несостоявшиеся заграничные поездки и неосуществившиеся контакты с коллегами за рубежом: само по себе и верно, и убедительно, но применимо к любой области знания в нелюбезном отечестве. И комментировать эту пространную цитату представляется излишним, я не стал бы оспаривать в ней практически ничего. Вот только, пожалуй, добавил бы: но и за всем тем не скроешь, что ни гигантов специальных разысканий, ни светочей популяризирующего просвещения наши — смежные — поколения не произвели. Мой корреспондент назвал Михаила Гаспарова, но, несмотря на обилие изданий и переводов, он прославлен не у широкой публики, а у специалистов, и мундиром не античника, а стиховеда, высшего чина в департаменте русского стиха. А Сергей Аверинцев, самый знаменитый выпускник всех классических отделений за минувшие полвека? Разве Древней Греции и Риму обязан своей неслыханной популярностью этот культуролог широчайшего диапазона, почти богослов и профессор русской литературы Венского университета?

Есть что-то символическое в отдалении, пусть даже и неполном, от классической филологии двух лучших и самых результативных ее питомцев.

Коль скоро речь зашла о славе, не могу, в роли бывшего участника, обойти молчанием Алексея Федоровича Лосева. Популярность его пришла поздно, на излете дней, зато была головокружительной: еще до моего расставания с профессией к нему стекались поклонники как к пророку, как к Бахтину. Не стану играть ни в прятки, ни в академическую сдержанность: я Лосева не любил и в душу не пускал, а на залезания в молодые

души он был специалист высокого класса. Не знаю, какой он был философ — не могу и не берусь судить, — но писал он скверно: «жидко», многословно, нередко темно, и не от глубокомыслия, а от неряшливости, от невнимательности к читателю. Я убедился в этом с редакторским карандашом в руке, готовя к набору рукопись тома «Истории греческой литературы», где Лосеву принадлежала обширная глава о поздней греческой философии. Ответственный редактор книги, незабвенная Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек, только отмалчивалась, хотя у меня не было ни малейших сомнений, что она со мною согласна. В конце концов, сказала: «Ладно, оставим его, как есть, не стоит с ним спорить». Отвращение ко всяким конфликтам, знакомое всем, кто имел счастье знать Марию Евгеньевну? Или, скорее, аура страдальца, окружившая Лосева со времен оттепели? Она была, несомненно, и подлинна, и заслужена, то есть выстрадана, эта аура, но тем страшнее зияли на ней прорехи: каждения великому Сталину, которые не один я обнаруживал в лосевских публикациях начала пятидесятых годов. Никогда в них не покался ни сам тайный монах, ни кто-либо из его обожателей. Вот почему невозмутимое самодовольство позднего Лосева и культ, вокруг него клубившийся, казались мне безвкусными, неуместными. При огромной эрудиции и феноменальной памяти классической филологии он дал слишком мало. У меня есть основания полагать, что не одна Грабарь-Пассек, но и иные лидеры советской античности относились к Лосеву, мягко говоря, скептически, хотя вслух, по разным причинам, и не высказывались. Относились и относятся, и младшим свой скептицизм передали.

Назвав Марию Евгеньевну, я снова — тридцать, и сорок, и пятьдесят лет спустя — вижу и ощущаю себя в той неповторимой атмосфере, какую было общество старых «классиков», будь то у них дома, будь то в постылых университетских аудиториях и коридорах, будь то, наконец, и у меня. Мне хотелось бы назвать поименно всех, как бы отнимая их у забвения, пусть на

миг. И самых близких и любимых, москвичей и ленинградцев, и тех, от кого отстоял чуть подальше. Но это может показаться слишком личным, а следовательно, и нескромным, и потому оставим имена *in rectore* и обратимся к атмосфере, создававшейся их носителями. То была, насколько я способен судить сегодня, самая высокая, самая утонченная и самая действенная форма энтелехии культуры: я бы сказал, что впитывались не только слова, обороты, идеи, образы античности, — впитывалось противоядие советскому одичанию и хамству, впитывалась цивилизация как альтернатива варварству. Вот почему, сходя со сцены, подводя свои итоги, я низко кланяюсь своей *Almae Matri* — классической филологии минувших времен: советской античности.

## **ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ (1962)**

*Незабвенной памяти отца — ПЕРЕЦА МАРКИША посвящаю*



## ОТ АВТОРА

Эта маленькая книга — не ученый труд и не учебное пособие, она написана для тех, кто прочел и полюбил «Илиаду» и «Одиссею» или хочет их прочесть. Читатель, конечно, задумывается над тем, кто и когда создал эти поэмы, что в них от истории и что чистый вымысел, как связаны они с прошлым и будущим греческой поэзии, поэзии Европы и мира. Подобные вопросы, однако, отступают перед живостью и остротой непосредственного эстетического переживания, перед «эпической иллюзией», которая — словно в театре иллюзия сценическая — захватывает и переносит в мир, творимый поэтом. Перевернув последнюю страницу и возвращаясь в наш мир, прежде всего спрашиваешь себя: в чем же секрет этого чуда? Да, чуда, ибо оно длится по меньшей мере два с половиной тысячелетия, и более семьдесят поколений испытали на себе его неслабеющую — и, видимо, вовек неиссякаемую — силу. Вполне однозначного ответа нет: каждой эпохой (если не каждым поколением) Гомер воспринимался по-своему, и многое из того, что волнует нас, быть может, оставляло равнодушным Аристотеля, одни и те же строки звучали не одинаково для современников поэта и для эрудитов времен Возрождения в монастырях и университетах. Единый и цельный, но бесконечно многогранный поэт всегда открывался лишь некоторой частью своих граней, меж тем как остальные расплывались, уходили из поля зрения. Древних поражала эрудиция Гомера, его благожелательная невозмутимость, его нравственность, его мудрость. Французские просветители второй половины XVIII века восхищались естественностью, простотой и человечностью Гомера, утверждали, что «Илиада»

и «Одиссея» дают наилучшее представление о том, в какие слова облакаются подлинные, не испорченные литературным жеманством человеческие чувства. Гоголь, считавший гомеровские поэмы единственным в мире образцом подлинной, совершенной эпопеи, был уверен в громадном воспитательном значении «Одиссеи», учащей бодрости и вере в будущее. Лев Толстой видел в чтении Гомера верный стимул к творчеству.

За последние десятилетия появилось немало превосходных работ о Гомере. Но мы не считали нужным обременять маленькую книжку грузом цитат и отсылок: право, читателю безразлично, кто из ученых впервые высказал ту или иную мысль, автор же заразнее отказывается от каких бы то ни было притязаний на первооткрывательство. Напротив, самого Гомера мы цитируем чрезвычайно обильно, желая, чтобы те немногие и простые соображения, которые здесь излагаются, принимались не на веру, а по здравом размышлении. Естественно, что остались незатронутыми все вопросы, рассмотрение которых возможно лишь на материале оригинала. К их числу относится и вопрос о гомеровском стихе. Если бы достоинства гекзаметра оригинала демонстрировались или доказывались через высокие качества перевода, такие рассуждения противоречили бы не только методу научного анализа, но и здравому смыслу.

А качества русских переводов Гомера действительно чрезвычайно высоки.

Вряд ли можно назвать хотя бы еще одного чужого поэта, которому бы так же посчастливилось в России, как Гомеру. Об «Илиаде» Н. И. Гнедича один английский исследователь сказал, что этот перевод — лучший в мире. Гнедич не просто перевел Гомера, — не изменяя оригиналу, он создал русскую «Илиаду», великий памятник русской литературы. Налет архаики, неизбежный в работе, выполненной около полутора столетий назад, нисколько ее не портит; напротив, торжественная величавость языка Гнедича как бы еще приближает его к гомеровскому эпосу, написанному на особом, искусственном, диалекте,

который самым грекам во все времена казался древним и высоким. Знаменитое суждение Пушкина о труде Гнедича:

*Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;  
Старца великого тень чую смущенной душой, –*

сохраняет свою силу и справедливость и по сей день. Подобным образом и среди переводов «Одиссеи» лучшим остается первый, сделанный В. А. Жуковским. Правда, он во всех отношениях ниже труда Гнедича (мы имеем в виду многочисленные смысловые смещения, известную модернизацию, небрежность стиха), но и со всеми своими недостатками он ближе к Гомеру, чем любой из более поздних. Несомненными достоинствами обладают «Илиада» Н. М. Минского (1896) и переводы обеих поэм, выполненные В. В. Вересаевым (1949 и 1953 гг.). Их доступность, понятность, легкость заслуженно имеют немалое число поклонников.

Цитируя «Илиаду» в переводе Гнедича и «Одиссею» в переводе Жуковского, мы проводим принятые ими написания имен собственных последовательно по всей книге (хотя иные из этих написаний устарели и ныне отвергнуты).

## I

**Ж**елание проникнуть в прошлое, узнать, «что было раньше», «с чего все началось», искони присуще человеку. Как отклик на это желание рождались некогда и совершенно фантастические мифы о богах — творцах мира и его владыках, и легенды, с различной степенью верности отражающие подлинные события старины. Легенды эти — зерна, зародыши героического эпоса, повествования о славном прошлом, которое в той или иной форме существует у каждого народа. В основе героического эпоса лежат обычно события первостепенной важности, ставшие вехою, поворотным пунктом в истории народа. Именно поэтому они сохраняются в памяти потомков, постепенно обрстая поэтическим вымыслом, под которым не всегда удается угадать подлинные факты. Были такие предания и у греческих племен, населявших Балканский полуостров, острова Эгейского моря, западную часть Малой Азии. Долгое, изобиловавшее взлетами и падениями, периодами расцвета и упадка прошлое стояло у них за плечами.

В середине II тысячелетия до нашей эры в южной части Балканского полуострова существовали рабовладельческие государства греков-ахейцев. Каждое из них было небольшой крепостью с примыкавшими к ней землями. Во главе государства стояли, по-видимому, два властителя. Властители-цари со своими приближенными и дружинниками жили в крепости, за могучими, циклопической кладки стенами, защищавшими дворец от нападения врагов, а у подножья стены лежал поселок, в котором жили, вероятно, царские слуги, ремесленники, купцы. Города сначала боролись за главенство друг с другом

(особенных успехов в этой борьбе достигли Микены на Пелопоннесе), а затем начинается широкое проникновение ахейцев в соседние страны — за море. Около XV века до нашей эры в Малой Азии или на островах Эгейского моря даже возникло ахейское государство Ахиява, которое не без успеха соперничало с самым могущественным в тех краях Хеттским царством. В том же XV столетии ахейцы покорили остров Крит — главный центр древнейшей, догреческой культуры юго-восточного района Средиземноморья. Еще в первой половине II тысячелетия до нашей эры на Крите были государства (а позже — одно государство, подчинившее себе все остальные) с монархической властью, и общество четко разделялось на классы свободных и рабов.

Критяне были отличными купцами и мореходами; промышляя торговлей и морским разбоем, они заплывали к неизвестным островам и землям, знакомились с диковинными для них нравами и обычаями чужих народов, заходили так далеко, что путешествия длились месяцами. Зато дома они вознаграждали себя за лишения и мытарства, наслаждаясь всеми радостями, какие могла им дать жизнь, — удобными жилищами, теплыми ваннами, изящными одеждами, веселыми празднествами, сопровождавшимися пением и пляской, наконец, первоклассными произведениями искусства, которые и сегодня, раскопанные археологами, вызывают изумление и восхищение.

Ахейцы и прежде испытывали на себе воздействие более высокой и утонченной критской культуры; после покорения Крита культурное влияние побежденных стало еще более значительным.

Землю, постоянно привлекавшей внимание ахейцев, — материковых и малоазийских, — была Трояда в северо-западной части Малой Азии, славившаяся плодородием почвы и выгодами местоположения. К главному городу Трояды, Илиону, или Трою, по-видимому, не раз снаряжались походы. Двенадцать слоев открыты учеными на Гиссарлыкском холме, это значит,

что двенадцать раз возникали поселения на месте, где стояла Троя, — возникали и погибали, но кто и в какое время оказывался виновником их гибели, судить трудно. Можно лишь предполагать, что один из походов на малоазийскую крепость был особенно значителен по размаху и продолжительности и впоследствии получил название Троянской войны. Трою «Илиады» отождествляют с Троей VIIa, падение которой, по данным археологии, почти точно совпадает с традиционной античной датой (около 1200 г. до н. э.).

Мы не знаем всех причин крушения могущества материковых ахейцев (в том числе — Микенского государства), но одну из них, бесспорно, был новый натиск греческих переселенцев. Дорийские племена прошли через Балканский полуостров, частично оседая по пути, обосновались на Пелопоннесе, захватили Крит, Родос и некоторые другие острова Эгейского моря. Ахейцы бежали частью на юг, частью — на северо-восток, и с этим связано традиционное деление греческих диалектов на три группы: северо-восточную ахейско-эолийскую, южную дорийскую и вклинивавшуюся между ними с востока ионийскую. Дорийцы не стали преемниками побежденных, но разрушили их общество и культуру. Рабовладельческое государство вновь сменилось родовой общиной, замерла торговля, приходили в упадок уцелевшие от разрушения дворцы царей, деградировало строительное искусство и ремесла, была забыта письменность. Это был шаг назад, надолго задержавший развитие греческих племен. Историческое прошлое забывалось, оно словно дробилось на отдельные события, становившиеся предметом легенд и преданий — мифов, как называли их греки. Мифы о героях были для древних такой же непререкаемой истиной, как вера в богов. Более того, герои сами делались объектом религиозного культа у отдельных родов (а иногда у целого племени или даже у всех греческих племен), а с другой стороны, иные из богов превращались в народном сознании в смертных героев, которые иной раз и после славной своей кончины способны оказывать

людям защиту и покровительство. Героические предания переплетались с мифами о богах. Возникали цепочки мифов, звенья которых соединены как последовательностью фактов, лежащих в их основе, так, не в меньшей мере, и законами поэтического вымысла. Но вместе с тем память народа с удивительной цепкостью хранила подлинные картины жизни и бытовые детали обращавшегося в миф прошлого — как раз потому, быть может, что оно достаточно резко отличалось от настоящего: роскошь, изобилие и пышность царей и их приближенных — от строгой умеренности и грубого равенства свободных общинников. Со временем, однако, возвышение родовой знати снова привело к имущественному неравенству, снова зародилось рабство, близился полный распад общины и новое появление рабовладельческого государства, хотя, разумеется, иного чем в микенскую эпоху. С этим промежуточным периодом в истории Греции и связан гомеровский эпос.

«Илиада» и «Одиссея» — первые дошедшие до нас эпические поэмы греков. Ясно, что столь совершенное искусство не могло возникнуть на пустом месте, родиться из ничего, что у Гомера должны были быть предшественники, но судить об этом искусстве в целом приходится лишь на основании самого Гомера и по аналогии с эпическим творчеством других народов, которое, при всем своеобразии каждого из национальных эпосов, имеет немало общих черт. Ему присущи сила, широта и гармония, связанные, по мнению многих, с целостностью, монолитностью мышления в доклассовом обществе, и эти качества эпос сохраняет, развиваясь позднее уже в условиях общества классового. Он вбирает в себя всю свою эпоху со всеми ее тревогами и радостями, а потому герой его, как писал Гоголь, «всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством людей, событий и явлений...» Это придает эпосу громадное художественное и историко-литературное значение, он представляет собою одну из важных духовных ценностей народа, а в иных случаях и многих народов.

Формальные особенности, детали поэтической техники различных эпосов (даже сильно удаленных друг от друга во времени и пространстве) часто оказываются сходными.

С большой степенью вероятности можно предполагать, что материалом, сюжетной основой греческого эпоса служили героические сказания, подобные тем, о которых говорилось выше. Они обрастали деталями и подробностями, заимствованными из жизни, окружавшей поэта. В самой основе мифа — микенской или еще более ранней — многое перетолковывалось на новый лад, соответственно новым идеалам и взглядам. Таким образом, одна из характерных черт греческого эпоса — его многослойность, и число слоев с течением времени все увеличивалось, а стало быть, сам эпос находился в непрерывном движении, беспрерывно изменялся. Вместе с тем в нем накапливались элементы неизменявшиеся, традиционные, переходившие от одного поколения поэтов к другому. Более того, без них эпическое творчество оказалось бы вообще невозможным: ведь это было устное творчество, лишь на поздней, вернее даже — последней стадии своего существования закрепленное письменностью. К традиционным элементам относится и круг мифов, из которого черпались сюжеты (он был известен и слушателям, которые иной раз сами могли сказать поэту, о чем бы они хотели услышать), и многочисленные формулы-повторы, рисующие одинаковые или сходные ситуации и действия, и постоянные эпитеты, и эпический стихотворный размер — гекзаметр, и язык эпоса... Не будь всей этой техники, великолепно отработанной и усвоенной, — и самая емкая память, самым тщательным образом тренированная и отточенная, самое горячее вдохновение не в силах были бы выполнить стоящую перед ними задачу: увлекать и развлекать, в течение долгих лет не старея, не приедаясь, не впадая в утомительное однообразие. Греческий поэт-певец (эпические произведения пелись под аккомпанемент кифары — струнного музыкального инструмента) знал наизусть десятки тысяч строк,



но текст, который он произносил, не был твердым, раз навсегда установленным, это была импровизация, всякий раз заново творимая из богатейшего материала, хранившегося в голове исполнителя. Искусство певцов (греки называли их «аэдами») было профессией, ремеслом (хотя встречались, конечно, и аэды-любители), таким же, как ремесло гадалея, лекаря или плотника, и пользовалось глубоким уважением:

*Всем на обильной земле обитающим людям любезны,  
Всеми высоко честимы певцы; их сама научила  
Пению Муза, ей мило певцов благородное племя.*

(«Одиссея» VIII, 480–482)

*Сладко вниманье свое нам склонять к песнопевцу, который,  
Слух наш пленяя, богам вдохновеньем высоким подобен.*

(«Одиссея» IX, 3–4)

Был ли одним из аэдов и сам Гомер? Этого не знает никто. Можно лишь спорить и строить гипотезы, так же как строят гипотезы и спорят по всем остальным вопросам, касающимся личности Гомера и происхождения «Илиады» и «Одиссеи». Совокупность этих вопросов образует знаменитый гомеровский вопрос, возникший еще в древности, до сих пор не решенный и, видимо, до конца не разрешимый.

Кто такой Гомер? Когда и где он родился и жил? И главное: что он написал? «Илиаду» и «Одиссею»? Одну из поэм? Что-либо еще, кроме них? Все ли в поэмах принадлежит Гомеру или в них есть позднейшие, чужеродные вставки (интерполяции)? Уже греки последних трех столетий до нашей эры судили об этом весьма разноречиво. В новое время ученые пошли гораздо дальше: само существование Гомера было поставлено под сомнение. Одни, допуская, что певец, известный нам под именем Гомера, все же существовал, высказывали мысль, что, хотя большая часть поэм создана им, художественное их единство —

результат более поздней обработки (редактуры — говоря современным языком). Другие настаивали на том, что чья-то опытная рука свела воедино небольшие по размеру песни, принадлежавшие различным авторам, а может быть, и народные. Третьи выдвигали так называемую «теорию зерна»: по их мнению, каждая из поэм разрослась из первоначального ядра — древнего краткого и простого эпического произведения. Четвертые даже подобное ядро отрицали, видя в гомеровских поэмах результат естественного развития эпоса и объявляя их плодом коллективного творчества, столь же анонимным, как, например, народная песня... Разумеется, эта критика — не прихоть ученых, она рождена противоречиями в сюжете поэм, религиозно-этических представлениях автора, картине изображаемого им мира, в языке гомеровского эпоса. Но, вскрывая противоречия и стремясь во что бы то ни стало от них избавиться, аналитики (так называют ниспровергателей «единого Гомера»), господство которых продолжалось в течение всего XIX века, буквально разодрали «Илиаду» и «Одиссею» на клочки. Их противники, унитарии, взяли верх лет сорок — пятьдесят назад. Это было не просто сменой крайностей, а результатом действительно нового и, по-видимому, единственно разумного подхода к гомеровскому вопросу. Главным тезисом новых унитариев было художественное единство гомеровского эпоса, ощущаемое непосредственно любым непредвзятым читателем, главным методом — отказ от смелых и очень часто весьма остроумных, но почти всегда недоказуемых гипотез — излюбленного оружия аналитиков — и то, что можно было бы определить как анализ изнутри: анализ поэзии Гомера — приемов, ее создающих, мироощущения, лежащего в ее основе. Используя и учитывая данные последних археологических находок, успехи в дешифровке древнейшей греческой письменности, новые унитарии внимательно прислушиваются и к тому, что говорят о Гомере античные и византийские писатели. Есть, конечно, и среди унитариев свои максималисты: необузданная

фантазия их «очерков жизни и творчества Гомера» оставляет позади все басни старинных «биографов» и комментаторов. Но не эти фантасты определяют характерную для нынешнего дня осторожную и здравую точку зрения, которую мы и попытаемся вкратце здесь изложить.

Время жизни Гомера, по мнению большинства современных исследователей, — VIII век до нашей эры. Он родился и творил в Ионии — на Западном побережье Малой Азии и близлежащих островах. Возможно, что родиной его была Смирна, что долгое время он пробыл на Хиосе, а умер на острове Иос. Возможно, что Гомер — это прозвище (*homeros* — по-гречески «заложник»), а настоящее имя поэта — Мелесиген. Слепота его скорее всего — легенда, находящая себе объяснение в том, что ремесло певца избирали обыкновенно калеки, не способные к физическому труду. Повлиял тут, вероятно, и образ выведенного в «Одиссее» аэда Демодока, в котором видели автопортрет Гомера:

*Муза его при рождении злом и добром одарила:  
Очи затмила его, даровала за то сладкопенье.*

(«Одиссея» VIII, 63–64)

Певцом мы называем Гомера лишь условно. Это был уже не аэд, певший под кифару, а декламатор-рапсод, речитативом исполнявший свои или чужие произведения. Некоторые ученые предполагают, что «Илиада» и «Одиссея», которым предшествовала многовековая традиция устного, импровизационного творчества, строились по иному принципу — с самого начала были письменным сочинением, литературой в прямом и собственном смысле слова. Главное, что приводит к такому выводу, — это искусная, сложная, но цельная и экономная композиция, а также обилие намеков, связывающих иной раз весьма значительно удаленные одна от другой части поэмы. Но нельзя ли, сославшись на многочисленные параллели из современного

фольклора (гусяров, акынов и т. п.), допустить, что Гомер не создал ничего нового, что он просто-напросто записал готовый, принадлежавший безвестным певцам материал? Нет, такая аналогия порочна уже потому, что ни один из современных фольклоров не дал ничего ни равного, ни хотя бы подобного Гомеру. Гомер — не только итог, но и начало, не только наследник, но и новатор. Мы не знаем, была ли «Илиада» первым образцом письменно закрепленного «большого эпоса», но знаем твердо (и сами греки отчетливо это сознавали), что в поэмах Гомера лежат истоки духовной жизни всей античности в целом, и это новаторство существеннее всякого другого. Гомеровский гений вышел из фольклора, но поднялся над «им так высоко, что даже заведомо фольклорные элементы кажутся органической, неотъемлемою частью его особой манеры письма», «его художественный гений был плавильною печью, через которую грубая руда народных преданий и поэтических песен и отрывков вышла чистым золотом», — писал Белинский.

Признав Гомера индивидуальностью, личностью, должно признать за ним и право на все слабости, свойственные живому человеку, — на пристрастие к одним темам и предметам и невнимание к другим, на взлеты, падения, просчеты, просмотры. Это помогает объяснить многие противоречия, не прибегая к филологической хирургии — отсечению строк и эпизодов, объявляемых позднейшими и чужеродными вставками. Не следует упускать из виду и другой, уже упоминавшийся источник противоречий — многослойность эпоса. Со всем тем традиционный текст, бесспорно, отличен от первоначального, сами древние находили в нем немало интерполяций. Так, например, интерполяцией считается вся десятая песнь «Илиады» — так называемая «Долония» (рассказ о том, как ходили в разведку Одиссей и Диомед и как был ими пойман троянский лазутчик Долон). Говорят об «аттическом заострении» поэм — следе особого интереса, проявленного к ним в Аттике: в VI веке до нашей эры, при тиране Писистрате, они были записаны вновь,

ибо рапсоды, декламировавшие их в отрывках, успели за два века значительно исказить оригинал и требовалось воссоздать уже начавшее распадаться единое целое. Вполне вероятно, что при этом были сделаны некоторые прибавления в соответствии со вкусами афинян. Однако все эти вставки и прибавления были, по-видимому, не слишком значительны, ибо художественная цельность поэм осталась ненарушенной.

«Аттическое заострение» дает о себе знать и в языке эпоса. Аттицизмы — это как бы последние мазки, положенные на почти завершенное полотно. Аэды, принесшие из материковой Греции в будущую Ионию старинные микенские сказания, вначале пели на древне-эолийском диалекте, который постепенно все больше смешивался с древнеионийским. Так в устах ионийских певцов возник особый диалект (ныне называемый «эпическим» или «Гомеровым»), с самого начала искусственный, условный, неразговорный. Рядом с формами различных диалектов в нем соседствовали формы различной древности, и вся эта многослойная смесь сообщала языку метрическую гибкость и богатство, облегчая стихосложение.

Теперь рассмотрим ближе, каков материал, использованный в поэмах.

«Илиада» повествует об одном из эпизодов Троянской войны — ссоре верховного вождя ахейцев микенского царя Агамемнона с самым храбрым и могучим из греческих героев Ахиллесом, обиде и неумолимом гневе последнего, об его отказе от дальнейшего участия в сражениях, о том, как троянцы оттеснили ахейцев до самого лагеря и едва не сожгли их корабли, как вступил в битву и погиб любимый друг Ахиллеса Патрокл и как Ахиллес, отрекшись наконец от гнева, отомстил за смерть Патрокла, сразив Гектора, — надежду и опору троянцев, сына их царя Приама. Главным источником для «Илиады» служит троянский круг мифов, — отголосок великого похода микенских греков на малоазийскую крепость, — но отдельные детали связаны с иными историческими событиями, в свою

очередь породившими иные циклы сказаний о героях. Так, упоминается поход семи против Фив: фиванский цикл, по видимому, отразил борьбу двух важнейших политических и культурных центров микенской эпохи. Выше мы говорили, что героические предания переплетались с мифами о богах. Боги принимают живейшее участие во всех перипетиях войны, они дали к ней повод (Парис похитил Елену с помощью Афродиты) и были ее причиной (Зевс раздувает распрю между ахейцами и троянцами, чтобы облегчить бремя Земли, стонавшей под тяжестью чрезмерно расплодившихся людей); более того, трансформируясь, мифы о богах положили начало некоторым сюжетным ходам, о чем, правда, сам Гомер уже, разумеется, не подозревал. Например, мотив похищения, надо полагать, восходит к какому-то критскому мифу о похищении богини плодородия. Этот огромный, пестрый материал, как видно, уже не раз бывший в употреблении у творцов древнего героического эпоса, автор «Илиады» объединяет и организует с помощью одной темы — темы гнева Ахиллеса. И точно так же, как никто не может сказать, была ли «Илиада» первым большим эпосом, невозможно установить, принадлежит ли такое композиционное новшество Гомеру или он заимствовал его у своих предшественников. Между прочим, высказывают предположение, что образцом для гнева Ахиллеса послужил гнев Мелеагра, о котором, в назидание Ахиллесу, рассказывает в IX песни Феникс.

«Одиссея» сложена из другого камня. Возвращение одного из героев Троянской войны и страшные бедствия, испытанные им на пути домой, пути, продолжавшемся целые десять лет, восходят не к мифу, а к сказке. Если в миф свято верят и неверие в него считается кощунством, то сказка — это небылица, увлекательный вымысел. Сказки о невероятных приключениях на море, о великанах и чудовищах далеких краев были широко распространены в пору расцвета критской морской державы и еще раньше. Гомеровские греки тоже знают в них вкус и толк,

недаром царь феакийцев Алкиной спешит уверить Одиссея, что никак не считает его подобным

*Многим бродягам, которые землю обходят, повсюду  
Ложь рассевая в нелепых рассказах о виденном ими.*

(«Одиссея» XI, 365–366)

Но, несмотря на эти уверения, рассказ Одиссея о своих странствиях — самая настоящая сказка. Дело не в одноглазых людоедах-циклопах, плавучем, обнесенном медной стеною острове Эола, лютых чудовищах Скилле и Харибде и обольстительницах сиренах, не в том, что Одиссей вызывает из Аида души мертвых, а волшебница Цирцея превращает мореходов в свиней, — дело в том, что не только мы, но и сам автор относится к этому рассказу как к сказке. Невозможно проследить маршрут Одиссея, понять, где он скитается, к востоку или к западу от Итаки, невозможно, да и не нужно, ибо поэт много раз и вполне недвусмысленно показывает, что его герой преступает границу между миром реальности и фантазии: переход из одного в другой занимает символически круглое число дней, непременно кратное девяти. Девять дней проходит от начала бури у мыса Малей до высадки на земле лотофагов, девять дней плывут Одиссей и его спутники с острова Эола и уже видят вдали берег отчизны, когда вырываются на волю противные ветры и снова гонят судно в открытое море, девять дней носится по волнам Одиссей после крушения своего судна, прежде чем достигает острова богини Калипсо, наконец, восемнадцать дней он добирается на плоту до земли феакийцев.

Сказочная фигура многоопытного скитальца слита с еще одним фольклорным персонажем, героем народной новеллы: давно отсутствовавший муж, возвращаясь, застаёт у себя в доме женихов своей супруги или даже ее свадьбу, и этот «составной» образ введен в троянский цикл — Одиссей становится одним из первых бойцов под Троей, сохраняя, однако, всю свою хитрость,

ум и изворотливость. Предполагают, что такое соединение разнородного материала было сделано до Гомера, что существовали более древние версии или изводы поэмы. Хотя и здесь о простой переработке не может быть и речи, «Одиссея» довольно значительно разнится от «Илиады» и в композиции, и в деталях повествовательной техники, и даже в общем мироощущении. Различие это было замечено еще в древности, и одни приписывали «Илиаду» юности, а «Одиссею» старости Гомера, другие считали их произведениями разных авторов. Обе эти точки зрения имеют сторонников среди новых унитариев, и обе одинаково находятся в области недоказуемых предположений. Нам более разумной представляется первая, так как общего между поэмами все же гораздо больше, чем отличного.

\* \* \*

То, о чем говорилось выше, дает некоторое представление об исследовании гомеровского эпоса в плане генетическом — о попытках понять, как и из чего возник этот эпос. Возможно и совсем иное его изучение — синтетическое, предметом которого служит изображенный Гомером мир, в частностях или в целом. Было время, когда ученые представляли себе этот мир чем-то единым — вне зависимости от того, к какой эпохе относили они автора поэм и воспетые в них события. Нарисованная Гомером картина представлялась точным сколком с доподлинной исторической действительности. Однако открытия последних 70–80 лет с полной убедительностью показали, что понятие «гомеровский мир» — сугубо условно и что вопрос об исторических элементах в поэмах чрезвычайно сложен. В самом деле, выше уже говорилось, что основой греческого эпоса послужили обратившиеся в миф, в легенду воспоминания о микенской эпохе, отделенной от времени жизни поэта по малой мере четырьмя-пятью веками и резко отличавшейся от гомеровской современности. «Гомеровский мир» и представляет собою смесь



из черт прошлого и более или менее современной поэту жизни. Познавательное значение Гомера по-прежнему огромно, по-прежнему он вводит своего читателя в неведомый мир, но, любясь этим миром и не подвергая сомнению достоверность огромного большинства деталей и подробностей, следует помнить, что ни в одну эпоху и ни в одной земле все эти детали разом не сочетались и, таким образом, строго говоря, «гомеровский мир» никогда не существовал.

Археологические находки микенского времени неоднократно обнаруживали поразительное сходство с предметами, упоминаемыми или подробно описанными Гомером. Так называемый «Кубок с голубями», раскопанный в Микенах, мог быть если не тем же самым, то родным братом того, из которого пил старец Нестор:

*Кубок красивый поставила, из дому взятый Нелидом,  
Окрест гвоздями златыми покрытый; на нем рукояток  
Было четыре высоких, и две голубицы на каждой  
Будто клевали златые; и был он внутри двоедонный.*

(«Илиада» XI, 632–635)

В микенских захоронениях археологи часто обнаруживали обломки кабаньих клыков, но не могли понять их назначения, пока один ученый в конце прошлого века не обратил внимание на то, как в X песни «Илиады» снаряжают в разведку Одиссея и герой Мерион

*на главу надел Лаэртида героя  
Шлем из кожи; внутри перепутанный часто ремнями,  
Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали  
Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь  
В стройных, красивых рядах; в середине же полстью  
подбит он.*

(«Илиада» X, 261–265)

На основании этих строк шлем был восстановлен с предельною точностью, как показало найденное совсем недавно, лет десять назад, изображение царя в таком именно шлеме на голове. В послемикенское время эти шлемы исчезли бесследно, и вернее всего сам Гомер никогда их не видел и не держал в руках. К числу микенских черт относятся также большие щиты, закрывающие туловище и ноги воина, бронзовое вооружение, дворцы типа, например, дворца Одиссея на Итаке:

*Может легко быть он узнан меж всеми другими домами:  
Длинный ряд горниц просторных, широкий и чисто  
могучий.*

*Двор, обведенный зубчатой стеною, двойные ворота  
С крепким замком, в них ворваться насильно никто не  
помыслит.*

(«Одиссея» XVII, 265–268)

Это многокомнатное строение всего более сходно с дворцом в Пилосе — одним из тех, что были разрушены дорийским нашествием.

Но рядом с микенскими чертами мирно соседствуют несовместимые с ними послемикенские. В микенскую эпоху трупы хоронили, гомеровские ахейцы сжигают своих мертвых, как в пору дорийского завоевания. Микенская эпоха — позднебронзовая, а в «Илиаде», не говоря уже об «Одиссее», широко используется железо, наконец, гомеровские греки неграмотны, не знают письменности, тогда как от микенского времени остались письменные памятники.

Так от первого критерия, которым поверяется ценность сообщаемых Гомером сведений, мы переходим ко второму, новейшему — к данным расшифрованного менее десяти лет назад так называемого «линейного письма Б». Несколько тысяч глиняных табличек, исписанных знаками этого письма, совершенно забытого после дорийского завоевания, были

найлены на острове Крит и в Пелопоннесе. Расшифрованные надписи не только дают возможность убедиться, насколько верно рисует Гомер предметы материальной культуры, но и позволяют более глубоко вникнуть в картину восстанавливаемых по эпосу социальных отношений. Вероятно, рабы обслуживали только хозяйства царских дворцов-крепостей, которые были как бы островками рабовладения среди моря родовых общин. Вот почему микенское рабовладение так легко и бесследно исчезло под натиском дорийцев и прошло несколько веков, пока рабство вновь зародилось в Греции. Следы этого вновь зарождающегося рабства также есть у Гомера: работорговцы-финикийцы, о которых неоднократно упоминают поэмы, должны быть отнесены уже не к микенскому времени, а к VIII веку до нашей эры. Цари микенской эпохи обладали сильной, быть может, неограниченной властью; после дорийского завоевания цари — это всего только преемники старейшин, стоявших во главе родовых поселков, и власть их ничтожна. В гомеровских царях всеилие первых сочетается с бессилием вторых. Агамемнон обещает дать Ахиллесу в приданое за дочь семью городов, и вместе с тем приказы этого верховного владыки ни для кого из вождей не обязательны.

Но, повторяем, обнаруживая и отделяя один от другого разновременные пласты у Гомера, ученые лишь подтверждают исключительную важность «Илиады» и «Одиссеи» как источника для работ во всех областях истории древнейшей Греции. Гомер был и остается бесценным памятником для социолога, политэконома, историка быта, историка материальной культуры, историка искусства. Написаны сотни трудов о гомеровской географии, гомеровской психологии, гомеровской анатомии, гомеровской эстетике, военном искусстве у Гомера.

Но не только и не столько в том бессмертие Гомера, что его поэмы — своего рода энциклопедия с необычайно широким диапазоном «статей» — от социальных отношений до причесок и бритья бороды, от кодекса воинской чести до лютых, как

дикие звери, караульных псов. Теперь, как и сто, как и тысячу и две тысячи лет назад, невозможно без волнения читать о дряхлом Приаме, который, явившись к Ахиллесу в надежде получить тело убитого сына,

*никем не примеченный входит в покой, и Пелиду*

*В ноги упав, объмает колена и руки целует, —*

*Страшные руки, детей у него погубившие многих!*

(«Илиада» XXIV, 477–479)

Великое искусство, краски которого не блекнут, а жар не остывает, соприродное искусству Шекспира, Гете, Пушкина, Толстого, несет в себе столько человеческого и общечеловеческого, такой запас красоты, разума и добра, который никогда не иссякнет. О мастерстве художника, о его неповторимом видении мира, о его широком, мудром и светлом взгляде на жизнь мы и попробуем рассказать дальше.

## II

Дар Гомера — это прежде всего дар поэтический: Гомер чрезвычайно редко поучает или проповедует, обычно он показывает. Выражение «художник слова» применимо к Гомеру в своем прямом и первом значении: он доподлинно рисует, он лепит словом, так что созданное им зримо и осязаемо.

*Гектор же нес им захваченный камень, который у башни  
Близко вздымался, широкий книзу, заостренный кверху,  
Глыба, которой и два, из народа сильнейшие, мужа  
С дола на воз не легко бы могли приподнять рычагами,  
Ныне живущие; он же легко и один потрясал им:  
Легкою тягость ему сотворил хитроумный Кронион.  
Словно как пастырь, одною рукою руно захвативши,  
Быстро несет: для нее нечувствительно слабое бремя, —  
Так Приамид захватил и стремительно нес на ворота  
Камень огромный. Ворота те были сплоченные крепко  
Створы двойные, высокие; два изнутри их запора  
Встречные туго держали, одним замыкаясь болтом.  
Стал он у самых ворот и, чтоб не был удар маломочен,  
Ноги расширил и, сильно напрягшись, грянул в средину.  
Сбил подворотные оба крюка, и во внутренность камень  
Рухнулся тяжкий. Взрели ворота; ни засов огромный  
Их не сдержал: и сюда и туда раскололися створы,  
Камнем разбитые страшным; и ринулся Гектор великий,  
Грозен лицом, как бурная ночь; и сиял он ужасно  
Медью, которой одеян был весь; и в руках потрясал он  
Два копия.*

(„Илиада» XII, 445–465)

Такая убедительность невозможна без особой, редкой остроты глаза. Не то чтобы поэт видел больше нашего, — он видит то же, что и мы, но несравненно отчетливее, резче. Входя в гомеровский мир, мы уподобляемся близорукому, впервые надевшему очки: все для него преобразуется, хотя по сути дела ничто не изменилось, в самых знакомых, самых обыденных предметах открывается нечто новое, любопытное, прежде ускользавшее от внимания. Отличный пример тому — банальные, уже потерявшие всякую образную силу сравнения вроде «непоколебим, как дуб», «быстрый, как мысль», «много, как на небе звезд», — вот как свежи они у Гомера:

*Словно на холмах лесистых высоковершинные дубы,  
Кои и ветер и дождь, ежедневно встречая, выносят,  
Толстыми в землю корнями широкоразметными вросши...*  
(«Илиада» XII, 132–135)

*Так устремляется мысль человека, который, прошедши  
Многие земли, про них размышляет умом просвещенным:  
«Там проходил я и там», — и про многое вдруг  
вспоминает.*  
(«Илиада» XV, 80–83)

*Словно как на небе около месяца ясного сонмом  
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;  
Все кругом открывается — холмы, высокие горы,  
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный;  
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится, —  
Столько меж черных судов и глубокопучинного Ксанфа  
Зрилось огней троянских.*  
(«Илиада» VIII, 555–561)

Вместе с пастырем веселится и поэт. Ему доставляет радость и то, что в такой полноте открывается его взору, и само

рассказывание, самый процесс изложения. Он словно ребенок, пристально разглядывающий попавший в его руки предмет: ребенок исследует и ощупает каждую впадину, каждый выступ, а потом подробно, ничего не пропуская (ибо все одинаково любопытно и важно!), расскажет. Детскость (нам хотелось бы употребить это слово как термин, помня знаменитое суждение Маркса о греках: «Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принадлежат к этой категории. Нормальными детьми были греки») — вот ключ, который многое отмыкает в Гомере, только не надо видеть в ней синонима глуповатой наивности или примитива. Детскость Гомера — это яркий солнечный свет, которым пронизаны поэмы: недаром в них ни разу не встречается богиня луны, но зато без счета — розоперстая Эос-Заря. Детскость Гомера — это общая приподнятость тона, восхищение жизнью в любом ее обликий: так мальчишка весною вдруг замрет над первыми зелеными былинками, пробившимися через жухлую подстилку прошлогодней травы. Отсюда эпическая величавость, благодаря которой мы с охотой читаем даже о каменной скамье в доме Нестора:

*Вышед из спальни, он сел на обтесанных, гладких, широких  
Камнях у двери высокой, служивших седалищем, белых,  
Ярко сиявших, как будто помазанных маслом, на них же  
Прежде Нелей восседал, —*

(«Одиссея» III, 406–409)

и не находим грубого натурализма в почти что медицинском отчете о раненном в плечо Диомеде:

*Храброго пот изнурял под ремнем широким, держащим  
Выпуклый щит: изнурялся он им, и рука цепенела;  
Но, подымая ремень, обтирал он кровавую рану.*

(«Илиада» V, 796–798)

Нет натурализма и в еще более грубых пассажах — в бесчисленных сценах смерти, где с анатомической точностью описываются рана и поведение умирающего:

*В правую сторону зада вонзилась стрела и далеко,  
Острая, в самый пузырь под лобковую костью проникла.  
Там же он, скорчась, присел и, в объятиях друзей любезных  
Дух испуская, упал и, как червь, по земле протянулся;  
Черная кровь выливалась и землю под ним увлажала.*  
(«Илиада» XIII, 651–655)

*...Он об пол стучал головою,  
Болью проникнутый; ноги от судорог бились; ударом  
Пяток он стул опрокинул; его наконец потемнели очи.*  
(«Одиссея» XXII, 86–89)

Это не смакование жестокости, а все та же детскость — остроглазая, гармоничная и спокойная, с жестоким интересом регистрирующая: «в грудь меж сосцов», «в спину меж плеч»,

*В голову около тыла копьем поразил изощренным.  
Медь, меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея.  
Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами.*  
(«Илиада» V, 19–75)

Детскость Гомера, наконец, — это подробности, бесчисленные, но никогда не утомляющие читателя. Подробно описываются и колесница Геры, и шлем, который надевают на Одиссея перед разведкой, доспехи Агамемнона, лира Ахиллеса, плащ Нестора, топор Одиссея, даже стул Пенелопы. С особым удовольствием рисует Гомер работу умелых рук человеческих; всякое мастерство вызывает у него чувство уважения настолько глубокого, что самый драматичный в «Илиаде» эпизод, выкуп



тела Гектора, прерывается десятью стихами о том, как ладно запрягали мулов Приамовы сыновья — как они выкатили воз, как сняли с гвоздя «блестящий ярем», вынесли яремную привязь, «ловко ярмо положили на гладкое дышло» и т. д. и т. д. А вот изделие умелых рук — наряд Одиссея:

*В мантию был шерстяную, пурпурного цвета, двойную  
Он облачен; золотую прекрасной с двойными крючками  
Бляхой держалась мантия; мастер на бляхе искусно  
Грозного пса и в могучих когтях у него молодую  
Лань изваял; как живая, она трепетала; и страшно  
Пес на нее разъяренный глядел, и, из лап порываясь  
Выдраться, билась ногами она: в изумленья та бляха  
Всех приводила. Хитон, я заметил, носил он из чудной  
Ткани, как пленка, с головки сушеного снятая лука,  
Тонкой и светлой, как яркое солнце; все женщины, видя  
Эту чудесную ткань, удивлялися ей несказанно.*

(«Одиссея» XIX, 225–235)

Есть в этом «несказанном удивлении» что-то не только от ребенка, но и от варвара-дорийца, дивящегося добыче, захваченной в каком-нибудь «обильном золотом» городе на Пелопоннесе. Гомер не называет, а показывает, и потому существительные часто одеты в убор из эпитетов. Они могут быть настолько выразительны, что в нескольких словах предмет раскрывается целиком:

*Пандар же крышу колчанную поднял и выволок стрелу,  
Новую стрелу, крылатую, черных страданий источник...  
Рог заскрипел, тетива загудела, и прынула стрелка,  
Остроконечная, жадная в сонмы влететь сопротивных.*

(«Илиада» IV, 116–126)



Но рядом со «статическими» зарисовками немало «динамических», и, пожалуй, они-то впечатляют нас сильнее всего:

*С места попутный им ветер послал Аполлон сребролукий.  
Мачту поставили, белые парусы все распустили;  
Средний немедленно ветер надул, и, поплывшему судну,  
Страшно вокруг кия его зашумели пурпурные волны;  
Быстро оно по волнам, бразды оставляя, летело.*

(«Илиада» I, 479–483)

Или еще:

*Вышел таков Теламонид огромный, твердыня данаев,  
Грозным лицом ослабляясь; и звучными сильной стопами  
Шел, широко выступая, копьём длиннотенным колебля.*

(«Илиада» VII, 211–213)

«Илиада» и «Одиссея» не менее подвижны, чем светлы и солнечны. Несутся навстречу друг другу и сшибаются рати, степенно сходит Пенелопа к женихам в пиршественную залу, мечут к самым небесам мяч, и мерно топают в пляске ногами юноши, из края в край мира бросают Одиссея судьба и гневный Посейдон. Действие то летит, то искусно замедляется, нередко — в предвкушении нового, еще более стремительного рывка вперед. И здесь основой мастерства остается точность видения, в данном случае определяющая насыщенную глагольность описаний:

*Близко к дверям запертым кладовой подошед, Пенелопа  
Стала на гладкий дубовый порог...  
С скважины снявши замочной ее покрывавшую кожу,  
Ключ свой вложила царица в замок; отодвинув задвижку,  
Дверь отперла; завизжали на петлях заржавевших створы*

*Двери блестящей...*

*Влезши на гладкую полку (на ней же ларцы с благовонной  
Были одеждой), царица, поднявшись на цыпочки, руку  
Снять Одиссеев с гвоздя ненаянутый лук протянула;  
Бережно был он обвернут блестящим чехлом; и, доставши  
Лук, на колена свои положила его Пенелопа.*

(«Одиссея» XXI, 42–55)

Но как бы сдержан, почти сух ни был в этом отрывке Гомер, он остается самим собою, единство стиля не нарушается. Чтобы в этом убедиться, приведем один «динамический» стих из героического эпоса древних евреев, повествующий о поединке Давида с Голиафом: «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». Подобная краткость, при всей ее напряженности и энергии, у Гомера невозможна: она чужда ему.

Гомерова точность, убедительность, правдоподобие ассимилируют и подчиняют себе приемы, идущие от устной эпической традиции, превращая их в равноправную составную часть гомеровской поэтической техники. Одной из сторон этого процесса было «преображение» повтора. Мы говорим «процесса», снова имея в виду многослойность эпоса: о полной ассимиляции не может быть и речи, в «Илиаде» и «Одиссее» очень много повторов-формул, употребленных в той же чисто служебной роли, в какой могли их употреблять аэды. Как правило, они невелики — не более двух строк — и передают стандартную ситуацию, примелькавшуюся настолько, что она уже не способна остановить взор ни поэта, ни слушателя или читателя: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос» — начало нового дня, «и тьма Акамазовы (или любое другое имя. — *Ш. М.*) очи покрыла» — констатация смерти на поле брани, «и когда питием и пищею глад утолили» — конец трапезы, «так говорил [говорили]» —

конец речи (типично устный повтор, как бы заменяющий кавычки на письме). Формула более пространная, типа:

*Тут принесла на лохани серебряной руки умыть им  
Полный студеной воды золотой рукомойник рабыня,  
Гладкий потом пододвинула стол; на него положила  
Хлеб домовитая ключница с разным съестным, из запаса,  
Выданным ею охотно, —*

(«Одиссея», во многих местах, например:  
I, 134–138; IV, 52–56; VII, 172–176)

в какой-то мере исполняет ту же роль, но одновременно свидетельствует, что абсолютно точному глазу Гомера одна картина может явиться только единообразной, тождественной самой себе.

Иное дело повторы нешаблонные — большие по объему и немногочисленные. Трижды рассказывает поэт о хитрости Пенелопы, ночью распускающей сотканную за день ткань, — устами Антиноя, самой Пенелопы и тени одного из женихов в Аиде, дважды повторяет вымышленное повествование о неудачном набеге на Египет Одиссей в образе нищего, дважды в одних и тех же выражениях обличает Телемах Антиноя и прочих женихов — у себя в доме и в народном собрании. Как объяснить и оправдать такие повторы? Считать их только «неусвоенным» остатком устной поэтической техники, «общими местами», которыми поэт, не способный правильно организовать материал, как бы затыкает дыры в композиции своего произведения? Но содержание нешаблонных повторов не позволяет видеть в них «общие места». К тому же Гомер и сам сознает, что

*весьма неразумно и скучно*

*Снова рассказывать то, что уж мы рассказали однажды.*

(«Одиссея» XII, 452–453)

Не вернее ли думать, что, ставя своих героев в такое положение, которое требует повтора эпизода, однажды уже рассказанного (тем же персонажем или другим — безразлично), поэт просто не может оборвать говорящего, не дать ему высказаться — это противоречило бы принципу правдоподобия, разрушало бы убедительность и цельность картины.

Зримость гомеровской поэзии ведет к олицетворению отвлеченных понятий. То, чего нельзя охватить взором, для Гомера просто не существует. (Не здесь ли, кстати, следует искать причину такой полной и последовательной конкретности или, если можно так выразиться, вещности богов у Гомера?) Могучая Обида нежными стопами ходит по главам человеческим, Молитвы смиренны, хромы, морщинисты, робко поднимают они очи косые, Вражда становится в самой середине лагеря, чтобы ее крик, поселяющий в каждом сердце жажду битвы, услышал каждый ахеец. И все это не бесплотные аллегории, а почти реальные фигуры, отмеченные главным гомеровским клеймом — убедительностью.

Реальность в поэмах владевает над фантазией. Гомер слишком горячо заинтересован миром осязаемых вещей, слишком многое в нем восхищает и удивляет поэта, чтобы безудержный вымысел мог взять верх над правдоподобием. Приподнятость тона, «воспаряющая над грязной землей», нередко нарушается чисто земными деталями. Нестор будит Диомеда:

*Близко пришедши, будил почивавшего Нестор почтенный,  
Трогая краем ноги, —*

(«Илиада» X, 157–158)

иными словами — попросту пнул Диомеда ногой. Лютая тоска не дает Ахиллесу уснуть, и сын морской богини ворочается на постели точь-в-точь, как любой из смертных любой эпохи — от сотворения мира до наших дней:

*То на хребет он ложился, то на бок, то, ниц обратясь,  
К ложу лицом припадал; напоследок, бросивши ложе,  
Берегом моря бродил он, тоскующий.*

(«Илиада» XXIV, 10–12)

Герои перед поединком обмениваются пространными речами, восхваляя себя и свой род и понося неприятеля. Скорее всего это традиционная условность, но, следуя ей, Гомер ощущает, насколько она противоречит подлинной обстановке боя. И вот Патрокл, сражаясь над телом Сарпедона, говорит своему соратнику:

*Что, Мерион, воинственный муж, расточаешь ты речи?  
Верь, от речей оскорбительных гордые воины Трои  
не бросят, куда кого-либо прах не покроет.  
Руки решат кровавые битвы, а речи — советы.  
Ныне ахеенам должно не речи плодить, а сражаться!*

(«Илиада» XVI, 627–631)

То же обостренное чувство реальности играет свою роль в своеобразном снижении гомеровских богов, наделенных вспыльчивостью, тщеславием, злопамятностью, высокомерием, даже физическими недостатками. Никто не знает, в каком отношении находилась гомеровская мифология — первая доподлинно известная нам у греков! — к общепринятым религиозным представлениям современников поэта, а потому вполне допустимо, что многими или хотя бы иными своими чертами олимпийский пантеон обязан художественному дару автора «Илиады» и «Одиссеи», дару, который оказался способен даже сказку обратить былью, не лишив ее, однако, сказочного обаяния. Такое сопряжение сказки с былью — и циклоп Полифем, одноглазый гигант, людоед, сын бога Посейдона, но в то же время пастух, неотесанный мужлан, пьяница, и божественные возлюбленные Одиссея Цирцея и Калипсо, и в особенности

мореходы феакийцы. Их земля, остров Схерия, лежащий «на последних, пределах шумного моря», поистине царство мечты: там круглый год плодоносят деревья и виноградные лозы, «постоянно веет теплый Зефир», корабли феакийцев, «скоро-течные, как легкие крылья», понимают мысли своих кормчих, повинуются им, не нуждаясь в руле, и никогда не гибнут в волнах, женщины столь же «отличны в тканье», сколь мужчины в вожденье судов, боги считают феакийцев родными (признают в них «божественную породу»), являются им открыто, запросто садятся с ними за трапезу, дом царя Алкиноя караулят две собаки, золотая и серебряная, «работы искусного бога Гефеста». Но Схерия — не туманная Утопия: читателю известно происхождение ее обитателей и образ их жизни, их вкусы, привычки и слабости. Славные корабельщики «не отличны» в борьбе и кулачном бою, зато не знают себе равных в беге; они настоящие сибариты:

*Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску,  
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе;  
(«Одиссея» VIII, 248–249)*

иноземцев они не жалуют, гостеприимством не отличаются и «весьма злоязычны». Правят островом тринадцать «владык знаменитых», из них один — главный; его супруга пользуется огромным влиянием,

*Так что нередко и трудные споры мужей разрешает.  
(«Одиссея» VII, 74)*

Во всех этих пестрых и вполне конкретных, отнюдь не фантастических чертах угадывается исторический прообраз гомеровских феакийцев — критяне, владычествовавшие над морем за тысячу лет до создания «Одиссеи».



### III

Точность, свежесть, правдоподобие и убедительность, присущие внешнему изображению в гомеровских поэмах, отличают и мастерство внутреннего изображения. Все движения человеческой души открыты и понятны поэту — от самых низменных и своекорыстных до благороднейших и чистейших. Ахиллес рвется в бой, чтобы отомстить за гибель Патрокла, Одиссей останавливает его: надо накормить воинов, голодные они не смогут сражаться весь день. Но на житейское здравомыслие Ахиллес отвечает не менее житейским безрассудством:

*Никакое питье, никакая мне пища,  
Верно, в уста не войдет перед другом моим бездыханным.*

...

*Нет, у меня в помышленья не пища:  
Битва, и кровь, и врагов умирающих страшные стоны.*  
(«Илиада» XIX, 209–214)

Достоверность и сила этого противопоставления прежде всего в том, что правы оба героя, но разум и аффект не понимают друг друга, действительность не способна их примирить, и лишь искусство объемлет их и совмещает. Гомер видит и диалектику самого аффекта — скорбную радость плача, таящееся в гневе наслаждение:

*Гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит.  
Он в зарождении сладостней тихо струящегося меда.*  
(«Илиада» XVIII, 108–109)

Психологические детали, неотразимые в своем впечатляющем воздействии, глубоко волнующие нас не только при первом чтении, но и во все дни жизни нашей — подобно тому, как всякий раз плакал Лев Толстой над сценою «Книги Бытия», где рыдает открывшийся братьям Иосиф, — одних лишь таких деталей было бы достаточно, чтобы отвести гомеровскому эпосу достойное место среди главных культурных ценностей современного мира, ценностей, не спрятанных в дальний ящик, но постоянно, с любовью носимых... Мы уже приводили строки о Приаме, целующем руки Ахиллеса. Цену этим строкам знал, вероятно, и сам поэт: недаром чуть ниже он повторяет свою мысль, переводя ее из косвенной речи в прямую и тем еще усилив трагическое напряжение. Приам молит:

*Храбрый! почти ты богов! над моим злополучием сжался,  
Вспомнив Пелея отца: несравненно я жалче Пелея!  
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:  
Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю!*  
(«Илиада» XXIV, 503–506)

Или еще открытие, которым доволен сам поэт: горе разом и объединяет и обособляет людей. Дружно, в один голос стенают рабыни над телом Патрокла, но в сердце каждая сокрушается о собственном горе. Так же «воздыхают герои» вместе с Ахиллесом, так же, наконец, плачут, сидя рядом, враги — Ахиллес и Приам:

*За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо.  
Оба они вспоминая: Приам — знаменитого сына,  
Горестно плакал, у ног Ахиллесовых в прахе простертый,  
Царь Ахиллес, то отца вспоминая, то друга Патрокла,  
Плакал, и горестный стон их кругом раздавался по дому.*  
(«Илиада» XXIV, 508–512)

Это столь же бесспорно, столь же человечно и столь же живо, как безутешность жены, потерявшей мужа и не простившейся с ним:

*С смертного ложа, увы! не простер ты руки мне  
любезной;*

*Слова не молвил заветного, слова, которое б вечно  
Я поминала и ночи и дни, обливаясь слезами!*

(«Илиада» XXIV, 743–745)

Большая часть наших примеров взята из речей действующих лиц, и это не случайное совпадение. Психологизм Гомера — особого рода. Автор не заглядывает во «внутренняя» своих героев, чтобы потом рассказать, что он увидел, но дает возможность читателю судить обо всем самому: эпик уступает место драматургу. Речами и репликами заняты три пятых объема поэм, в каждой из них около семидесяти пяти говорящих лиц, и — поскольку драматург сохраняет все достоинства Гомера-эпика — это именно лица, живые, не схожие одно с другим, без намека на схематизм, на свойственную многим эпосам прямолинейность. Герою доступно чувство страха, так же как робкому — порыв безоглядного мужества, невозможно спутать четырех знаменитых «стариков» «Илиады» и «Одиссеи» — Приама, Нестора, Феникса и Лаërта, более того, по остроумному замечанию одного исследователя, мы не спутали бы даже Эйдофею с Левкотеей, доведись нам перемолвиться словечком с этими морскими богинями, хотя обе появляются лишь по разу и вторая произносит всего двенадцать стихов... Насколько щедр Гомер в описаниях, картинах, настолько же скуп он в портрете: поэта интересует в первую очередь история человека, а не его внешность. Вот почему рассказ Одиссея о своих странствиях, занимающий целых четыре песни, — не просто удачная композиционная находка (как полагают некоторые ученые) и не пережиток ветхой старины (повествование от первого лица —

древнейшая форма ведения рассказа), но истинно гомеровское — и по приему и по масштабу — раскрытие характера изнутри. Да, древние были правы, называя Гомера первым трагическим поэтом, и не из лицемерного самоуничижения говорит Эсхил, что его трагедии — лишь крохи с пышного стола Гомера. Ни трагикам, ни позже мастерам бытовой комедии не удалось достичь той драматургической высоты, той совершенной свободы во владении материалом, до которой поднялся Гомер.

Сказанное выше может быть подтверждено многими эпизодами обеих поэм; мы обратимся к одному из самых прославленных — к свиданию Гектора с Андромахой («Илиада» VI, 370–496).

Гектор, отлучившийся с поля боя, чтобы посоветовать Гекубе принести богатый умиловительный дар Афине, приходит в свой дом и, не найдя Андромахи, которая с сыном и кормилицей ушла к городской стене, встревоженная вестью, что ахеяне теснят троянцев, стремительно возвращается к воротам, ведущим из города в поле. Тут, уже не ожидая этой встречи, он видит Андромаху, спешащую к нему, и сына на руках у прислужницы.

*Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына.*

*Подле него Андромаха стояла, лиющая слезы;*

*Руку пожала ему и такие слова говорила:*

*«Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость!*

*Ни сына*

*не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро*

*Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне,*

*Вместе напавши, убьют, а тобою покинутой, Гектор,*

*Лучше мне в землю сойти: никакой мне не будет отрады,*

*Если, постигнутый роком, меня ты оставишь: удел мой —*

*Горести! Нет у меня ни отца, ни матери нежной!..*

*Гектор, ты все мне теперь — и отец, и любезная мать,*

Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой  
прекрасный!

Сжался же ты надо мною и с нами останься на башне,  
Сына не сделай ты сирым, супруги не сделай вдовою;  
Воинство наше поставь у смоковницы; там наипаче  
Город приступен врагам и восход на твердыню удобен»..

Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:  
«Все и меня то, супруга, не меньше тревожит;

но страшный

Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной  
троянкой,

Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя...

Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,

Будет некогда день, и погибнет священная Троя,

С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

Но не столько меня сокрушает грядущее горе

Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы,

Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и

храбрых,

Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных,

Сколько твое, о супруга! тебя меднолатный ахеец,

Слезы льющую, в плен повлечет и похитит свободу!

И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,

Воду носить от ключей Мессеуса или Гиперея,

С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая

нужда!

Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:

Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах

Всех конеборцев троян, как сражались вокруг Илиона!

Скажет — и в сердце твоём возбудит он новую горечь:

Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от

рабства!

Но да погибну и буду засыпан я перстью земною

*Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой  
услышу!»*

*Рек — и сына обнять устремился блистательный Гектор,  
Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону  
С криком припал, устращая любезного отчего вида,  
Яркою медью испуган и гребнем косматовласатым,  
Видя ужасно его закачавшимся сверху шелома.  
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.  
Шлем с головы, немедля снимает божественный Гектор,  
Наземь кладет его, пышноблестящий, и, на руки взявши  
Милого сына, целует, качает его и, поднявши,  
Так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных:  
«Зевс и бессмертные боги! о, сотворите, да будет  
Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди  
граждан;*

*Так же и Силою крепок, и в Трое да царствует мощно.  
Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего вида:  
Он и отца превосходит! И пусть он с кровавой корыстью  
Входит, врагов сокрушитель, и радует матери сердце!»  
Рек — и супруге возлюбленной на руки он полагает  
Милого сына; дитя к благовонному лону прижала  
Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супруг умиллся душевно,  
Обнял ее и, рукою ласкающий, так говорил ей:  
«Добрая! сердце себе не круши неумеренной скорбью.  
Против судьбы человек меня не пошлет к Аидесу;  
Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный  
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он  
родится.*

*Шествуй, любезная, в дом, озаботься своими делами;  
Тканьем, пряжей займися, приказывай женам домашним  
Дело свое исправлять; а война — мужей озаботит  
Всех, наиболее ж меня, в Илионе священном рожденных».*

*Речи окончивши, поднял с земли бронблещущий Гектор  
Гривистый шлем; и пошла Андромаха безмолвная*

*к дому,*

*Часто назад озираясь, слезы ручьем проливая.*

Такова с незначительными пропусками эта сцена (именно сцена — она так и просится на театральные подмости), несчетное число раз служившая предметом для толкований, объяснений, рассуждений, разборов, картин, рисунков, статуй.

Нет, вероятно, ни одной детали, ни одного мельчайшего штриха в поведении действующих лиц ее, который не был бы отмечен и поставлен в связь с характером каждого в целом. Мы видим, как в доброй и нежной Андромахе чувство беззащитного одиночества сочетается с «неженским» разумом, подающим воинские советы мужу. Еще дважды услышим мы супругу Гектора — в двух плачах (XXII, 477 сл. и XXIV, 725 сл.), и в обоих, при всем их беспросветном отчаянии, скажется та же твердость разума: заглядывая в будущее, Андромаха оплакивает не столько мертвого, уже не причастного ни радости, ни горю, сколько живых и больше всего — сироту-сына, чью жалкую участь она провидит с такой жестокой отчетливостью. «Гектор, ты все мне теперь» — не пустые слова (в устах Андромахи пустые слова невозможны): после смерти мужа для нее нет утешения ни в чем... Удивительно подвижен в этой сцене внутренний облик Гектора. Первая его реплика — это крик отчаяния. Он не верит в благополучный исход войны, впереди одни только бедствия, и самое горькое из них — горше самой смерти! — пленение и рабство жены, которую он не смог защитить «от рук врагов разъяренных». Потом, напрочь забывши собственные слова, он молит богов о воинской славе для сына, когда тот подрастет, и о «мощном царствовании» его в Трое. И, наконец, третья реплика, где, словно опомнившись от крайностей первых двух, Гектор пытается успокоить Андромаху ссылкой на неизбежность судьбы. В этих трех репликах — вся натура Гектора: и

его храбрость, и доброта, и порывистость, и недостаточная твердость духа, и честь его, и любовь к семье, и самозабвенная преданность отечеству. Характер раскрывается удивительно полно и вместе с тем так естественно и ненарочито. Точно поставлена и многогранно использована деталь детского плача: благодаря ей напряжение, достигнув на крике Гектора апогея, как бы переламывается, вся ситуация эмоционально перестраивается, перестраивается, условно говоря, и мизансцена эпизода.

Внимательный читатель безусловно сможет по-своему прочесть и истолковать «прощание Гектора с Андромахой». Следует, однако, иметь в виду, что знаменитые, психологически совершенные эпизоды, подобные приведенному выше, или появлению Одиссея перед Навсикаей («Одиссея» VI, 117–185), или «узнанию» Одиссея старой нянькой Евриклеей («Одиссея» XIX, 386–505), всего лучше и вернее воспринимаются непосредственно, а слишком подробный анализ в этих случаях нередко напоминает расчленение живого организма.



## IV

Гомер показывает, а не поучает, но «Илиада» и «Одиссея» глубоко поучительны в лучшем смысле этого слова: недаром греки видели в Гомере не только первого поэта, но и первого естествоиспытателя, философа, политика, а главное — наставника, воспитателя. В основе показа и показываемого лежит стройное мироощущение, хотя и не лишенное противоречий, но в целом последовательное и гармоничное. Самое важное в нем — это широта взгляда, умение и желание понять разные точки зрения. Именно широта взгляда (в большей мере, видимо, чем предполагаемое ионийское происхождение поэта и части мифов, легших в основу его поэм) причиною тому, что поэмы свободны от всякой ненависти к троянцам, мало того — пронизаны сочувствием к ним. Тут и великодушные победителя, загодя видящего, как свирепствуют на «широких стогнах» Илиона озверевшие ахейцы; тут и по-детски жадное, наивно беспристрастное любопытство, с таким знаменательным хладнокровием судящее о первой схватке, вспыхнувшей после того, как троянец Паадар коварно нарушает перемирие:

*Делу сему не хулу произнес бы свидетель присуций,  
Если б, еще невредимый, не раненный острою медью,  
Он среди боя вращался и если б Афины Паллады  
Дланию был предводим и от ярости стрел охраняем.  
Много и храбрых троян, и могучих данаев в день оный  
Ниц по кровавому праху простерлося друг подле друга;  
(«Илиада» IV, 539–544)*

но главное тут — понимание неизбежности и справедливости борьбы для обеих сторон. Разумеется, похититель Парис виновен, его осуждают и сами троянцы, разумеется, ахейцы не могли смириться с обидой, но разве есть иной выбор у защитников города, как не оборонять жен и детей, не сражаться за отечество и собственную жизнь? И они отважно сражаются, несмотря на малочисленность несмотря на то, что их герои гораздо слабее ахейских, и эта отвага вызывает уважение у поэта и его читателей. «Святая Троя» ненавистна богам «за вину Приаида Париса» — богам, но не Гомеру, который выше ненависти и выше созданных им богов. Любопытство, однако, может быть праздным и жестоким, а терпимость способна обернуться равнодушием и трусостью. Гомеру чуждо все это: за Гомеровою широтою взгляда стоят доброта и человечность. Что, как не человечность, звучит в словах троянских стариков о Елене:

*Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы  
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят:  
Истинно вечным богиням она красотой подобна!*

(«Илиада» III, 156–158)

Что, как не самое человеческое сострадание, продиктовало строки, изображающие горе Приама — горе врага:

*Мужи держали с трудом исступленного горестью  
старца,  
Рвавшего в поле вратами Дардаискими выйти из града.  
Он умолял их, тоскующий, он расстилался по праху,  
Он говорил, называя по имени каждого мужа:  
«Друзи, пустите меня одного, не заботясь, пустите  
Выйти из града! Один я пойду к кораблям мирмидонским;  
Буду молить я губителя, мрачного сердцем злодея.  
Может быть, лета почтит он, над старостью, может  
быть, дряхлой*

*Сжалится; он человек, отца он такого ж имеет,  
Старца Пелея, который его породил и взлелеял!..»*

(«Илиада» XXII, 412–421)

И когда Ахиллес и Приам плачут, сидя рядом, каждый о своем и оба — о незащитности людей перед лицом смерти, перед лицом жизни и ее страданий, когда они, по словам одного немецкого ученого, «узнают друг в друге человека», — это подлинное рождение гуманизма. Гуманизм Гомера и в глубокой симпатии к Патроклу, «кроткому душой», «приветному со всеми», и в осуждении женихов Пенелопы, суть беззаконий которых — неуважение к человеку, и в мысли, что «храбрый не должен сердцем немилостив быть», и в запрещении громко радоваться при виде мертвого врага, и в горячем призыве к доброте и любви:

*Нам ненадолго жизнь достается на свете;  
Кто здесь и сам без любви и в поступках любви не являет,  
Тот ненавистен, пока на земле он живет, и желают  
Зла ему люди; от них поносим он нещадно и мертвый.*

(«Одиссея» XIX, 328–331)

Мудрая, доброжелательная непредвзятость просветляет сумрачную суровость старинного героического эпоса. Гомер — певец войны, не только победоносной, не только справедливой, но вообще войны, войны как занятия, как источника упоения, как средства, позволяющего герою наиболее полно и совершенно обнаружить лучшие качества своей природы. И это вполне естественно, если иметь в виду историю эпоса и обстоятельства, в которых он развивался. Древние отлично это понимали, и в легендарном рассказе о состязании Гомера с Гесиодом Гомер в качестве лучших своих стихов декламирует описание сомкнутого строя ахейцев, который «ни Арей, ни Афина, стремящая рати... не могли бы, не радуясь, видеть»;

чувства «бранелюбивых» богов разделяет и сам поэт. Воины слышат голос Вражды, и

*Всем во мгновенье война им кровавая сладостней стала,  
Чем на судах возвращенье в любезную землю родную.*

(«Илиада» XI, 13–14)

И это чувство тоже понятно поэту. Детали кровавой бойни не страшат его спокойного взгляда: Аякс Оирид мечет в толпу врагов отрубленную голову, убитый, рухнув с колесницы вниз головой и уйдя в песок по самые плечи, «долго в сем виде стоял» — это чудовищно, но это правда, и вдобавок, как ни жестоки эти детали, им нельзя отказать в живописности. Но вот угол зрения несколько меняется:

*О, юноше славно,  
Как ни лежит он, упавший в бою и растерзанный медью, —  
Все у него, и у мертвого, что ни открыто, прекрасно!  
Если ж седую браду и седую главу человека,  
Ежели стыд у старца убитого псы оскверняют, —  
Участи более горестной нет человекам несчастным!*

(«Илиада» XXII, 71–76)

К чисто эстетическому неприятию примешано неприятие моральное: поэту тяжело видеть униженной и поруганной беззащитную старость. Так рядом с прославлением войны появляется ее осуждение; оно идет от новой морали — морали мира, уже не менее близкой — судя по картинам мирной жизни в сравнениях «Илиады», на щите Ахиллеса и, особенно, во многих эпизодах «Одиссеи» — Гомеру и его современникам, чем кодекс воинской чести. Кодекс этот состоит всего из одной статьи: честь — высшая и единственная ценность, она выше самой жизни. Впрочем, тот, кто помнит о чести, и жизнь свою спасет скорее, чем бессовестный трус:

*Други, мужайтесь! Наполните сердце стыдом  
 благородным!  
 Воина воин стыдись на поприще подвигов ратных!  
 Воинов, знающих стыд, избавляется боле, чем гибнет,  
 Но беглецы не находят ни славы себе, ни избавы!*  
 («Илиада» XV, 560–563)

Все герои следуют этому кодексу, но у каждого есть еще и иные мотивы действий, побуждающие либо отступить от него, либо самой неукоснительности его исполнения придающие особый, личный характер. И лишь Диомед — это только честь, воплощенная честь. Он совершает невероятные подвиги (им посвящена вся V песнь «Илиады»), ранит двух бессмертных небожителей — Афродиту и Ареса, нападает даже на Аполлона. Мало того — он не желает подчиниться воле Зевса и уйти из боя, опасаясь, что Гектор будет похваляться его бегством. Он поистине несокрушим духом: даже если все ахейцы, отчаявшись в победе, вернутся восвояси, он намерен остаться в Трое в вдвое со своим другом Сфенелом и воевать до тех пор, куда Илион не падет; после неудачи посольства, когда все растеряны и обескуражены, только он оказывается в состоянии подать здравый совет, и совет этот сводится все к тому же — сражаться. И однако, симпатии Диомед не вызывает: он слишком свиреп, слишком жесток, слишком примитивен. Быть может, наше суждение и осуждение чересчур резко и современники поэта судили несколько иначе; впрочем, не случайно любимец Гомера — Ахиллес, тоже безупречный «рыцарь» воинской чести, но натура куда более сложная и богатая, принадлежащая будущему, тогда как Диомед — достояние прошлого.

Награда герою — вечная слава. Единственно ради «сияющей славы» терпят ратные труды Ахиллес и Диомед, славы (а не только спасения отечества) ищет и Гектор. Вызывая на поединок кого-нибудь из ахейских вождей и обещая, если Аполлон дарует победу ему, вернуть тело, чтобы друзья могли

похоронить убитого и насыпать ему курган на берегу Геллеспонта, он простодушно прибавляет:

*Некогда, видя его, кто-нибудь и от поздних потомков  
Скажет, плывя в корабле многовеслом по черному понту:  
«Вот ратоборца могила, умершего в древние веки:  
В бранях его знаменитого свергнул божественный  
Гектор!»*

*Так нерожденные скажут, и слава моя не погибнет.  
(«Илиада» VII, 87–91)*

Таково, по-видимому, древнее, архаическое, ограниченное представление о славе. У Гомера оно расширяется: слава (добрая или дурная) — воздаяние за все поступки человека, и это уже не просто молва, бегущая от уст к устами, но песнь, волнующая сердца. Агамемнон в царстве мертвых, говоря о супруге Одиссея и своей, пророчествует:

*В песнях Камен сохранится  
Память о верной, прекрасной, разумной жене Пенелопе.  
Участь иная коварной Тиндаровой дочери, гнусно  
В руку убийцы супруга предавшей: об ней сохранится  
Страшное в песнях потомков.  
(«Одиссея» XXIV, 197–201)*

Елену всего более сокрушает то, что даже по смерти она и Парис останутся «на бесславные песни потомкам». Мысли эти обобщаются в двух знаменитых строках о значении и цели бедствий троян и ахейцев:

*Им для того ниспослали и смерть, и погибельный жребий  
Боги, чтоб славною песнею были они для потомков.  
(«Одиссея» VIII, 579–580)*

А если так, то вполне понятно почетное место, отводимое певцу, творчеству и вдохновению. Вдохновение божественно, сам Зевс посылает его свыше «людям высокого духа», и нельзя запретить певцу «то воспевать, что в его пробуждается сердце». Заметим, что этот взгляд на славу и поэтическое творчество развит главным образом в «Одиссее».

Но это как бы взгляд со стороны, «с точки зрения вечности». Люди, живущие заботами и муками каждого дня, на него не способны. Не способны на него и боги.

*...Из тварей, которые дышат и ползают в прахе,  
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека! —*  
(«Илиада» XVII. 446–447)

воскликает Зевс. Бессмертный и не может судить иначе об участи смертных, однако для смертных, по крайней мере для лучших из них, наиболее близких и дорогих самому поэту, такой пессимизм неприемлем, ибо он отрицает жизнь, обесценивает ее, а это глубоко противно ясному, спокойному и здравому приятию действительности, без которого немислим Гомер-художник. Конечно, жизнь человека исполнена бедствий, мук и тяжелых превратностей, герои поэм часто и охотно жалуется на судьбу, но и самые горькие страдальцы не отворачиваются от жизни, а мужественно, бесстрашно глядят ей в лицо. «Неизменный в несчастьях» Одиссей (в образе нищего) внушает благоразумному и честному жениху Амфиному:

*Все на земле изменяется, все скоротечно; всего же,  
Что на земле ни живет, ни цветет, человек скоротечней;  
Он о возможной в грядущем беде не помыслит, покада  
Счастлием боги лелеют его и стоит на ногах он;  
Если ж беду ниспошлют на него всемогущие боги,  
Он негодует, но твердой душой неизбежное сносит.*

(«Одиссея» XVIII, 130–135)





Сделаем необходимую поправку на безудержность характера Ахиллеса, и все же несомненно, что бытию Гомер говорит «да», а небытию — «нет».

Однако «нет» столь же небезоговорочно, как и «да». Гомер с одинаковым бесстрашием глядит и в лицо жизни, и в лицо смерти. Никто из его героев по сути дела смерти не боится, никто перед нею не склоняется. Доблестный предпочитает умереть в бою, а не дома «от немощи тяжкой». Эвхенор, перед которым стоит такая дилемма, выбирает первое и едет под Трою. Для Ахиллеса (несмотря на его пылкие уверения), Диомеда, Аякса и многих иных слава — цель жизни и, следовательно, вполне справедливая плата за расстающуюся с телом душу. Гектору горе ближних и позор гораздо страшнее смерти. Полнее всего эта сторона гомеровского мироощущения выражена в словах ликийского паря Сарпедона, обращенных к другому ликийскому царю, Главку. Напомнив о жизненных благах, которыми отличают царей, и об обязанности царей платить свой долг согражданам храбростью в битвах, Сарпедон восклицает:

*Друг благородный! когда бы теперь, отказавшись  
от брани,  
Были с тобой навсегда нестареючи мы и бессмертны,  
Я бы и сам не летел впереди перед воинством биться,  
Я и тебя бы не влек на опасности славного боя;  
Но и теперь, как всегда, неисчетные случаи смерти  
Нас окружают, и смертному их не минуть, не избегнуть  
Вместе вперед! иль на славу кому, иль за славою сами!*  
(«Илиада» XII, 322–328)

Неизбежность смерти не отравляет радость жизни и не создает общего мрачного фона — так же как и в действительности, это признак душевного здоровья и полноты сил. Мысль о смерти подобна тени: юноша, солнце жизни которого только восходит, отбрасывает длинную тень, муж, чье солнце в зените,

почти вовсе ее не отбрасывает, и, наконец, по мере того как солнце начинает склоняться к горизонту, тень снова удлиняется. Прежде мы говорили о детскости художника, теперь должны сказать о зрелой мужественности мыслителя. Мироощущение Гомера — это и не пессимизм и не оптимизм, а нечто большее, более широкое и мудрое. Это высшее спокойствие и просветленность духа, измерившего и бездну человеческого отчаяния, и высшие пределы восторга. Не будем пытаться определить его точнее и ближе — это невозможно, да, пожалуй, и ни к чему.

## V

Широта взгляда поэта не есть снисходительность ко злу и равнодушие к добру. Напротив, только правда, справедливость делают человека сопричастником доброй славы, которая в песнях дойдет до потомков. Частным случаем справедливости оказывается верность кодексу воинской чести, — следовательно, правду в известной мере можно отождествить с исполнением долга — но перед кем? Перед кем в ответе гомеровский человек?

Упрекая женихов за все обиды, которые они чинят дому Одиссея, Телемах говорит:

*Ужель не тревожит вас совесть? По крайней  
Мере чужих устыдитесь людей и народов окружающих,  
Нам сопредельных, богов устрашитесь мщенья, чтоб  
гневом  
Вас не постигли самих, негодую на вашу неправду.*  
(«Одиссея» II, 64–67)

Итак, помехою к дурным, неправым поступкам служит собственная совесть, стыд перед чужими и страх перед богами. Но совесть — это в свою очередь чувство стыда за нарушение законов, человеческих или божеских, и, стало быть, сдерживающие причины сводятся к чувству ответственности перед людьми и перед богами. И люди, с мнением которых приходится считаться, — это прежде всего не «чужие», а «свои», ибо законы своего коллектива нарушает преступник и в глазах соседей позорит неправдою не себя одного, а весь коллектив. Общество — вот один из двух авторитетов, которым подчиняется человек. Анализ гомеровского общества не входит в нашу задачу, но для нас

важно представление поэта о роли общества в жизни его членов.

Нормальное человеческое существование немислимо вне организованного, упорядоченного общества. В одиночку, без «сходбищ народных» и «общих советов» живут лишь циклопы, а циклопы — это не только сказка, это синоним дикости, зверства, «неведения правды». Горе тому, кто посягает па единство и целостность общества:

*Тот беззаконен, безроден, скиталец бездомный на свете,  
Кто межсубобную брань, человекуа ужасную, любит.*  
(«Илиада» IX, 63–64)

Общее дело выше частных интересов. Этому учит вся история губительного гнева Ахиллеса. Пусть был виноват Агамемнон, обидевший первого героя ахейского войска, но виноват и Ахиллес, чье своеволие чревато анархией. Лишь в смысле безусловного предпочтения организованности и социального порядка перед анархией надо понимать слова Одиссея:

*Нет в многовластии блага; да будет единый властитель,  
Царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый  
Скиптр даровал и законы: да царствует он над другими.*  
(«Илиада» II, 204–206)

Единодушие — вообще неоценимое сокровище: вспомним, как дорожат гомеровские герои дружбой, узами взаимного гостеприимства, миром в семье. Все, что связывает, роднит между собою людей, достойно одобрения — будь то страстная, безмерная любовь Ахиллеса к Патроклу, благородство Диомеда, узнавшего в неприятеле «гостя отеческого, гостя стародавнего» и обращающегося к нему с «приветной речью» и с предложением «с копьями нашими в толпах расходиться», радушный

прием, оказываемый нищим и странникам, или взаимное согласие супругов:

*Несказанное там водворяется счастье,  
Где однодушно живут, сохраняя домашний порядок,  
Муж и жена, благомысленным людям на радость,  
недобрым  
Людам на зависть и горе, себе на великую славу*  
(«Одиссея» VI, 182–185)

Не ради одной только славы сражаются и умирают воины, но (и эта мысль варьируется на все лады)

*за землю родную !  
Против врагов и труды, и жестокие битвы подъяют.*  
(«Илиада» XVII, 157–158)

А «родная земля» — это не только свой дом, поле, отец, дети, братья, — одним словом, не узкий круг кровных родичей, но все сограждане, близкие и «дальние». Сознание именно социальной ценности подвигов убитого Гектора (утешает потерявшую сына Гекубу:

*Он за отечество, он за мужей и за жен илионских  
Бился, герой, ни о страхе в бою, ни о бегстве не мысля!*  
(«Илиада» XXIV, 215–216)

В «Илиаде» устами Главка, которому автор, бесспорно, симпатизирует, в какой-то мере отрицается принцип родовой ограниченности и чванства и провозглашена своеобразная идея равенства — равенства всех людей перед судьбой и перед смертной их природой. На вопрос противника, кто он таков, Главк, вместо того чтобы пространно — в соответствии с эпическими традициями — рассказать о своем «роде-племени», отвечает:

*Сын благородный Тидея, почто вопрошаешь о роде?  
Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков:  
Ветер одни по земле развеивает, другие дубрава,*

*Вновь расцветая, рождает и с новой весной возрастают;  
Так человеки: сии нарождаются, те погибают.*

(«Илиада» VI, 145–149)

Лишь после такого меланхолического замечания, обесценивающего всякие похвалы высоким происхождением, Главк снисходит к своему врагу — это будущее снисходит к прошлому:

*Если ж ты хочешь, тебе и о том объявляю я, чтоб знал ты  
Наших и предков и род: человекам он многим известен.*

Но странное дело — в «Одиссее» будущее вновь отступает перед прошлым, то и дело слышатся речи о родовитости и породе: только родовитые разумны, их сразу можно отличить от низких и худородных, им «счастье и в браке и в племени их угодовал Кронион». Родина, к которой так неудержимо рвется Одиссей, отождествляется со «сродниками»:

*Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших,  
Даже когда б и роскошно в богатой обители жили  
Мы на чужой стороне, далеко от родителей милых.*

(«Одиссея» IX, 34–36)

Чем объяснить этот сдвиг? Изменением авторского угла зрения? Тем, что самый институт родовой общины близок к гибели и потому нуждается в защите: так мы «не замечаем» здорового зуба, но беспрерывно думаем о больном, который ноет? Или, наконец, просто случайностью, противоречиями, от которых не свободен ни один мастер? Надежного ответа нет, можно только гадать и строить гипотезы.

Однако главные блюстители правды — боги. Несмотря на внутреннюю неслаженность и пестроту гомеровских представлений о богах, мы все же вправе говорить о моральном характере гомеровской религии. Разумеется, исправное принесение жертв — чрезвычайно важная, вероятно, даже важнейшая заслуга людей перед богами, но жертвами благочестие не исчерпывается. Беззаконники ненавистны богам, и самые щедрые даяния не спасают нарушителей правды от кары бессмертных:

*Горе тому, кто себе на земле позволяет неправду!  
Должно в смиренность, напротив, дары от богов  
принимать нам.*  
(«Одиссея» XVIII, 141–142)

Здесь связь между идеями справедливости и божества выражена лишь в самом общем виде. А вот суждения уже более определенные:

*Дел беззаконных, однако, блаженные боги не любят:  
Правда одна и благие поступки людей им угодны.*  
(«Одиссея» XIV, 83–84)

*...Святотатным  
Делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель.*  
(«Одиссея» IX, 476–477)

*Зевс раздраженный, когда на преступных людей негодует,  
Кои на сонмах насильственно суд совершают неправый,  
Правду гонят и божией кары отнюдь не страшатся.*  
(«Илиада» XVI, 386–388)

Боги настолько ревниво относятся к своим обязанностям защитников справедливости, что даже покидают Олимп и в образе «людей чужестранных входят в земные жилища» для того только, чтобы убедиться воочию,

*Кто из людей беззаконствует, кто наблюдает их правду.*  
(«Одиссея» XVII, 487)

Но, может быть, само понятие «правда» (да еще «их», то есть божеская) в «Илиаде» и «Одиссее» совершенно отлично от содержания, которое вкладываем в слово «правда» мы, сегодняшние? Тогда справедливость Гомера не имеет для нас никакой цены. Однако вот что говорит Афина богам, собравшимся на «великий совет»:

*Кротким, благим и приветливым быть уж теперь ни единый  
Царь скиптоносный не должен, но, правду из сердца  
изгнавши,  
Каждый пускай притесняет людей, беззаконствуя смело,  
Если могли вы забыть Одиссея, который был добрым,  
Мудрым царем и народ свой любил, как отец благодушный.*  
(«Одиссея» V, 8–12)

Аполлон укоряет олимпийцев за то, что они благосклонны к Ахиллесу — «мужу, который

*из сердца  
Всякую жалость отверг и, как лев, о свирепствах лишь  
мыслит, —*  
(«Илиада» XXIV, 40–41)

и Зевс приказывает Ахиллесу принять выкуп и «немедля отпустить» тело убитого Гектора, тем самым соглашаясь с Аполлоном. Нет, не формально, не по сходству слов, а по самой сути вещей близок Гомер нашему веку, так тяжело страдавшему от безжалостности и злобы, как, может быть, ни один другой во все времена.

Зная ненависть богов к неправде, люди все же совершают неправо поступки. Пути, ведущие к греху, весьма различны, но



подоплека у всех одна — невежество, духовная слепота, глупость. Человеческое знание ограничено:

*Вы, божества, — вездесущи и знаете все в поднебесной;  
Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим, —*  
(«Илиада» II, 485–486)

а следствие заблуждения — ложная уверенность в своей правоте. Когда святотатец крадет сокровища храма, он уверен, что бог не заметит хищения. Когда великаны От и Эфиальт намереваются взгромоздить гору Оссу на Олимп, а на Оссу еще Пелион, чтобы штурмом взять небо, они уверены в своих силах и превосходстве над богами. Глупость, а не просто вздорный нрав приводит Агамемнона к роковой ссоре с Ахиллесом, и глупость Ахиллеса, не способного заглянуть в будущее, заставляет его упорствовать в своем гневе. С другой стороны, мудрость — основа всяческой добродетели и блага. Мудр Нестор, мудр хитроумнейший Одиссей, по-своему мудр даже простодушный Телемах, который так усердно ищет знания, так прилежно учится у старших уму-разуму. Мудрость эта большею частью житейская, практическая, скорее заслуживающая названия сметки, сообразительности, здравого смысла, но важен принцип — своеобразный рационализм, доверие к разуму, хотя и вдающемуся в обман, но ищущему истины и способному ее постигнуть или хотя бы приблизиться к ней. Этому принципу суждено было сделаться традиционным, преобладающим в духовной жизни античности.

Чтобы отвечать за свои поступки, надо прежде всего быть их хозяином. Но после примирения с Ахиллесом Агамемнон, уже давно раскаявшийся, вновь возвращается к началу раздора и вновь отводит от себя обвинения:

*Часто о деле мне сем говорили ахейские мужи;  
Часто винили меня, но не я, о ахейцы, виновен;*

*Зевс Эгиох, и Судьба, и бродящая в мраках Эриннис:  
Боги мой ум на совете наполнили мрачною смутой  
В день злополучный, как я у Пелида похитил награду.*  
(«Илиада» XIX, 85–89)

Ему вторит Ахиллес:

*Нет, никогда б у меня Агамемнон властительный  
в персях  
Сердца на гнев не подвиг; никаким бы сей девы коварством  
Он против воли моей не похитил; но Зевс, несомненно,  
Зевс восхотел толь многим ахеянам смерть уготовить!*  
(«Илиада» XIX, 271–274)

Число подобных оправданий и самооправданий довольно значительно. Назовем еще только одно, касающееся главной виновницы бедствий обеих воюющих сторон — Елены. Об ней с жалостью и симпатией говорят и Пенелопа:

*Демон враждебный Елену повлек и непристойный  
поступок;  
Собственным сердцем она не замыслила б гнусного дела, —*  
(«Одиссея» XXIII, 222–223)

и Приам:

*Ты предо мною невинна; единые боги виновны:  
Боги с плачевной войной на меня устремили ахеян!*  
(«Илиада» III, 164–165)

Стало быть, люди — послушные, безвольные игрушки в руках богов? Но тогда зачем боги негодуют на неправду, чинимую людьми? Тогда это их, божеская неправда, а люди повинны в ней не больше, чем молоток в руках неискусного

(или же, наоборот, весьма искусного) плотника! Противоречие слишком резкое, слишком важное, чтобы его можно было объяснить случайностью, недосмотром или поэтической вольностью. В его основе лежит, видимо, все та же многосложность эпоса, здесь выражающаяся в двойственности представления о богах (это разом и совершенно человекоподобные существа, и абстрактные вышние силы, блюдущие справедливость). Но любое из «трудных» мест поэмы допускает такую интерпретацию, при которой противоречие исчезает, — столь велика сила Гомеровой убедительности, его психологического правдоподобия. Вспомним, в самом деле, что боги вначале не только не разжигали вражды между Агамемноном и Ахиллесом, но Афина удержала последнего, когда он уже готов был зарубить «верховного властелина» Атрида, и велела ему «кончить раздор». Понеся страшные потери, вожди ахейцев хотят как можно скорее и полнее разделаться с прошлым, а для этого нет лучшего средства, чем свалить вину на третье лицо, которым в данном случае и оказываются злокозненные небожители. Миф действительно изображал бегство Елены с Парисом как безумное ослепление, ниспосланное Афродитой. Но когда Приам в приведенной цитате утешает Елену, он обращается не к ослепленной страстью любовнице своего беспутного сына, а к невестке, прожившей в его доме добрый десяток лет, горько сожалеющей о своем безумстве и уже успевшей искренне привязаться к новой семье, к доброму, снисходительному свекру, к великодушному деверю Гектору. Может ли Приам не поддержать ласковым словом «дитя свое милое», — как называет он Елену, — проливающее слезы на городской стене? И опять-таки легче, и удобнее всего сослаться на враждебность богов.

Весьма показательны, как мотивируются отдельные поступки персонажей, как принимают они решение действовать. Менелай успешно защищает тело павшего Патрокла, но на него устремляется сам Гектор. Задумавшись, Атрид совещается «с своею душой благородной»: бросить убитого — срам, все

аргивяне осудят его, Менелая; противостоять Гектору в одиночку — верная гибель; впрочем, напрасно он «волнуется сими думами», ведь Гектору помогает божество, значит уступить ему не стыдно, а вот ежели он, Менелай, встретит где-либо Аякса, то вдвоем они «помыслят о пламенной битве даже и противу бога». И Менелай отступает. Сам ли он принял решение? В ответе ли он за свой поступок? Несомненно! Так же здраво взвешивает про и contra Гектор перед поединком с Ахиллесом, когда он колеблется, не лучше ли просить пощады, обещая вернуть Елену и все похищенные Парисом в Спарте богатства. Но, во-первых, это противно чести, а во-вторых, Ахиллес все равно не помилует убийцу Патрокла, и Гектор вполне основательно решает биться. В ходе поединка он убеждается, что боги больше ему не помогают, что враждебная троянцам Афина обманула его, приняв образ брата, Деифоба, что «нет избавления... судьба наконец постигает», но и тут, не теряя мужества, бросается на Ахиллеса с ножом:

*Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы;  
Нечто великое сделаю, что и потомки услышат!*

(«Илиада» XXII, 304–305)

Тут уж ни о каком внушении свыше не может быть и речи: человек действует один, без всяких богов, более того — вопреки их нерасположению. Свободен выбор Одиссея-нищего, который открывается преданным рабам:

*Верные слуги, Евмей и Филойтий, могу ль вам открыться?  
Или мне лучше смолчать? Но меня говорить побуждает  
Сердце.*

(«Одиссея» XXI, 193–195)

Собственное сердце (или, по нашим понятиям, ум), а не боги, не покровительница Одиссея — Афина.

В то же время очень часто божество, приняв обличие кого-либо из близких герою людей, направляет его действия. Напасть на Менелая, прикрывающего труп Патрокла, Гектора побуждает Аполлон в образе вождя киконов, одного из союзных троянцам племен. Афина, принявши вид троянца Лаодока, уговаривает лучника Пандара, вопреки условиям перемирия, пустить стрелу в Менелая, тот соглашается «безрассудным сердцем», и, готовая было угаснуть, война вспыхивает с новой силой. Уже сами древние спорили по поводу подобных мест: одни осуждали Гомера за то, что он якобы отрицает способность каждого человека к разумному и свободному выбору, другие — с ними хотелось бы согласиться и нам — говорили, что это неверно, что божество внушает не самое решимость, а лишь подвигает на нее, не превращает действие в вынужденное, но лишь кладет начало добровольному действию. Иными словами, божеству отводится роль советника, такого же — или несколько более влиятельного, — каким может быть владеющий даром убеждения Нестор, то есть роль, по существу, человеческая.

Мы вновь приходим к человекоподобию богов, о котором не раз говорилось выше. Оно настолько велико, что боги и богини выступают не вершителями, а соучастниками действия, только более могущественными, чем люди. Дело не в том, что Диомед, смертный, ранит Ареса, бессмертного, гораздо любопытнее иные, менее величественные детали. В разгар ссоры Агамемнона с Ахиллесом Афина, как уже сказано, удержала последнего от убийства: ругаться ругайся всласть, но рукам воли не давай. Это не вышняя воля, не олицетворение чувства, не перенос вовне внутренней борьбы, а самое обыкновенное «пресечение» перепалки, готовой перейти в драку. Так мог бы действовать и Нестор, будь он помоложе и будь его мышцы крепче мышц Ахиллеса. Афина в этой сцене выступает в такой же точно роли, как Аполлон, когда он, невидимый, трижды сталкивает со стены Илиона Патрокла, ударяя ладонью в его щит, или когда, в облике смертного, обманывает Ахиллеса и отвлекает его от погони за

остатками разбитого троянского войска. Повторяем, во всех этих случаях без разбора боги — влиятельные соучастники событий, а не вершители их.

Но если воля человека свободна, то судьба его изначально предопределена, а боги — не только блюстители правды, но и сила, посредствующая меж судьбой и человеком. По-видимому, эту силу, в достаточной мере отвлеченную, следует отличать от конкретных и плотских фигур небожителей, которых, однако, земные дела занимают куда больше, чем небесные; это еще один аспект многослойное гомеровского эпоса. Поэт так изображает Олимп (который, кстати, у него — то еще гора, то уже синоним неба):

*...Олимп, где обитель свою, говорят, основали  
Боги, где ветры не дуют, где дождь не шумит хладоносный,  
Где не подьмет метелей зима, где безоблачный воздух  
Легкой лазурью разлит и сладчайшим дыханьем проникнут;  
Там для богов в несказанных утехах все дни пробегают.*  
(«Одиссея» VI, 42–46)

Но «утехи» перемежаются обидами, горестями, ссорами, и жизнь богов далека от безмятежности и спокойствия, которые обыкновенно ассоциируются со словом Олимп. Боги отнюдь не вездесущи и не всеведущи — иначе бы их не могли обманывать другие боги и даже люди, иначе Афина (она сама в этом признается), зная заранее, что Зевс, склонившись на просьбы Фетиды, обрушит столько бедствий на ахейцев под Троей, не выполнила бы желание отца и не стала бы помогать его смертному сыну Гераклу. Боги не беспечальны: Фетида непрерывно оплакивает грядущую гибель Ахиллеса, и даже Зевс скорбит об участи своего сына Сарпедона, назначая ему пасть от руки Патрокла. Боги терпят боль от ран, в сражении они злобствуют, волнуются, страшатся — точь-в-точь как люди, осыпают друг друга бранью, несравненно более грубой, чем те

вызывающие речи, которыми обмениваются перед схваткой герои. Арес, «налетев на Афины, изрыгает поносные речи»:

*Паки ты, наглая муха, на брань небожителей сводишь?  
Дерзость твоя беспредельна! Ты вечно свирепствуешь  
сердцем!*  
(«Илиада» XXI, 394–395)

Гера — наиболее сварливая среди олимпийцев, и сама страдающая от своего несносного нрава — называет Артемиду «бесстыдной псицей». Гера хулит даже Зевса — и за глаза, и прямо в лицо. И внешне гомеровские боги далеко не так хороши, как обычно представляют себе богов Эллады. Отгалкивающе ужасен свирепый Арес, Гефест хром настолько, что почти не в силах передвигаться без помощи прислужниц, покрыт потом, грязен, волосат:

*Губкою влажною вытер лицо и могучие руки,  
Вью дебелию, жилистый тыл и косматые перси.*  
(«Илиада» XVIII, 414–415)

Случаются на Олимпе и супружеские измены, и обманутые мужья и жены страдают от ревности (Гефест даже восклицает: «Зачем я родился?!»), а насмешники находят в приключившемся пищу для шуток, иной раз достаточно скабрёзных. И все же в Гомере нет ни намёка на атеизм, его вера совершенно непоколебима, а отношение к богам серьёзно и благоговейно. Насмешка, скептицизм — всего этого, надо полагать, для современников поэта в «Илиаде» и «Одиссее» не существовало.

Боги — источник всех благ, всех добрых качеств, дары богов должно принимать с благодарностью, какими бы они ни были. Покорно выслушав упреки Гектора в малодушии и изнеженности, Парис возражает брату лишь в одном:

*Не осуждай ты любезных даров златой Афродиты.  
Нет, ни один не порочен из светлых даров нам бессмертных;  
Их они сами дают, произвольно никто не получит.*

(«Илиада» III, 64–66)

Дары богов распределяются справедливо, равномерно:

*Боги не всякого всем наделяют: не каждый имеет  
Вдруг и пленительный образ, и ум, и могущество слова;  
Тот по наружному виду внимания мало достоин —  
Прелестью речи зато одарен от богов...  
Тот же, напротив, бессмертным подобен лица красотой,  
Прелести ж бедное слово его никакой не имеет.*

(«Одиссея» VIII, 167–175)

Это вышние силы, и человек смиренно склоняется перед ними. Но с «воплощенным» божеством, которое вмешивается во все мелочи земной жизни — даже в конские бега (Аполлон вышибает бич из руки Диомеда, а Афина в отместку ломает колесницу у сильнейшего из соперников Диомеда), у человека волей-неволей складываются иные отношения, более короткие и эмоциональные, такие, например, как у Одиссея с Афиной; богиня сама говорит о духовном средстве между ними:

*Мы оба  
Любим хитрить. На земле ты меж смертными  
разумом первый,  
Также и сладкою речью; я первая между бессмертных  
Мудрым умом и искусством на хитрые вымыслы.*

(«Одиссея» XIII, 296–299)

С другой стороны, люди часто упрекают богов за жестокость, гневаются на них и даже им угрожают. Верный



слуга Одиссея коровник Филойтий, вспомнив о своем без вести пропавшем хозяине, восклицает:

*О Зевс! Ты безжалостней всех, на Олимпе живущих!  
Нет состраданья в тебе к человекам; ты сам,  
наш создатель,  
Нас предаешь беспощадно беде и грызущему горю.*  
(«Одиссея» XX, 201–203)

И хотя Гомер сам, в описании щита Ахиллеса, говорит о богах:

*Всем отличны они; человеки далеко их ниже, —*  
(«Илиада» XVIII, 519),

хотя «боги ужасны, явившиеся взорам», хотя Аполлон объявляет Диомеду:

*Никогда меж собою не будет подобно  
Племя бессмертных богов и по праху влачащихся  
смертных, —*  
(«Илиада» V, 441–442)

все же и боги «много уже от людей пострадали». Человек способен не только причинить богу вред, но и одолеть бога: так Менелай «обманом пересиливает» морского старца Протея, и тот, признав себя побежденным, открывает ему будущее. Вот — не считая бессмертия — подлинное преимущество богов перед людьми: они больше знают, знают будущее (хотя и их знание неполно). Но изменить будущее, направить его по-иному пути не могут и боги: вместе с людьми они подчиняются высшей в мире силе — Судьбе. Судьба безлика; она настолько непреложна, настолько недоступна уму, что даже Гомер оказался не способен увидеть ее и нарисовать. Боги — слуги Судьбы; не

исполнить ее решение они не вправе, они властны только приблизить или отдалить predetermined Судьбой.

*Но и богам невозможно от общего смертного часа  
Милого им человека избавить, когда он уж предан  
В руки навек усыпляющей смерти судьбиною будет.*

(«Одиссея» III, 236–238)

Патрокл обречен, но, когда ему пасть, решает Зевс. Одиссею суждено вернуться на родину, и как ни озлоблен против него Посейдон, но погубить его не может. Тот же Посейдон выносит из битвы Энея, опасаясь, как бы Ахиллес его не убил: это «раздражит» Зевса, ибо «предназначено роком Энею спастися». И бог предостерегает Энея, явившись ему воочию: всегда отступай перед сыном Пелея, а иначе, «судьбе вопреки, низойдешь ты в обитель Аида». Однако люди далеко не всегда прислушиваются к милостивым предупреждениям богов и гибнут «вопреки судьбе», которая в этих случаях как бы предлагает дилемму: поступишь так-то — уцелеешь, поступишь по-иному — умрешь. Боги посылали Гермеса к Эгисту, чтобы тот не покушался на жизнь Агамемнона и не вступал в брак с его супругой Клитемнестрой. Эгист пренебрег спасительным советом и, как и предсказывал ему Гермес, понес наказание от руки сына убитого. Ахиллес остается под Троей — это акт свободной воли, но уже в последствиях этого акта, заранее известных богам, а через них и самому герою, изменить нельзя ничего: Ахиллеса ждут великие подвиги, скорая смерть и вечная слава. А боги должны позаботиться, чтобы все помехи с пути Судьбы были убраны, и Гера, «быстро созвавши богов, вещает»:

*Все мы оставили небо, желая присутствовать сами  
В брани, да он (Ахиллес. — III. М.) от троян ничего не  
претерпит сегодня;*

*После претерпит он все, что ему непреклонная Участь  
С первого дня, как рождался от матери, выпряла с нитью.*  
(«Илиада» XX, 125–128)

Если в самом общем виде, пренебрегши обилием слоев и несогласованностью деталей, сформулировать мысль Гомера, следует, видимо, признать, что в тесных рамках необходимости он видит место, остающееся для свободного и обдуманного выбора, который делает человек, опираясь на разум и совесть.

## VI

Автора «Илиады» и «Одиссеи» отличает мастерство драматурга, который предоставляет героям говорить и действовать самим. А натуры героев весьма разнообразны, и нет среди них ни одного, который полностью сливался бы с поэтом. Вместе с тем поэт не прячется все время за кулисами, но часто выходит на сцену и говорит «от себя», обращаясь прямо к зрителю-читателю, к действующим лицам, к Музе (подсчитано, что такие «прямые высказывания» занимают около 1/5 всего текста). И это вполне естественно, ибо чистая объективность, полная незаинтересованность даже при самом широком и точном отображении действительности мертвы и к искусству не принадлежат. Вот почему к многочисленным и непохожим друг на друга голосам персонажей присоединяется еще один, сообщающий всем прочим глубину и особую выразительность — стереофонические качества, если обратиться к языку сегодняшнего дня.

Вслушаемся еще раз в голоса персонажей, звучащие столь разнообразно.

Закljučается перемирие, чтобы дать сойтись в поединке двум главным врагам — обманутому, ограбленному Менелая и похитителю Парису. Честный исход этого поединка, каким бы он ни был, должен положить конец войне, и многие воины обоих станов с надеждою, страхом и решимостью «возглашают»:

*Зевс многославный, великий, и все вы, бессмертные боги!  
Первых, которые смеют священные клятвы нарушить,  
Мозг, как из чаши вино, да по черной земле разольется,  
Их, вероломных, и чад, — и пришельцы их жен да обымут!*  
(«Илиада» III, 298–301)

Ахиллес, ожесточившийся в своей непримиримости, отвергает все дары Агамемнона и слышать не хочет о женитьбе на его дочери:

*Дщери супругой себе не возьму от Атреева сына;  
Если красую она со златой Афродитой спорит,  
Если искусством работ светлоокой Афине подобна,  
Дщери его не возьму!*

(«Илиада» IX, 388–391)

Гектор убит, ярость гаснет в душе Ахиллеса, но только яростью, жадной мщенья он и держался, и теперь душа его пуста, в ней не остается ничего, кроме по-прежнему безудержной любви к мертвому Патроклу, которая в свою очередь не что иное, как отчаяние:

*Не забуду его, не забуду, пока я  
Между живыми влачусь и стопами земли прикасаюсь!  
Если ж умершие смертные память теряют в Аиде,  
Буду я помнить и там моего благородного друга!*

(«Илиада» XXII, 387–390)

Отчаяние и в плаче овдовевшей Андромахи, но совсем иное — это иступленный женский вопль, захлебывающееся слезами причитание:

*...А ныне у вражьих судов, далеко от родимых,  
Черви тебя пожирают, раздранного псами, нагого!  
Наг ты лежишь! а тебе одеяния сколько в чертогах,  
Риз и прекрасных и тонких, сотканных руками троянок!  
Все их теперь я, несчастная, в огненный пламень повергну!  
Сделал ты их бесполезными, в них и лежать ты не будешь!  
В сонме троян и троянок сожгу их, тебе я во славу!*

(«Илиада» XXII, 508–514)

Нет слов, любая строчка здесь — не фотография, не магнитофонная запись, в любой говорят не только ахейцы или защитники Трои, Ахиллес или Андромаха, но и страдающий, сопереживающий Гомер, и все же эмоциональная насыщенность, напряженность целого были бы гораздо ниже, если бы время от времени, покрывая рыдания, хохот, крики, свист стрел, вой ослепленного циклопа, грохот бури, не звучал сдержанный и чуть-чуть грустный собственный голос автора:

*...И на землю нечистую пал он, как тополь,  
Влажного луга питомец, при благе великом возросший,  
Ровен и чист, на единой вершине раскинувший ветви,  
Тополь, который избрав, колесничник железом*

*блестящим*

*Ссек, чтоб в колеса его для прекрасной согнуть колесницы;  
В прахе лежит он и сохнет на берегу потока родного, —  
Юный таков Симоисий лежал, обнаженный доспехов  
Мощным Аяксом.*

(«Илиада» IV, 482–489)

Постоянное переплетение авторской интонации с интонациями героев создает удивительный эффект: целое не только выигрывает в силе, но приобретает благородную соразмерность, всякому явлению жизни, всякой страсти, высокой и низменной, отведено свое место. Мы как бы видим все разом, а потому не слишком самозабвенно рукоплещем добру и красоте, но и не приходим в отчаяние от несправедливости, жестокости и уродства.

Формы и приемы прямого авторского вмешательства разнообразны и не всегда останавливают внимание (особенно в переводе). Иные — например, обращения к Менелаю, Аполлону, Евмею, или риторические вопросы, по сути дела направленные к слушателям, или замена эпического прошедшего времени настоящим — хотя и заметны, но особого интереса для читателя

не представляют. К тому же смысл их не всегда может быть удовлетворительным образом объяснен. Почему Гомер обращается к второстепенному троянскому герою Меланиппу и ни разу не обращается ни к Ахиллесу, ни к Одиссею? Что означает такое обращение? Ни то, ни другое неизвестно... Поэтому целесообразно говорить лишь о важнейших случаях нарушения объективности повествования.

Автор иногда сам дает оценку изображаемому событию. Главк и Диомед в знак дружбы обмениваются доспехами, и Гомер замечает:

*В оное время у Главка рассудок восхитил Кронион:  
Он Диомеду герою доспех золотой свой на медный,  
Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять.*  
(«Илиада» VI, 234–236)

Надругательство Ахиллеса над телом Гектора Гомер несколько раз называет «недостойным делом». Как ни толковать слово «недостойный» в контексте XXII и XXIII песней «Илиады», — ученые судят об этом по-разному, — сам факт авторской оценки сомнению не подлежит. Женихов Гомер порицает не только устами героев «Одиссеи», но и сам с необычным для него злорадством говорит:

*Весел беспечно и жив разговор и хохотом шумен  
Был их обед, для которого столько настряпали сами;  
Но никогда, и нигде, и никто не готовил такого*

*Ужина людям, какой приготовил с Палладою грозный  
Муж для незваных гостей, беззаконных ругателей  
правды.*  
(«Одиссея» XX, 390–394)

Другой, более частый случай — рассказ о вещах «от себя». Автор как бы останавливает ход действия: мы здесь упомянули дом Приама, или кобылицу Эфу, или лук Одиссея — так вот, кстати... и следует более или менее длинный отчет о том, кому вещь принадлежала раньше, кто ее сделал, как она выглядит, и т. д. Нередко такой рассказ, служа целям точности и живости описания, бывает прежде всего вызван особым отношением автора к материалу, связан с общим замыслом всего эпизода. «Щит Ахиллеса» — самое пространное из этих отступлений — разделяет две в высшей степени мрачные сцены: «рыдательный плач» Ахиллеса над телом Патрокла и зловещую радость героя при виде нового оружия, радость, по сути вещей знаменующую тягу к смерти, ибо сразить Гектора — значит вскоре погибнуть самому. Картины мирной жизни, изображенные на щите, позволяют читателю отдохнуть от ужасов войны и тем самым обостряют его эмоциональную восприимчивость, тогда как стой обе сцены рядом — вторая потеряла бы в силе наполовину.

Но сильнейшее средство нарушения мнимой объективности (эпической иллюзии) — это авторские сравнения. В обеих поэмах их около двухсот сорока, длиной от двух до двести строк, однако не в длине их принципиальное отличие от сравнений в речах героев. Когда Агамемнон говорит Нестору об Ахиллесе:

*Пусть примирится; Аид несмирим, Аид непреклонен;  
Но зато из богов ненавистнее всех он и людям, —*  
(«Илиада» IX, 158–159)

когда Одиссей притворно жалуется:

*...Но все миновалось;  
Я лишь солома теперь, по соломе, однако, и прежний  
Колос легко распознаешь ты, —*  
(«Одиссея» XIV, 213–215)



то каждое слово здесь направлено к возможно более полному изображению сравниваемого: если Ахиллес будет непримирим, как Аид, то, как Аид, будет он ненавистен людям; «я теперь, как вымолоченная солома, однако, как по соломе можно догадаться, что за колос она несла, так и ты можешь догадаться, что за человек я был прежде». Но когда Гомер «от себя» говорит:

*Против него (Энея. — Ш. М.) Ахиллес устремился,  
как лев-истребитель,  
Коего мужи-селяне, решая убить непременно,  
Сходятся, весь их народ; и сначала он, всех презирая,  
Прямо идет; но едва его дротиком юноша смелый  
Ранит, — напучась он к скоку, зияет; вокруг страшного зева  
Пена клубится; в груди его стонет могучее сердце;  
Гневно косматым хвостом по своим он бокам и по бедрам  
Хлещет кругом и себя самого подстрекает на битву;  
Взором сверкает и вдруг, увлеченный свирепством, несется  
Или стрелца растерзать, или в толпице первым  
погибнуть, —  
Так поощряла Пелида и сила и мужество сердца  
Противостать возвышенному духом Энею герою, —  
(«Илиада» XX, 164–175)*

то здесь из девяти с половиной строк лишь полстроки собственно сравнение: Ахиллес бросился на Энея, как разъяренный лев. Остальные девять строк — картина, непосредственно с контекстом не связанная и легко из него «вынимающаяся». Древние понимали чужеродность этих картин и видели в них поэтические украшения. Однако это не просто украшения, ибо эпос, лишившись авторских сравнений, понес бы непоправимый урон. Это точно выход из условной, поэтической действительности в мир, доподлинно окружающий автора и его аудиторию; чувства читателя изменяют свое направление, чтобы

затем освеженными, с новой силой обратиться к судьбам героев. Это самая настоящая лирика, вкрапленная в эпос.

Вполне понятно, что темы для сравнений заимствуются из мирной жизни: хотя и война знакома современникам поэта отнюдь не понаслышке, но сравнения предназначены служить эмоциональным контрастом к основному повествованию, а потому военная тематика исключается. Это верно для обеих поэм, и всё же «Илиада» заметно отличается от «Одиссеи». Сравнения «Илиады» монументальны, охотнее всего автор вспоминает о травле зверя (обычно — льва или вепря), о грозных и величественных явлениях природы:

*Словно как вепря, и быстрые псы, и ловцы молодые  
Вдруг окружают, а он из дремучего леса выходит  
Грозный, в искривленных челюстях белый свой клык  
изощряя;*

*Ловчие вокруг нападают; стучит он ужасно зубами,  
Гордый зверь, но стоят звероловцы, как он ни грозен, —  
Так на любимца богов Одиссея кругом напали  
Мужи троянские...*

(«Илиада» XI, 414–420)

Много раз в сравнениях идет снег — потому, быть может, что он падает так мягко и тихо, вид этого радует поэта, он готов рисовать его снова и снова и однажды, вовсе пренебрегши логикой, уподобляет хлопьям снега камни, которые мечут друг в друга троянцы и ахейцы:

*Словно как снег, устремившись, хлопьями сыплется  
частый,  
В зимнюю пору, когда громовержец Кронион восходит  
С неба снежить человекам, являя могущества стрелы:  
Ветры все успокоивши, сыплет он снег непрерывный,  
Гор высочайших главы и утесов верхи покрывая,*

*И цветущие степи, и тучные пахарей нивы;  
Сыплется снег на берега и на пристани моря седого;  
Волны его, набежав, поглощают; но все остальное  
Он покрывает, коль свыше обрушится Зевсова вьюга, —  
Так от воинства к воинству частые камни летали...*  
(«Илиада» XII, 278–287)

«Одиссея» беднее сравнениями, и сами они короче; в них преобладают бытовые мотивы: дети радуются выздоровлению отца, пахарь прячет под золой головню, чтобы она не потухла, вдова рыдает над телом супруга, корабельный плотник сверлит буравом доску, телята мычат, завидев маток, рычит сука, у которой отнимают щенят, певец настраивает лиру, мечутся коровы, ошалевшие от укусов слепней... Вот, пожалуй, одно из лучших и наиболее типичных:

*Так помышляет о сладостном вечере пахарь, день целый  
Свежее поле с четою волов бороздивший могучим  
Плугом, и весело день провожает он взором на запад —  
Тащится тяжкой стопою домой он готовить свой ужин.  
Так Одиссей веселился, увидя склоненье на запад Дня.*  
(«Одиссея» XIII, 31–36)

Нам уже представился случай говорить о свежести, небанальности гомеровских сравнений. Они могут быть неожиданны, смелы, необычны, но никогда нет в них ничего нарочитого, ничего надуманного. Разгневанная Гера и Афина, быстро и бесшумно летящие на помощь ахейцам, уподобляются робким голубкам:

*Сами богини спешат, голубицам подобные робким,  
Поступью легкой, горя поборать за данаев любезных.*  
(«Илиада» V, 778–779)

Отвага Менелая сравнивается со смелостью мухи,

*которая мужем*

*Сколько бы раз ни была, дерзновенная, согнана с тела,  
Мечется вновь уязвить, человеческой жадная крови.*

(«Илиада» XVII, 570–572)

Рассказывая о долгой безуспешной погоне Ахиллеса за Гектором, автор замечает:

*Словно во сне человек изловить человека не может,  
Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно, —  
Так и герои, ни сей не догонит, ни тот не уходит.*

(«Илиада» XXII, 199–201)

Эта свежесть, соединяясь с возвышенностью и глубокой серьезностью тона, спасает сравнения от натурализма, который в иных случаях им грозит.

*...Подобно как волки,*

*Хищные звери, у коих в сердцах беспредельная дерзость,  
Кои еленя рогатого, в дебри нагорной повергнув,  
Зверски терзают; у всех обагрованы кровию пасти;  
После стаею целой к источнику черному рыщут;  
Там языками их гибкими мутную воду потока  
Локчут, рыгая кровь поглощенную; в персях их бьется  
Неукротимое сердце, и всех их раздуты утробы, —  
В брань таковы мирмидонян вожди и строители ратей  
Реяли окрест Патрокла...*

(«Илиада» XVI, 156–165)

Или:

*Если полипа из ложа ветвистого силою вырвешь,  
Множество крупинок камня к его прилепляется ножкам;  
К резкому так прилепилась утесу лоскутьями кожа  
Рук Одиссеевых.*

(«Одиссея» V, 432–435)

Формы авторского вмешательства и авторской оценки этим не исчерпываются; ниже мы еще к ним вернемся.

## VII

Нам остается посмотреть, насколько полно и последовательно воплощены поэтические принципы Гомера и его мироощущение — как построены поэмы в целом и отдельные образы. Композиция «Илиады» и «Одиссеи» не случайна, не стихийна, а составляет предмет особой заботы автора, который мог бы повторить слова Одиссея, предпосланные его длинному рассказу о своих странствиях:

*Что же я прежде, что после и что наконец расскажу вам?*  
(«Одиссея» IX, 14)

В результате строго обдуманного расположения материала действие оказывается концентрированным, насыщенным, а все темы исчерпанными до конца. Уже первые строки вводят читателя в «курс дела», в самую гущу событий. Вся экспозиция «Илиады» занимает одиннадцать стихов, из которых мы узнаем и тему произведения — гнев Ахиллеса, и повод к гневу, и обстоятельства, предшествовавшие ссоре, и даже божественную их подоплеку. Затем сразу же начинается действие, которое длится до тех пор, пока не иссякает полностью главная тема. Ни умерщвление Гектора, ни надругательство над его телом, ни пышные похороны Патрокла, ни погребальные пиры в честь друга не приносят успокоения Ахиллесу. Только после свидания с Приамом наступает перелом: душа, омраченная яростью и отчаянием, словно просветляется, омытая слезами, которые вместе проливают убийца и отец убитого. И затем такое же просветленное завершение второй темы — темы Гектора, которая неотделима от главной, ею рождена и в то же время дополняет ее. Последние песни «Илиады» вплоть до завершающего «Так

погребали они конеборного Гектора тело» — не эпилог, а подлинная развязка, которую можно и, пожалуй, даже следует сопоставить с развязкою трагедии, где муки героев, возбуждая страх и сострадание, вызывали некое очищение (по-гречески — катарсис). Здесь не место толковать содержание сложного и до сих пор окончательно не раскрытого понятия «катарсис», но очевидно, что гомеровский эпос и греческую трагедию связывает нечто значительно большее, нежели чисто внешнее сходство...

Экспозиция «Одиссеи» гораздо пространнее, около ста стихов, зато она не отделена от действия, но сама является его частью (считать экспозицией одно обращение к Музе нельзя: содержащихся в нем сведений недостаточно, чтобы предварить рассказ о возврате Одиссея на родину, и только из речей Зевса и Афины на совете богов возникает картина более или менее полная). Прекращается повествование весьма решительно (пожалуй, следовало бы сказать — «обрывается»), не случайно последние строки XXIV песни:

*Скоро потом меж царем и народом союз укрепила  
Жертвой и клятвой великой принявшая Менторов образ  
Светлая дочь громовержца богиня Афина Паллада, —*

оставляют ощущение несвойственной Гомеру скомканности: эпилог не нужен и здесь, и поэт как бы нехотя, против воли соглашается на эти уже находящиеся за пределами «возвращения» строки.

Стройность, изящество и обозримость были бы недостижимы при таком обилии материала, если бы не экономия, не искусное его размещение. «Илиада» рассказывает о пятидесяти одном дне последнего года войны (насыщенных действием дней и того меньше — всего девять), и, однако, мы получаем впечатление о всей войне, видим весь ее размах, всю напряженность, жестокость и героизм. А ведь идет уже десятый год осады, обе

стороны обессилены, обеим надоела борьба, обе давно думают о перемирии и отдыхе. И вот вводится мотив испытания войска: верховный вождь притворно предлагает ахейцам вернуться на родину, его слова принимаются за чистую монету, все бегут к судам, чтобы тут же оставить ненавистные берега Трои, и только сопротивление вождей заставляет воинов образумиться, — они сознают, что им просто невозможно вернуться, бросив дело незавершенным. Эта встряска разряжает усталость и безразличие, война словно начинается сызнова, и такие эпизоды, как поединок Менелая с Парисом или «смотр со стены» (Приам с другими стариками и Еленой с городской башни разглядывают, точно впервые, вражеские войска), нисколько не противоречат гомеровскому принципу правдоподобия. Другой прием, превращающий один из эпизодов великой войны (пусть чрезвычайно важный, но все же только один!) в полную ее картину, — это проходящая лейтмотивом тема обреченности Трои. Смертные герои, даже самые сведущие в планах и намерениях богов, не до конца уверены в исходе борьбы, и настроение их, в зависимости от успехов или неудач, колеблется меж двумя полюсами:

*Будет некогда день, и погибнет священная Троя*

и

*Нам не разрушить Трои с широкими стогнами града.*

Но поэт (а с ним вместе и читатель) владеет всем знанием олимпийцев и провидит судьбу Илиона, а потому каждый поединок, каждое гневное или хвастливое слово Агамемнона, Ахиллеса, Гектора, каждая жалоба Приама для нас, искусством и мудростью Гомера поставленных «над схваткой», соотнесены с концом пути, начавшегося преступлением Париса, и усугубляют неотвратимость этого конца.



Все эпизоды поэмы, как бы ни были они пестры и несхожи, группируются вокруг гнева Ахиллеса и подчинены ему. Темп повествования отнюдь не однообразен, не эпически равномерен — в нем чередуются взлеты и падения, шторм и затишье; сравним хотя бы стремительное начало «Илиады» с бесконечными вереницами поединков в батальных сценах. И снова обнаруживается сходство гомеровского эпоса с трагедией, тоже неровной, порывистой, изобилующей резкими поворотами (перипетиями), один из которых решает судьбу героя и ведет к кульминации и развязке. А что такое гибель Патрокла, как не главная перипетия «Илиады»? Разрешая другу выйти в сражение, Ахиллес ни минуты не думает, что тот может не вернуться. Его тревожит только, как бы Патрокл не похитил его славы, если он «поведет полки к Илиону», единственно поэтому он и запрещает Патроклу «поражать совершенно храбрых троян». И когда прибегает Антилох с криком:

*Пал наш Патрокл! И уже загорелась битва за тело;  
Он уже наг; совлек все оружие Гектор могучий! —*  
(«Илиада» XVIII, 20–21)

весть эта настолько неожиданна для Ахиллеса, настолько он к ней не подготовлен, что сначала теряет сознание, а потом, очнувшись, не может произнести ни слова и молча рвет на себе волосы, осыпав голову и лицо пылью. Это истинный перелом и в поведении героя, и в его судьбе, и в ходе поэмы, действие которой отныне развивается без всяких уклонений через кульминацию — умерщвление Гектора — к развязке.

Однако автор не только строит свой материал, как будущие мастера трагедии, но и относится к нему подобно Софоклу. С глубоким сочувствием глядит он на своих героев, уже обреченных гибели и страданиям и по неведению приближающих свой смертный час, обостряющих свои муки. Это снисходительное, скорбное сочувствие знающего к незнающим (в драме его

называют трагической иронией) выражается и непосредственно, в «ремарках», и через речи действующих лиц, вызывающие у читателя вполне однозначную реакцию. Патрокл горячо упрашивает Ахиллеса:

*В бой отпусти ты меня и вверх мне своих мирмидонян...  
Дай рамена облачить мне твоим оружием славным,*

и поэт, точно вздыхая, прибавляет:

*Так он просил, неразумный! Увы, не предвидел, что будет  
Сам для себя он выпрашивать страшную смерть и  
погибель!*

(«Илиада» XVI, 38–47)

Трагической иронией проникнут весь образ Гектора, почти до конца надеющегося на успех, на победу и спасение Трои. Но для нас, «как боги» знающих все, его надежда разом и смешна, и жалка, и трогательна, потому что она человечна. Не менее ироничен (разумеется, лишь в указанном выше смысле) образ Ахиллеса. К самонадеянности и спокойствию, с которыми он провожает в битву Патрокла, нужно прибавить обращенную к матери просьбу, чтобы Зевс ниспослал ахейцам жестокое поражение, обещание Аяксу взяться за оружие лишь тогда, когда Гектор подступит к самым судам и подожжет их, радость при виде бегства ахейцев. И опять мы усмехаемся вместе с поэтом: просьба будет исполнена, обещание — тоже, но результат окажется как раз противоположным тому, на который уповает герой. В иных случаях трагическая ирония до предела заостряет ситуацию, и тогда нет места усмешке, остается лишь страх и сострадание. Гектор пал, Ахиллес сорвал с него доспехи, ахейцы, сбегавшись, дивятся «на рост и на образ чудесный Гектора», и каждый пронзает убитого копьем; звучат вошедшие в пословицу у многих народов Европы слова: «О! Несравненно

теперь к осязанию мягче сей Гектор», уже рыдают на стене Приам, Гекуба и остальные троянцы, а Андромаха все еще спокойно ткет в отдаленном покое отдав рабыням повеление согреть воду для купания Гектора, чье тело победитель уже волочит за колесницу, а голова, «прекрасная прежде, бьется по праху».

«Одиссея» построена несколько иначе. Все изображенные в ней события происходят в течение сорока дней («действенных» — тоже девять), но такого плотного сгущения действия, такого тесного переплетения различных его линий, как в «Илиаде», здесь нет. Странствия Одиссея, — сначала последний их этап, нарисованный автором, а потом рассказ героя о предыдущих своих приключениях, — замкнуты в строгую рамку и тем нарочито выделены и подчеркнуты. Первую часть рамки (песни I–IV) принято называть «Телемахидой». Аналитики считали ее «малой песней», механически приклеенной к собственно «Одиссее». Унитарии, обнаружившие здесь рамочную композицию, кроме того, весьма основательно указывают, что без «Телемахиды» Итака со всеми ее обитателями — Телемахом, Пенелопой, Лаэртом и женихами — предстала бы неведомою страной перед читателем, который в этом случае чувствовал бы себя еще более неуверенно, чем отсутствовавший двадцать лет и возвратившийся в образе нищего царь Одиссей. Но ставить себя и читателя в равное положение с героем — не говоря уже о менее выгодном! — не в правилах Гомера. Любопытно и поучительно, как из одного и того же факта ученые-гомероведы делают диаметрально противоположные выводы. Афина дважды обращается к Зевсу, напоминая ему о бедствиях Одиссея и о том, что пора возвратить скитальца на родину — в начале I и V песней, и для аналитиков это убедительнейшее доказательство чужеродности «Телемахиды» (сцена совета богов, говорят они, прервана в самом начале огромною вставкой), а для унитариев — искусный композиционный прием: упреки богини как бы окаймляют «Телемахиду», и две речи Афины — не что иное, как

два предисловия, первое — к повествованию о Телемахе, второе — к «Одиссее» в собственном смысле слова. Отмеченная выше перестановка в рассказе о скитаниях Одиссея — превосходная находка, рожденная, вероятно, во многом соображениями экономии. События десяти лет укладываются в сравнительно небольшое число строк и, не входя в действие непосредственно, сообщают ему глубину, перспективу. Нужно, однако, сразу сказать, что, на наш взгляд, подобный же эффект в «Илиаде» достигается средствами более тонкими и, если можно так выразиться, более внутренними.

Некоторые ученые создают сложные схемы построения обеих поэм, устанавливая у Гомера особый композиционный стиль, который они именуют «геометрическим». Его основа — острейшее чувство симметрии, а результат — последовательное членение поэм и отдельных эпизодов на триптихи (тройное деление). Нет ни нужды, ни возможности излагать здесь принципы и детали геометризма. Ограничимся одним примером. Песни I–V «Одиссеи» составляют, по мнению ученых, структурное единство, складывающееся из двух триптихов. Первый: совет богов и их намерение вернуть Одиссея на родину (I, 1–100); Телемах и женихи на Итаке (I, 101–II) и Телемах в Пилосе в гостях у Нестора (III). Второй: Телемах в Спарте в гостях у Менелая (IV, 1–624); женихи на Итаке (IV, 625–847) и совет богов и начало пути Одиссея на родину (V). Нетрудно заметить, что второй триптих как бы зеркально отражает первый; получается симметричное расположение элементов по обе стороны от центральной оси. Но, разумеется, и тройное деление, и симметрия — результат врожденного чувства меры, а не расчета или сознательного подчинения хитрой схеме.

С геометризмом связана одна важная для композиции гомеровского эпоса закономерность — так называемый закон хронологической несовместимости. Он состоит в том, что одновременные и параллельные действия Гомер изобразить не может, а потому рисует их как разновременные, хотя это ведет к

недоразумениям и прямым нелепостям. Зевс с горы Иды видит, что, вопреки его воле, верх берут ахейцы, и приказывает Гере прислать к нему с Олимпа Ириду и Аполлона, чтобы отправить Ириду к Посейдону с повелением прекратить всякую помощь ахейцам, а Аполлона к Гектору — «возвышать храбрость» вождя троянцев. Оба божества являются на Иду одновременно, и было бы естественно, чтобы они одновременно исполняли каждый свое дело. Но Зевс сначала дает поручение Ириде, дожидается, пока Посейдон после недолгих препирательств с вестницей уступает, и только «тогда к Аполлону воззвал громовержец Кронион». Закону хронологической несовместимости подчиняется даже изображение действий, совсем кратких, почти мгновенных. Битвы выглядят цепочками поединков, в каждом из которых строго соблюдается очередность ударов — разом противники никогда не бьют. Видимо, это остатки примитивного творческого метода древних аэдов, одно из слабых мест у Гомера, такое же, как, например, резкое снижение занимательности в XII песни «Одиссеи», где Цирцея заранее и достаточно подробно рассказывает герою о приключениях и опасностях, которые его ждут. Существует, впрочем, и другая точка зрения, будто этот закон не имеет ничего общего с примитивностью или неумелостью, будто он отнюдь не универсален и часто нарушается и, наконец, будто применение его вполне осмысленно, — оно углубляет эпическую иллюзию: ведь в каждый данный момент очевидец способен наблюдать только одно действие. Последний аргумент заслуживает внимания. В самом деле, мы уже не раз убеждались, что элементы традиции, архаические, омертвевшие, могут ассимилироваться творческой индивидуальностью Гомера, приобретая новое значение и новую жизнь.

Концентрации действия отвечает концентрированное построение образа. Черты каждого персонажа, как бы ни были они, в силу полной жизненности гомеровских образов, пестры и нестандартны, по сути дела строго согласованны: это не набор черт, а единая их система с прочным стержнем. И сами образы

тяготеют к немногим центральным и соотнесены с ними. Два таких центра в «Илиаде» — это Ахиллес и Гектор, причем второй, в свою очередь — антипод первого, а поскольку тема всей поэмы — гнев Ахиллеса («Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»), разумно считать линию Гектора второй темой «Илиады». Но Ахиллес — не только величайший герой греков-ахейцев и главный герой поэмы; по единодушному утверждению древних, он любимый герой поэта. Между тем нам (во всяком случае, многим, — может быть, даже большинству из нас) милее его враг. Объяснить это только широтой взгляда Гомера, бесспорно симпатизирующего и Гектору, нельзя. Здесь сказывается несовпадение нашего восприятия с гомеровским.

Ахиллес прибыл со своими мирмидонцами к стенам Илиона еще совсем юным. За девять лет осады он возмужал, но мальчишеская гордость и горячность сохранились во всей неприкосновенности. Отпуская сына под Троию, Пелей наставлял его:

*В персях горячих*

*Гордую душу обуздывай; кротость любезная лучше.*

*Распри злотворной, как можно, чуждайся.*

(«Илиада» IX, 255–257)

И спустя девять лет Патрокл говорит Нестору о своем друге:

*Знаешь довольно и сам ты, божественный старец, какой он*

*Взметчивый муж: и невинного вовсе легко обвинит он.*

(«Илиада» XI, 653–654).

Сохраняет Ахиллес и детское прямодушие:

*Тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада,*

*Кто на душе сокровяет одно, говорит же другое.*

(«Илиада» IX, 312–313)

Прямодушные, но не простодушные, ибо его ответы послам (прежде всего — Одиссею) свидетельствуют об истинной мудрости. Он отлично знает свою судьбу, сам избирает раннюю смерть и не боится ее; свыкнувшись с мыслью, что он умрет молодым, Ахиллес не понимает, как могут бояться смерти другие. Троянцу, молящему о пощаде, он отвечает:

*Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?  
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший  
смертный!*

*Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом;  
Сын отца знаменитого, мать имею богиню!*

*Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть:*

*Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень.*

(«Илиада» XXI, 106–111)

Все, начиная с матери, непрерывно напоминают ему о близком конце, не отсюда ли, из осознанной и сознательно избранной кратковечности в сочетании с природной вспыльчивостью, рождается главное, что отличает Ахиллеса, — его безудержность? Он хочет каждый миг прожить сполна и потому так обостренно реагирует на любую обиду. А обида, нанесенная ему, велика: верховный вождь чинит прямое насилие над справедливостью, отбирая у первого героя ахейского войска его почетную награду — Брисеиду, которая дорога ему не меньше, а, вероятно, гораздо больше, чем мать его сына, оставленная много лет назад на далеком Скиросе:

*Или супруг непорочных любят от всех земнородных  
Только Атрея сыны? Добродетельный муж и разумный  
Каждый свою бережет и любит, как я Брисеиду:  
Я Брисеиду любил, несмотря что оружием добыл!*

(«Илиада» IX, 340–343)

К этой обиде присоединяется другая. Когда Агамемнон выражает желание, чтобы взамен возвращаемой отцу Брисеиды ему дали другую награду («да в стане аргивском я без награды один не останусь»), а потом прямо грозит отнять наложницу у Ахиллеса, Аякса, Одиссея или кого-либо еще, Ахиллес возражает ему, отстаивая интересы каждого из ахейских предводителей, а не только свои собственные. И, напротив, никто из этих предводителей не осмеливается вступить за Ахиллеса, когда Агамемнон, уже вне себя от ярости, кричит, что именно его Брисеиду он забирает в возмещение собственной потери. Таким образом, перед Ахиллесом повинны все ахейцы, повинны в предательстве, в унижении его чести, и он отлично сознает это сам, что с полной недвусмысленностью явствует хотя бы из следующих его слов:

*Царь пожиратель народа! Зане над презренными царь ты, –  
Или, Атрид, ты нанес бы обиду последнюю в жизни!*

(«Илиада» I, 231–232)

Вот почему Ахиллес мстит всем ахейцам со всей неумолимостью, на какую способна его не знающая меры и компромиссов натура. Он хотел бы, чтобы

*Трои сыны и ахеяне, сколько ни есть их,  
Все истребили друг друга, а мы лишь (мирмидонцы. — III.  
М.),*

*избывшие смерти,  
Мы бы одни разметали троянские гордые башни.*

(«Илиада» XVI, 98–100)

Впрочем, он и без того глубочайшим образом одинок. По-видимому, никто в ахейском стане не испытывает к нему сердечной приязни, и он никого не любит, кроме Брисеиды и



Патрокла, и обоих теряет. Можно ли удивляться, что после второй потери, которая неизмеримо более страшна, чем первая, он утрачивает все чувства и желания, кроме злобы и мести, и как бы деревянеет в отчаянии? Да, он знал, что скоро погибнет, но никогда не думал, что похоронит самого дорогого ему на земле человека и что именно этот человек станет косвенной причиной его гибели: ведь убить Гектора — значит сделать последний шаг к смерти, и вместе с Патроком Ахиллес погребает самого себя. Однако и тут смерть не страшит его, напротив, жизнь потеряла всякую ценность, он созрел для кончины.

*Что же мне в жизни? Я ни отчизны драгой не увижу,  
Я ни Патрокла от смерти не спас, ни другим благородным  
Не был защитой друзьям, от могучего Гектора падшим:  
Праздный сижусь меж судами, земли бесполезное бремя.*

....

*... Лягу*

*Где суждено; но сияющей славы я прежде добуду! —*

*(«Илиада» XVIII, 101–121)*

говорит он матери, пытающейся его утешить. Но «сияющая слава» достанется уже не ему, а его имени в памяти потомков. Итак, его жестокость хотя и не оправдана (в наших глазах), но убедительно мотивирована; всякое иное поведение противоречило бы главному гомеровскому принципу правдоподобия. И мы обязаны понять лютую ненависть обращенной к Гектору реплики (в ответ на предложение заключить договор о выдаче тела побежденного):

*Гектор, враг ненавистный, не мне предлагай договоры!  
Нет и не будет меж львов и людей никакого союза;  
Волки и агнцы не могут дружитья согласием сердца;*

*Вечно враждебны они и зломышленны друг против друга, —  
Так и меж нас невозможна любовь.*

(«Илиада» XXII, 261–265)

И дальше (345–348), уже умирающему врагу, еще кровожаднее:

*Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными!  
Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части,  
Тело сырое твое пожирал бы я, — то ты мне сделал!*

Но в иных случаях, до гибели Патрокла, Ахиллес так не свирепствовал:

*Он не безумен, не нагл, не обыкший к грехам нечестивец;  
Он всегда милосердо молящего милует мужа, —*

(«Илиада» XXIV, 157–158)

говорит о нем Зевс Ириде, отправляя вестницу богов к Приаму с повелением идти к ахейским кораблям за телом Гектора. И поэт не осуждает своего героя, он только скорбит о том, что волею обстоятельств эта благородная, тонкая и поистине самая цельная в «Илиаде» натура доведена до такого «исступления гнева», лишаящего его облика человеческого. Но в конце концов добро берет верх над злом, гуманизм грядущего века побеждает варварство и зверство века отошедшего. Мы уже несколько раз говорили, какое важное значение для гомеровского эпоса и его судьбы имеет сцена свидания Ахиллеса с Приамом. Ахиллес уже мертв, он похоронил себя вместе с Патроклом, и человечность воскрешает его, вновь — пусть ненадолго — будит в нем жизнь. Этот второй совершающийся на наших глазах перелом так же правдоподобен, как первый: Ахиллес по-прежнему безудержен и грозен, он снова ожесточается, слыша возражение Приама, не соглашающегося

сесть, пока не увидит сына, он велит тайно омыть и умастить тело Гектора, опасаясь,

*чтоб гневом не вспыхнул отец огорченный,  
Сына узрев, и чтоб сам он тогда не подвинулся духом  
Старца убить и нарушить священные Зевса заветы.*  
(«Илиада» XXIV, 584–586)

Ахиллес боится самого себя. Гектор — прямая противоположность Ахиллесу. Тот совершенно бесстрашен, бесстрашен от природы, единственное, что внушает ему опасения, — это собственный нрав. Гектор должен побеждать свой страх, и хоть это удастся ему не всегда (он убегает от Ахиллеса и с «содроганием сердца» смотрит на приближающегося Аякса, которого сам вызвал на поединок), но, преодолевающий слабость, он нам милее и дороже, чем непоколебимый, как скала, ахейский герой. Он выходит на поединок с Ахиллесом, заведомо зная, что слабее, но до последнего мига не теряет надежды и веры в удачу:

*Я на Пелида иду, хоть огню его руки подобны,  
Руки подобны огню, а душа и могучесть — железу!..*

*...Ведаю, сколько могуч ты и сколько тебя я слабее.  
Но у богов всемогущих лежит еще то на коленях,  
Гордую душу тебе не я ли, слабейший, исторгну.*  
(«Илиада» XX, 371–372, 434–436)

Ахиллес с самого начала знает, что обречен, но в то же время он уверен, что одолеет Гектора. Трагизм и неистовство странным образом сочетаются с трезвым расчетом, с ударом наверняка. Гектору истина открывается уже перед концом, и если тем не менее колени его не подгибаются и он решает «погибнуть не без дела», это акт такого мужества, такого

самопреодоления, какое Ахиллесу недоступно и непонятно. Ахиллес не просто одинок — он как бы вне общества. Под Троей он ищет только личной славы, личную обиду ставит выше общих интересов, вновь выступает на стороне ахейцев, лишь понеся опять-таки личную потерю. Он безупречный, идеальный герой чести, но героизм его абстрактен, холоден, пуст — по крайней мере для нас. Гектор — всегда среди сограждан, он защищает их, он их оплот и твердыня. «Радостью светлой и граду он был и народу», и горе всей Трои о нем — безгранично. Картины плача по Гектору в XXII и XXIV песнях «Илиады» принадлежат к числу самых совершенных в обеих поэмах. Гектор — тоже герой чести, но честь в его понимании нераздельна с долгом перед семьей (это видно из сцены свидания с Андромахой) и перед отечеством. Он потому, вопреки мольбам отца и матери, не хочет уклониться от боя с Ахиллесом, что чувствует свою ответственность за гибель войска: ведь это он отверг совет «благомысленного» Полидамаса «в град с ополчением войти».

*О, стыжуся троян и троянок длинноодежных!  
Гражданин самый последний может сказать в Илионе:  
Гектор народ погубил, на свою понадеявшись силу, —  
Так илионяне скажут. Стократ благороднее будет  
Противостать и, Пелеева сына убив, возвратиться  
Или в сражении с ним перед Троею славно погибнуть!*  
(«Илиада» XXII, 105–110)

Ахиллес суров, мрачен и упорен, Гектор — добродушен и отходчив. Только что он гневно упрекал брата в лени и трусости, но вот Парис снова в строю, и Гектор говорит ему:

*Друг! Ни один человек, душой справедливый, не может  
Ратных деяний твоих опорочивать: воин ты храбрый,  
Часто лишь медлен, к трудам неохотен; а я непрестанно*



человечнее, и эта исполненная обаяния человечность закрывает от нас главного героя поэмы. Но автор, видимо, судил иначе.

Авторская симпатия становится очевидной, если сопоставлять Ахиллеса не с врагом, а со «своими». Все без исключения ахейские вожди ниже, мельче его — и твердолобый Диомед, и нерешительный, на все глядящий глазами брата Менелай, и даже Аякс — храбрый, могучий («всех аргивян превышающий после Пелида героя»), добрый, но слишком примитивный и ограниченный. Неприязнь Гомера к Агамемнону нескрывается (хотя, бесспорно, отнюдь не так велика, как у нынешнего читателя), и каждая отталкивающая черта в нем — а они раскрываются не сразу, исподволь, ибо Агамемнон выписан очень подробно, — снова и снова приводит на память Ахиллеса, которому чужды хитрость, двуличие, корыстолюбие, неведомо малодушие. Более того, сходные, на первый взгляд, пороки в основе своей глубоко различны у обоих. Жестокость Ахиллеса идет от безудержности, от аффекта, Агамемнон отталкивающе кровожаден.

*Чтоб никто не избег от гибели черной  
Или от нашей руки! Ни младенец, которого мать  
Носит в утробе своей, чтоб и он не избег! Да погибнут  
В Трое живущие все и лишённые гроба исчезнут! —*  
(«Илиада» VI, 57–60)

кричит он брату, готовому помиловать пленного... Сам Одиссей, любимец Афины, проигрывает рядом с Ахиллесом: его изворотливость и хитроумие ступенькаются на фоне подлинного величия духа.

Благородство и художественный такт подсказали Гомеру, что преимущественное право на сочувствие после главного героя принадлежит честному врагу и побежденному. Поэтому, быть может, из двух «стариков» «Илиады» душевнее и привлекательнее троянец Приам, чем ахеец Нестор. Глава государства

и рода, морально ответственный за истребительную войну (ведь он не заставил Париса царскою и отцовскою властью вернуть Менелаю похищенную жену и богатства), он с жуткою убедительностью говорит об ужасах войны — тех, что уже совершились, и тех, что еще впереди:

*О! Пожалей и о мне ты, пока я дышу еще, бедном,  
Старце злосчастном, которого Зевс пред дверями могилы  
Казнь ужасной казнит, принуждая все бедствия видеть:  
Видеть сынов убиваемых, дочерей, в неволю влекомых,  
Домы Пергама громимые, самых младенцев невинных  
Видеть, об дол разбиваемых в сей разрушительной брани,  
И невесток, влачимых руками свирепых данаев!..  
Сам я последний паду, и меня на пороге домашнем  
Алчные псы растерзают, когда смертоносною медью  
Кто-либо в сердце уметит и душу из персей исторгнет;  
Псы, что вскормил при моих я трапезах, привратные  
стражи,  
Кровью упьются моей и, унылые сердцем, на праге  
Лягут при теле моем искаженном!*

(«Илиада» XXII, 59–71)

Его бессилие, его покорность судьбе, горе и прилив мужества, вызванный отчаянием и любовью к убитому сыну, пробуждают глубокую симпатию, между тем как Нестор, «громогласный вития пилосский», со своими сладкими речами и неизменным самодовольством временами кажется излишне болтливый. Разумеется, и тут необходима поправка на неадекватность суждения нашего и авторского.

Образы «Одиссеи» более независимы один от другого. Здесь нет таких психологически взаимодополняющих и взаимобъясняющих пар, как Ахиллес — Гектор или Ахиллес — Диомед. Связи между персонажами по преимуществу внешние, сюжетные, каждая линия проведена сама по себе и соседнюю не

подкрепляется. Только юный Телемах, прилежно следующий по стопам отца, как-то с ним соотнесен. Житейская мудрость, дипломатический талант и редкая изворотливость Одиссея, обнаруживающие себя еще в «Илиаде», здесь раскрываются с такой широтой, что даже Афина не в силах сдержать одобрительного изумления:

*Должен быть скрытен и хитр несказанно, кто спорить  
с тобою  
В вымыслах разных захочет; то было бы трудно и богу.  
Ты, кознодей, на коварные выдумки дерзкий, не можешь,  
Даже и в землю свою возвратясь, оторваться от темной  
Лжи и от слов двоясмысленных, смолоду к ним  
приучившись.*  
(«Одиссея» XIII, 291–295)

Но Одиссей не только хитрец, не только величайший «практик», всех превосходящий «в знании выгод своих и в расчетливом, тонком рассудке». Он отличный боец, опытный моряк, прекрасный косарь и пахарь. Он «миролюбив нравом», справедлив и честен: заранее, еще в облике нищего, предупреждает он доброго и порядочного Амфинома о смертельной опасности, которая нависла над женихами, и советует ему покинуть Итаку; гибель Амфинома — дело рук не столько Одиссея, сколько ожесточенной Паллады. Кротость и умеренность были свойственны Одиссею всегда; в давние годы, до начала Троянской войны, царствуя на Итаке, «никому не нанес он ни словом, ни делом обиды в целом народе». Избиение женихов — не кровавая вакханалия, которой тешит себя жестокая натура, но справедливое возмездие, угодная богам победа добра над злом. Психологическое и моральное оправдание этой мести, заложенное в самом характере Одиссея, поддержано исторической параллелью: в поэме часто и всякий раз с одобрением упоминается Орест — «бодрый сын погибшего мужа» (Агамемнона),



способный воздать преступнику за все его злодеяния. В скитаниях и бедах сердце Одиссея не очерствело: расправившись с женихами, он плачет в кругу преданных рабынь:

*Он же дал волю слезам; он рыдал от веселья и скорби,  
Всех при свидании милых домашних своих узнавая.*

(«Одиссея» XXII, 500–501)

(Вообще слезливость, по понятиям древних, была признаком благородства природы.) Цепь «узнаний», «открытий» и встреч, — быть может, лучшее украшение «Одиссеи», одна из вершин гомеровского психологизма и экспрессии. И едва ли не самая прекрасная среди этих сцен та, где Одиссея-нищего узнает на пороге его дома старый, уже околевающий пес:

*Уши и голову, слушая их, подняла тут собака  
Аргус; она Одиссеева прежде была, и ее он  
Выкормил сам; но на лов с ней ходить не успел,  
принужденный*

*Плыть в Илион. Молодые охотники часто на диких  
Коз, на оленей, на зайцев с собою ее уводили.  
Ныне ж забытый (его господин был далеко), он, бедный  
Аргус, лежал у ворот на навозе...*

*Там полумертвый лежал неподвижно покинутый  
Аргус.*

*Но Одиссееву близость почувствовал он, шевельнулся,  
Тронул хвостом и поджал в изъявление радости уши;  
Близко ж подползть к господину и даже подняться он  
не был*

*В силах. И, вкось на него поглядевши, слезу, от Евмея  
Скрытно, обтер Одиссей.*

(«Одиссея» XVII, 291–305)

Менее эмоционально, но зато с удивительной даже для Гомера точностью написан эпизод с Евриклеей — старуха нянька, моя ноги страннику, узнает в нем по шраму на колене свое «золотое дитя». Хороша встреча Одиссея с отцом. Опустившийся, неопрятный, одичавший, Лаэрт живет все время в пригородном саду, тоскуя о пропавшем сыне. Увидев его, Одиссей молча плачет, притаившись под грушей, но все же не решается «вдруг открыться» и сплетает подходящую к случаю историю, будто он пять лет назад радушно принимал у себя в доме Одиссея, державшего путь на Итаку.

*Так говорил Одиссей; и печаль отуманила образ  
Старца; и, прахом наполнивши горсти, свою он седую  
Голову всю им, вздохнув со стенаньем глубоким, осыпал.  
Сердце у сына в груди повернулось, и, спершись, дыханье*

*Кинулось в ноздри его, — он сражен был родителя скорбью.  
Бросясь к нему, он, его обхватя и целуя, воскликнул:*

*«Здесь я, отец!..»*

*(«Одиссея» XXIV, 315–321)*

Впрочем, волю чувствам Одиссей дает лишь однажды. В остальном он сама выдержка. Его называют «стойким в бедах», но не менее стоек он в радости и удачах. Лишь благодаря этой стойкости он доводит до конца свои хитрые планы на Итаке, так долго не посвящая в них даже Пенелопу. А что выдержка стоила ему немалых усилий, видно хотя бы из следующих строк, повествующих, как Пенелопа слушает вымышленный рассказ бродяги, в обличии которого скрывается Одиссей:

*...По щекам Пенелопы прекрасным струею лилися  
Слезы печали о милом, пред нею сидевшем супруге.  
Он же, глубоко проникнутый горьким ее сокрушеньем  
(Очи свои, как железо иль рог неподвижные, крепко*

*В темных ресницах сковав и в нее их вперив, не мигая),  
Воли слезам не давал.*

(«Одиссея» XIX, 208–213)

Этот сильный, умный и целеустремленный человек двадцать лет оторван от родины, а он любит ее так горячо, что не согласен променять ни на какие радости жизни, более того — на само бессмертие, которое сулит ему Калипсо. Бедствия и тяготы, преодоленные им на пути к Итаке, неисчислимы, и нет ничего удивительного, что этот любимец Афины и Зевса (Нестор утверждает даже, что «никогда не бывали столь боги в любви откровенны, сколь... с Одиссеем Паллада Афина») упорно зовет себя злосчастнейшим из смертных. Как видно, благосклонность богов — бремя, немногим менее гнетущее, чем их гнев. И все же, пожалуй, за его страданиями и успехами мы следим спокойнее, чем за трагическими перипетиями судьбы Гектора или Ахиллеса.

Имя Пенелопы со времен античности стало нарицательным для верной жены, почти синонимом верности. Поглядим, на чем покоится верность Одиссеевой супруги, как мотивирована она поэтом. Юной девушкой Пенелопа вышла замуж за человека гораздо старше себя. Ведь еще под Троей молодой Антимах говорит об Одиссее, как о муже «из прежнего рода», то есть из предыдущего поколения. (Правда, по словам того же Антимаха, «зелена Одиссеева старость», и мы сами видим, что спустя десять лет он, хоть и «хладный и желаньем непокорный желанью» Калипсо, «наслаждается с нею любовью, всю ночь проведя неразлучно», а у феакийцев бросает громадный камень гораздо дальше, чем феакийские юноши — диски.) Несмотря на неопытность и разницу в годах, Пенелопа вышла за «избранника сердца»; она провела с мужем очень недолгое время, — Телемах был «еще в пеленах», когда отец отправился к Илиону, — но чувство к нему оказалось единственным и незабываемым:

*Мне ж не по сердцу никто: ни просящий защиты, ни  
странник,  
Ниже глашатай, служитель народа; один есть желанный  
Мной — Одиссей, лишь его неотступное требует сердце.  
(«Одиссея» XIX, 134–136)*

*...Если б меня с Одиссеем в душе Артемиды  
Светлокудрявая в темную вдруг затворила могилу  
Прежде, чем быть мне подругою мужа, противного сердцу!  
(«Одиссея» XX, 80–82)*

Если тем не менее она не отвергает домогательств женихов и готовится к новому браку, то лишь потому, что Одиссей на прощанье наказал ей, коль скоро он не вернется, выйти замуж снова, когда подрастет сын. О любви тут речи нет и не может быть — Пенелопа намерена отдать руку тому, кто усерднее в сватовстве и щедрее в дарах, и женихи совершенно согласны с таким трезвым подходом к делу. Их отношение к невесте лучше всего выражено в словах Евримаха, который, не выдержав предложенного Пенелопею испытания, восклицает:

*Горе мне! Я за себя и за вас, сокрушенный, стыжуся:  
Нет мне печали о том, что от брака я должен отречься, —  
Много найдется прекрасных ахейских невест и в Итаке,  
Морем объятый, и в разных других областях кефаленских.  
Но столь ничтожными крепостью быть с Одиссеем  
в сравненье —  
Так, что из нас ни один и немного погнуть был не в силах  
Лука его, —  
то стыдом нас покроет и в позднем потомстве.  
(«Одиссея» XXI, 249–255)*

Любовь Пенелопы — не страсть, не слепое, чувственное влечение: героиня поэмы недаром постоянно зовется разумной.

Вернувшегося мужа, которого после двадцатилетней разлуки узнать в лицо невозможно, она подвергает придирчивому испытанию, боясь попасться в сети какого-нибудь коварного иноземца, как некогда Елена. Но даже убедившись, что пришелец — действительно Одиссей, она не торопится возлечь с ним на ложе, а прежде хочет услышать о «новых ему предстоящих напастях», «немедля сведать о том, что грозит впереди». Верность ее — не столько подвиг долга, сколько естественная и единственно возможная для нее линия поведения. Пенелопа стала символом верности, но, пожалуй, не менее справедливо было бы видеть в ней символ однолюбия.

Выше мы сказали, что бедствия и неудачи Одиссея волнуют нас меньше, чем судьба Ахиллеса и Гектора. Нам кажется, что это суждение можно распространить и на поэмы в целом. Сама тема и материал «Илиады» делают ее драматичнее, эмоциональнее, напряженнее. Кроме того, «Илиада» более компактна, события плотнее пригнаны друг к другу, автор ведет повествование уверенно и строго. «Одиссея» более разбросана, она обильнее событиями и острыми сюжетными поворотами. «Илиада» — это само действие, «Одиссея» в значительной части — рассказ о действии, как бы действие опосредствованное, что притупляет остроту читательского сопереживания. «Одиссея» — занимательнее, живописнее, пластичнее, «Илиада» — одухотвореннее.

## VIII

Ученые спорят, где читал или пел свои стихи Гомер, — на рыночной площади среди богатых купцов, у очага бедняка-поденщика или за толстыми стенами «дворца» кого-нибудь из властителей, выражал ли он в свою эпоху интересы широких слоев народа или аристократической верхушки. Но ни у кого не вызывает сомнения, что в течение десяти веков, до самых последних дней античного мира, Гомер был знаменем эллинской культуры и достоянием всех, кто говорил и писал по-гречески. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что едва ли не каждый стих «Илиады» и «Одиссеи» стал пословицей. Ни один писатель не выдерживал состязания в славе и популярности с Гомером. Величайшим из греческих поэтов входит он и в новое время, занимая царское место среди сокровищ мировой литературы. Сокровищница эта похожа на первоклассный музей, где все собранное любопытно и ценно, но уже далеко не все живо. Гомер, однако ж, смерти не подвластен, напротив, силы жизни приливают к нему с веками: национальный греческий поэт стал поэтом двуязычного мира античности, потом поэтом Европы и, наконец, — всех материков и рас.

Беспреданно меняется лик мира, обветшавшие представления и идеалы сменяются новыми, растут могущество и дерзкая отвага людей. Но неизменно высоко стоят на «незыблемой скале ценностей» добро, красота, разум, человечность, прямодушие, справедливость, верность — то, что явлено и воспето в поэмах Гомера, но к чему и по сей день стремятся умы и сердца, стараясь претворить в дела мечты и предначертания поэтов и мыслителей, которые во все столетия открывали человечеству его лучшие упования.

## КРАТНИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гомер*: Илиада. Перевод Н. И. Гнедича. «Academia», М. — Л : 1935.  
*Гомер*: Одиссея. Перевод В. Л. Жуковского. «Academia», М. — Л. 1935.  
*Гомер*: Илиада. Перевод Н. М. Минского. Гослитиздат, М. 1935.  
*Гомер*: Илиада. Перевод В. Вересаева. Гослитиздат, М. — Л . 1949.  
*Гомер*: Одиссея. Перевод В. Вересаева. Гослитиздат, М. 1953.  
*К. Маркс*: Введение (Из экономических рукописей 1857–1858); в кн.:  
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, издание второе, т. 12,  
Госполитиздат, М. 1958. С. 736–738. 125  
*Гегель*: Лекции по эстетике; в кн.: *Гегель*: Сочинения, т. XIV, М. 1958,  
С. 227–289.  
*В. Г. Белинский*: Разделение поэзии на роды и виды; в кн.: *В.Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, изд. АН СССР, М. 1954, С. 32–45.  
*Н. Л. Сахарный*: «Илиада». Разыскания в области смысла и стиля гомеровской поэмы, Архангельск, 1957.  
*А. Ф. Лосев*: Гомер. Учпедгиз, М. 1960.

### Данные первого издания

Симон Перецович Маркиш ГОМЕР И ЕГО ПОЭМЫ

Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1962

Редактор С. Гиждеу

Художественный редактор Г. Андропова

Технический редактор Т. Гончарова

Корректор А. Шлейфер

Сдано в набор 26/1 1962 г.

Подписано в печать 8/V 1962 г. А 02087.

Бумага 70 X 90732.

4 печ. л. = 4,68 усл. печ. л. 4,27 уч.-изд. л.

Тираж 16 500. Зак. 1212.

Цена 17 коп.

Гослитиздат Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

# СУМЕРКИ В ПОЛДЕНЬ

Очерк греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны

## Оглавление

*Необходимое объяснение*

Вступление

Народ: его характер, его страна

Пелопоннесская война

Глазами Перикла

Две смерти, или день минувший — день наступающий

Впервые: Lim, Tel-Aviv, 1988.

Переиздание: Университетская книга, Санкт-Петербург, 1999.



*Брату и матери — самым необходимым*

### **Необходимое объяснение**

**Я** не знаю, как озаглавить эти несколько страниц, предпосылаемых книге. «Предисловие»? «От автора»? Все не то, потому что не содержание книги собираюсь я толковать предваряющим образом, и не позицию автора, и даже не отношение его к собственному тексту. И в еще меньшей мере — рассуждать на излюбленную и несчетно повторявшуюся тему: «есть своя судьба и у книг». Просто-напросто я испытываю необходимость высказаться, объясниться с будущим читателем, кто бы и где бы он ни был. Вот, пожалуй, и самое подходящее заглавие: «Необходимое объяснение».

Рукопись, которая легла в основу книжки, родилась семнадцать лет назад. Академик Николай Иосифович Конрад (память о нем да будет благословенна), японовед и синолог, историк литературы и культуры, задумал серию научно-популярных монографий под общей шапкой «Культуры времен, народов, стран». Шапка означала, что мировая культура и ее движение (прогресс? регресс? стагнация? — кто знает...) должны быть показаны через ограниченные во времени и пространстве проявления, своего рода моментальные снимки. Разумеется, момент в истории может длиться и тридцать, и сорок лет, и больше, но принцип был таков: по возможности краткий период, по возможности ограниченное число действующих лиц, но и события, и их участники должны быть доподлинно значительны, судьбоносны — если не стесняться торжественных и пышных слов.

Дело было в самом конце 60-х годов. Конрад, который в прошлом бывал и в опале, и даже в узилище, пользовался тогда

высоким авторитетом, его идеи и рекомендации принимались без возражений. Он сам выбрал будущих авторов и летом 1969 года собрал нас на совещание в издательстве, которому предстояло принять под свою «крышу» задуманную Конрадом серию. Это было московское издательство «Искусство»: оно считалось (да и было, пожалуй) либеральнее и даже вольнодумнее остальных. «Вольнодумство», может быть, и слишком дерзкое для тогдашних обстоятельств понятие, но редакторы «Искусства» обнаруживали настоящую отвагу и великую изобретательность в непрерывной борьбе с тупым и темным начальством. Хочу непременно назвать издательского куратора серии, искусствоведа Юрия Максимилиановича Овсянникова. Надеюсь, что это упоминание не принесет ему вреда.

Я уже не помню всех участников нашего совещания, как, разумеется, не помню и всего плана серии, всех названий, в тот день предлагавшихся и утвержденных. Вот то, что не забылось.

Византолог Александр Петрович Каждан взялся написать о двух днях из жизни Константинополя — о днях штурма и захвата византийской столицы крестоносцами. Философ Александр Моисеевич Пятигорский предложил представить буддистскую культуру через жизнеописание основателя вероучения. Лев Николаевич Гумилев (до сих пор не знаю, какова в точности его специальность) выбрал темой христианские царства в Монголии. Самым молодым среди нас был филолог-классик Сергей Сергеевич Аверинцев, нынешняя звезда российского культурного возрождения. Каковы были его намерения, к сожалению, не припоминаю... Не хочу изображать нас ни как подрывателей основ, ни, того менее, как врагов советской власти. Однако именно большинства из нас были так или иначе замараны в глазах властей: кто — сын расстрелянного, кто сам сидел, кто — бывшая жертва антикосмополитской кампании, кто — «подписант», а кто — и носитель многих или даже всех этих неприятных качеств. И сюжеты наши, вроде бы невинные, сдвинутые в далекое прошлое, были — по тогдашним идеологическим

стандартам — взрывоопасны. Только один пример. «Изюминка» каждановского замысла была в том, что для изучения причин падения Константинополя сохранилось два источника: один создан победителями, другой — побежденными. И Каждан хотел представить обе версии параллельно: одно и то же с двух диаметрально противоположных точек зрения, не отдавая предпочтения и не отвергая, не «разоблачая» ни той, ни другой. Но ведь это же крамола, покушение на догму объективности истины, всегда одной-единственной и всегда принадлежащей марксистской науке!

Я начал работать над своей книгой осенью 1969 года, а спустя год, в сентябре 1970 года, «предал» Родину — эмигрировал. Правда — не в Израиль, а в Венгрию, в братскую страну, находящуюся под попечением братской партии. Тем не менее рукопись, которую я отправил из Будапешта в Москву весной 1971 года, легла мертвым грузом в архив издательства «Искусство». Изменили Родине и некоторые иные члены конрадовской «бригады». Из названных мною выше — Каждан теперь в Вашингтоне (в византологическом центре Думбартон-Окс), Пятигорский — в Лондоне (в Школе азиатских и африканских исследований при Лондонском университете). А Конрад умер. Насколько мне известно, ни одна книга из задуманной им серии не увидела света.

Стоит ли 17 лет спустя возвращаться к тексту, который давно ушел из моей жизни, не есть ли это, в какой-то мере, гальванизация трупа? Я навсегда расстался с классической филологией, изрядно позабыл свой греческий, занимаюсь совсем другим делом — русско-еврейской литературой. Зачем мне это?

Случилось так, что мой старый друг Ефим Григорьевич Эткинд, профессор из Ленинграда, а потом — из Парижа, года полтора назад прочитал эту книжку и сказал, что она, как ему видится, не обветшала, не заплесневела, что, говоря попросту, читать ее интересно и поучительно. Но профессор Эткинд — тот идеальный читатель, для которого я работал в прошлой моей

жизни, к которому обращался, на которого ориентировался. Быть может, сказал я себе, хоть тысяча, хоть полтысячи читателей этой категории найдется среди трехсот тысяч покинувших Советский Союз примерно в одно время со мною и после. А может быть — как знать? — моя книжка проберется и назад, туда, где родилась и где, смею надеяться, была бы понята и принята. Потому что эта книжка — не для перевода ни на английский или французский, ни даже на иврит. Она — для российского интеллигента и ни для кого больше. И темы, мотивы, с их открытой или подспудной апелляцией к современности, и самые цитаты из древних авторов, которыми она так обильно уснащена, звучат по-настоящему только по-русски, и только в России.

И здесь мой второй резон для превращения машинописных страниц в печатные. Я думаю, что мое описание греческой цивилизации в эпоху Пелопоннесской войны, отражает состояние не только афинского или спартанского общества V века до христианской эры, но и советского общества на рубеже 60-х и 70-х годов нашего столетия. Отношение к античности всегда было в России показателем общественных настроений — по одному этому показателю можно написать историю российской интеллигенции. И я считаю, что моя книжка составляет пусть самую скромную, но все же какую-то главу в этой истории. В этом качестве она должна привлечь внимание западных русистов и — надеюсь — окажется для них небесполезна.

И последнее — о заглавии. Когда я его придумал, я и не подозревал о существовании знаменитого романа Кестлера «Мрак в полдень» (*Darkness at Noon*). Так что никакой умышленной связи между этими двумя заглавиями нет.

Шимон Маркиш

15 сентября 1987 г., Хоф Дор, Израиль

Существуют слова, окруженные ореолом смутной многозначности, но растратившие за частым и неразборчивым употреблением точный и конкретный смысл. К их числу принадлежит слово «Эллада» и многие производные от него или привычно с ним сочетающиеся: «эллинский дух», «божественная безмятежность древних эллинов», «пластический гений Эллады»... За этим словом — а точнее, штампом, стереотипом мысли — стоят века восторженного преклонения, прилежного ученичества, стойкой педагогической традиции, полагавшей античную древность в фундамент образования и воспитания. Впрочем, как нередко бывает со стереотипами, оно вызывало (и вызывает) эмоциональную реакцию не только положительную, но и резко отрицательную. Еще в прошлом веке начались насмешки над ходульным «пластическим греком» и «эллинскими доблестями», осточертевшими любому гимназисту. Не прекращаются они и по сей день. «Нагие атлеты, состязавшиеся под безоблачным небом Эллады»? А безжалостное солнце, которое яростно палило этих прыгунов и дискоболов? А клубы пыли, которые ветер метал в лицо обливающимся потом бегунам? А панкратиасты — сочетание борца и боксера, — клубком катавшиеся в грязи и собственной крови?.. «Триумф народоправства, высочайшая вершина демократии»? А рабство? А неумное сутяжничество и тучи алчных доносчиков-сикофантов в Афинах, а беспросветная жестокость и бесчеловечность «казарменного коммунизма» в Спарте? «Безмятежная ясность духа»? А священное безумие оргиастических культов и сохранявшиеся в строжайшей тайне обряды мистерий, а одержимость, которую и Платон, и Демокрит одинаково считали непременной предпосылкой поэтического творчества? «Врожденное чувство

прекрасного, благородная величавость в осанке, в каждом движении»? А нестерпимая вонь на узких, загаженных помоями и человеческим калом улочках, рои мух и полчища червей, голые тельца новорожденных на перекрестках, подкинутые родителями и обреченные, в лучшем случае, стать законной добычей работорговцев, а в худшем — голодных псов?

Но критика стереотипов, переоценка привычных ценностей — это лишь протест против слащавого умиления, безоговорочной канонизации ВСЕГО «эллинского», это лишь необходимая поправка, призыв к здравомыслию. Зачеркнуть или поставить под сомнение неповторимую роль греческой культуры в истории человечества (или, по крайней мере, западного полушария) такая критика не способна, да и не стремится. Культуру Древней Греции — в самых разнообразных формах и проявлениях, сознательно и неосознанно — наследует неисчислимое множество людей, ее влияние в сегодняшнем мире необозримо, не поддается учету. Всегда, начиная еще со времен Римской республики, не исключая и средних веков, с особенной интенсивностью — в эпохи Возрождения и Просвещения, с особенной политической остротой — в пору Французской революции, всегда греческая древность была вызовом «современностям», контрастом, волнующим ум и чувства, манящим, удивляющим, соблазняющим, прекрасным. Критика же чрезмерно радикальная, уничтожающая обнаруживает свою слабость не только перед этим неоспоримым фактом современности, но и перед фактами самой древности.

Для примера можно сослаться на критиков афинской демократии. Иные среди них не признают за нею никаких достоинств, считают Афинскую державу (архэ) типичным «империалистическим хищником», ее вожаков — своекорыстными честолюбцами, и только, афинский народ (демос, совокупность полноправных свободных граждан) — капризной и темной толпой, которой лишь кажется, что она вершит все дела, на самом же деле ею вертят по своему произволу все те же вожаки.

Эти обвинения — не лишённые оснований — восходят ещё к тем противникам государственного и общественного строя древних Афин, которые нападали на него изнутри, противопоставляя демократическим Афинам спартанскую олигархию (власть немногих), и самым знаменитым среди них был и остаётся Платон. В диалоге «Государство» Платон написал внутренний портрет демократа: в его душе соседствуют все страсти, и добрые, и дурные, он жадно гонится за любыми наслаждениями, не отличая достойные от недостойных, не ставя их перед судом разума и истины.

Так он и живет, со дня на день... сегодня напиваясь под звуки флейты, завтра не беря в рот ничего, кроме воды, и тощая, то отдаваясь целиком телесным упражнениям, то бездельничая и ни о чем не тревожась... Иногда он увлечен государственными делами, иногда позавидует военным и вмешивается в их дела, иногда — купцам... Нет в его жизни ни порядка, ни строгих правил, а между тем сам он считает такую жизнь единственно приятною, свободною и счастливою.

И каков он, таково же в точности его демократическое государство.

Если даже допустить, что эта психологическая характеристика верна безусловно и вполне, остается неопровержимым одно, самое главное: демократические Афины, такие ветреные и морально выродившиеся, оставили после себя великие духовные сокровища, от олигархической же Спарты, столь возвышенной, доблестной, нравственно непоколебимой, не осталось ничего — ни литературы, ни истории, ни изобразительного искусства, ни архитектуры, ни самого города наконец — его остатки были обнаружены археологами с громадным трудом. Ничего, кроме смутных воспоминаний о чем-то грозном, бездушном и жестоком, да еще идеализированных картин или же утопических проекций на экран будущего, рождающих

сегодня, около двух с половиной тысячелетий спустя, чувства, весьма далекие от восхищения.

И если даже принять без всяких оговорок обвинение, что афинская демократия убила учителя Платона, мудреца и праведника Сократа, остается неопровержимым, что в течение сорока лет Сократ беспрепятственно пропагандировал в Афинах свое учение, между тем как в Спарте он был бы осужден на смерть за первую же попытку подобной пропаганды, подрывающей основы существующего порядка вещей и мыслей. Лучше всего об этом свидетельствует сам Платон: в позднем своем сочинении «Законы» он изобразил образцовое общество, построенное по примеру спартанской олигархии, и в этом обществе категорически нет места зловредным агитаторам сократовского типа. В своем идеальном государстве постаревший ученик без колебаний казнил бы своего учителя, предъявив ему те же обвинения, какие афинская демократия предъявила реальному Сократу на реальном судебном процессе 399 года до н. э.: он растлитель молодежи и враг богов.

Итак, желая понять культуру Греции, нужно запастись здоровым недоверием как к старомодному преклонению перед Элладой, так и к новомодным ее ниспровергателям.

Предмет этой книги — не греческая культура в целом, но лишь один, сравнительно недолгий, период ее существования: годы Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.).

Война между Афинами и Спартой, в которую оказалась втянутой вся Греция (и немало племен и государств за пределами собственно Греции), была самым значительным событием в политической и духовной истории древних греков. Дело тут не столько даже в ее масштабах, продолжительности и ожесточенности, сколько в смертоносной силе удара, который она нанесла по обоим враждующим станам: хотя со времени окончания этой войны прошло более 60 лет, прежде чем греческие города-государства Балканского полуострова потеряли свою независимость, покорившись македонским царям,



404 год, год падения Афин, заключает ту эпоху в жизни античной Греции, которую принято называть «великой», «классической». Последующие шестьдесят с лишком лет можно было бы назвать агонией Эллады; надо только помнить, что в этом нет попытки ни представить последующую эпоху в виде трупа предыдущей, ни вообще каким бы то ни было образом разместить эпохи на шкале ценностей. Речь идет лишь о том, что блестящий и стремительный взлет Греции, начавшийся после победы над персами, которая развеяла угрозу чужеземного завоевания, длился меньше полустолетия и был оборван резко и бесповоротно. В разгар ясного, солнечного полдня вдруг настали холодные, серые сумерки. Голодом и повальными болезнями сменился самодовольный достаток, гноем и сукровицей запятнались мраморы гордых, только что воздвигнутых храмов и статуй, заколебались незыблемые устои жизни, привычные понятия и принципы. Нельзя не согласиться, что ситуация не просто драматична, но полна высокого трагизма, более того — уникальна быстротечностью, почти мимолетностью величия и внезапностью падения, остротой контрастов, опьянением мнимого всемогущества и мучительным похмельем разочарования.

Ее уникальность сознавали и современники, прежде всего — летописец Пелопоннесской войны, великий писатель и первый европейский историограф Фукидид (ок. 460 — ок. 400 гг. до н. э.). Он твердо знал, что предмет его труда — не просто крупнейшее военное столкновение в истории греческого народа, но кризис этой истории в целом: политический, общественный, нравственный, психологический. Никакая иная эпоха в греческой древности не отмечена памятником, равным «Истории» Фукидида глубиной самопознания и самопроникновения.

Вместе с тем ни одна эпоха так не богата литературными памятниками высшего достоинства, сохранившимися до наших дней. Три столпа греческого театра из четырех — трагики Софокл (496–406 гг. до н. э.) и Еврипид (ок. 485–406 гг. до н. э.)

и комедиограф Аристофан (ок. 445 — ок. 386 гг. до н. э.) — очевидцы войны и, в той или иной мере, прямо или косвенно, ее изобразители. Историк и писатель Ксенофонт (ок. 430– 354 гг. до н. э.) — автор многих талантливых книг, завершивший неоконченный труд Фукидида и продолживший его; юность Ксенофонта приходится на заключительный период Пелопоннесской войны. Годы войны были временем самой энергичной деятельности Сократа. Хотя сам Сократ ничего не писал, он присутствует почти во всех писаниях Платона. Состояние Афин в первую послевоенную пору достоверно, сугубо изнутри раскрывается в судебных речах оратора Лисия (ок. 445 — ок. 380 гг. до н. э.).

Короче говоря, и по обилию, и по качеству источников эта эпоха тоже оказывается уникальной.

И еще одно обстоятельство, которое привлекает именно к этим трем десятилетиям: они словно обрамлены двумя смертями — кончиною Перикла (429 год) и казнью Сократа (399 год). Обе смерти в высокой степени символичны: Перикл, живой образ максимального процветания, силы и могущества классической Греции, умирает на самом пороге години бедствий; Сократ, воплощенное отрицание Периклова идеала, Перикловой мощи и благополучия, гибнет жертвою сограждан, ожесточенных этими бедствиями, причиной которых (пусть невольною, пусть неизбежною!) была политика Перикла. Сопоставление Сократа и Перикла — смутного и тревожащего, но неотвратимого будущего и блистательного, но безнадежно обреченного прошлого — не просто эффектно внешне; оно поможет заглянуть в самую сердцевину давно отжитого и отболевшего и догадаться — или хотя бы приблизиться к догадке, — почему же оно все-таки живо и по сей день.

## НАРОД: ЕГО ХАРАКТЕР, ЕГО СТРАНА

**К** середине V века до н. э. народ, который ныне принято называть «греками» (такое имя дали им древние римляне) и который сам именовал себя «элинами», обитал по всему Средиземноморью. Греческие поселения существовали и на краю скифских степей — в Крыму, в устьях Днепра и Буга, и на краю африканской пустыни, на берегах Сицилии, Италии, нынешней Франции, Малой Азии. Но все, даже самые старинные, самые отдаленные, самые богатые и многолюдные колонии, помнили свою метрополию («город-мать») где-то на Балканском полуострове или одном из близлежащих островков и, как правило, строили свою жизнь по ее примеру и подобию, стараясь держаться к образцу как можно ближе. Это позволяет — разумеется, чисто условно — вновь сузить область греческого расселения до первоначального ядра, собственно Греции.

Но и собственно Греция, как ни скромны по нынешним понятиям ее размеры, не может вся целиком и в равной мере стать темой этой книги. Условия и формы существования в разных ее уголках, во-первых, очень разнообразны, во-вторых, недостаточно хорошо известны. Обильнее и надежнее всего сведения об одном из антагонистов в великой войне — об Афинах. Вообще, уже давно было замечено и сказано, что любой разговор о Греции сводится, по преимуществу, к разговору об Афинах. Общей судьбы не избегнет и эта книга.

Не сожалеть о такой односторонности невозможно, но до известной степени она компенсируется двумя важными обстоятельствами: бесспорным главенством Афин в духовной жизни греческого мира и столь же бесспорным фактом греческого

единства, противостоящего раздробленности и разобщенности городов, областей, племен.

Греки издавна делились на три больших племени, различавшихся диалектом и обычаями, — ионийское, дорийское и эолийское. Ионийцы населяли Аттику, большую часть островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии, дорийцы жили главным образом на полуострове Пелопоннесе и на Крите, эолийцы (вместе с ахейцами) — в средней и северной Греции, на севере Пелопоннеса, на Лесбосе и ближайшей к этому острову части малоазийского побережья. Племенная общность ощущалась очень живо, хотя резкость различия была в основном уже стерта временем. В Пелопоннесскую войну нередко звучали речи, что это борьба дорян и ионян, и если дорийский по происхождению город выступал в поддержку Афин или, напротив, ионийский — на стороне Спарты, он навлекал на себя обвинение в измене и особую ненависть врагов.

Гораздо важнее, однако, была взаимная отчужденность городов-государств, полисов, как они зовутся по-гречески. Хозяйственная, политическая и общественная жизнь греческого города-государства будет рассмотрена ниже, а пока надо обратиться к аспекту психологическому, точнее, социально-психологическому.

Уже само название — «город-государство» — показывает, что это была сравнительно малочисленная общность людей, владевшая незначительной территорией. Действительно, самый многолюдный город Греции, Афины, в лучшую свою пору, до начала войны, насчитывал не больше 40.000 полноправных свободных граждан, да и это число древние теоретики государства считали непомерно большим, опрокидывающим самое понятие полиса. Большинство государств сохраняло унаследованные от прошлого размеры и масштабы: клочок пригодной для обработки или пастбы земли с хуторами и центральным поселением, где почти каждый из хуторян тоже имел дом и где, во всяком случае, все они сходились регулярно, сообща решая

дела, касавшиеся каждого. Все знали друг друга, все, независимо от богатства и знатности, умели высказать прямо и откровенно то, что думали. Это было общество, в котором царили своеобразное равенство и чувство собственного достоинства, основанные на органической заинтересованности в общем деле, на сознании крайней важности и даже необходимости личного участия каждого гражданина в управлении государством и его защите. В самом начале VI века до н. э. афинский законодатель Солон постановил: если в городе случилось междоусобие, тот, кто уклонился от борьбы, не примкнув ни к одной из враждующих сторон, лишается гражданских прав. Древний автор, который сообщает об этом законе, толкует его так: Солон требовал, чтобы никто не относился безучастно к общему делу, но чтобы любой из граждан тотчас стал на сторону справедливости и добра. И совершенно так же рассуждали афиняне двести лет спустя, выступая против тех, кто в годину войны и тяжелых внутренних раздоров спокойно отсиживался в деревне или за границей, дожидаясь, пока все успокоится:

...Быть членом Совета у нас имеет право только тот, кто не просто носит звание гражданина, но и всегда готов подтвердить это звание на деле. Для него далеко не безразлично, благоденствует или бедствует наше отечество, потому что он считает необходимым нести свою долю в его несчастьях, как имеет свою долю и в его счастье.

Непосредственное, не ведающее и не допускающее никаких сомнений чувство единства личного и общего — вот краеугольный камень полисного жизнеощущения. Пелопоннесская ли война расшатала его катастрофически или, напротив, сама стала возможной лишь тогда, когда эта опора уже не могла держать здание? Скорее второе. Как бы то ни было, следует иметь в виду, что жизнеощущение очень упрямо, консервативно и всегда отстает от внешних перемен. Поэтому традиционное,

полисное отношение к жизни сохраняется в достаточно широких пределах, а возможно, что и преобладает в обществе; конфликт между ним и новыми условиями существования составляет самую суть трагического разлома, которым во многом определяется и та эпоха, и последующие полстолетия с лишком, вплоть до македонского завоевания.

Гражданин отдает своему государству свое богатство, свои силы и самое жизнь не просто из чувства долга или соображений пользы, но с гордостью и удовольствием. Он горд тем, что экономит на собственных потребностях и потребностях своей семьи, чтобы истратить побольше на общую надобность или общее развлечение: лишь тогда он ощущает себя действующим лицом истории, а не «земли бесполезным бременем», бездельником, проедающим отцовское наследие.

Служа родному городу с тою же естественностью, с какою берегут от ушибов и ожогов собственные руки и ноги, грек знал, что только в отечестве может он жить достойно, ибо на чужбине человек лишался всех и всяческих прав и в любой миг мог сделаться жертвою произвола. Правда, ко времени Пелопонесской войны положение изменилось к лучшему, а в некоторых местах, прежде всего в Афинах, иноземцам и вовсе жилось недурно, но привязанность к крохотному отечеству, страх его потерять были по-прежнему очень сильны. Идеи мирового гражданства, столь влиятельные впоследствии (в пору эллинистических монархий и Римской империи) едва появились на свет и вызывают, по-видимому, дружное осуждение большинства. «Кто хоть и родился полноправным гражданином, но убежден, будто всякая страна, где он может прокормиться, — ему отечество, такому человеку ничего не стоит пожертвовать благом родного города, потому что отечеством своим он считает не государство, а богатство». Заключение не слишком справедливое, если вдуматься, но весьма показательное.

Суженность горизонта, дробный партикуляризм, недоверие (а не то и ненависть) к иноземцам, даже если иноземцы эти —

ближайшие соседи, были неизбежным следствием полисного жизнеспособия. Но это не означает, что греческий народ фактически не существовал, распадаясь на множество замкнутых, взаимно чуждых или даже враждебных малых коллективов. Во-первых, само по себе полисное сознание было однородным по всему широкому пространству греческого расселения, иными словами, граждане Херсонеса Таврического, что стоял на месте нынешнего Севастополя, Кирены Ливийской и Массилии (нынешнего Марселя) с легкостью поняли бы побуждения и действия друг друга, или афинян, или спартанцев. А во-вторых, ощущение единства и взаимосвязанности всех греков перед лицом не-греческого, варварского (первоначально слово «варвар» не имело никакого уничижительного оттенка, обозначая лишь человека, который лопочет что-то непонятное — вроде русского «немец», т. е. немой, не говорящий на понятном языке) мира было столь же естественным и непосредственным, как любовь к малому своему отечеству.

Наилучшим образом греческую национальную общность определил писатель и историк V века до н. э. Геродот. Она обнаруживается, по Геродоту, в общности происхождения, религии, языка и обычаев. Можно спорить о сравнительной важности каждой из четырех черт, о том, до какой степени нарушали общность греческой религии местные культы, и еще о многом ином, но бесспорно, что Геродот ничего не придумал сам, а лишь сформулировал повсюду распространенные и принятые убеждения. Иначе говоря, в основании всегреческого чувства родства лежит общая культура, понимаемая по-сегодняшнему, т. е. очень широко, в сочетании явлений духовных и материальных, но по преимуществу все же духовных. И религия, и генеалогические предания, и самый язык, обогащенный и отточенный великими писателями, чье творчество очень рано сделалось достоянием всего греческого народа, включается в понятие культуры. Но для самих греков главнейшим в нем был

государственный строй, точнее то, что отличало полис от монархий восточного типа: речь идет о свободе.

Дальнейшее изложение покажет, что свобода, которой пользовались граждане различных полисов, была далеко неодинакова, а в иных случаях оборачивалась слепым и тупым подчинением жестокой, давно окостеневшей и омертвевшей традиции. Но даже в таком случае грек отчетливо сознавал, что повинуется ЗАКОНУ, добровольно принятому им самим или его предками, — в отличие от варваров, которые зависят от каприза и произвола своего владыки: им неведом закон, а стало быть, неведома и свобода. Здесь не место выяснять, насколько близко или далеко от истины подобное представление о полной незаконности варварских царств, — важно лишь одно: оно было косвенным, но на редкость мощным стимулом общегреческого сплочения.

В том немногом, что сказано выше, заключены две особенности, определяющие психический склад древнего грека в целом и любую из его сторон или проявлений (или, быть может, обнаруживающие себя в них). Прежде всего, это, условно говоря, «полисность», то есть принадлежность к малому, замкнутому и — в основном — самодовлеющему коллективу. Полисность означает резкость рубежа между своим, родным, привычным и чуждым, непривычным, незнакомым. Если последнее полно неведомых опасностей, требует максимального напряжения сил и величайшей осторожности, то первое, — при многих и отлично сознаваемых несовершенствах и нестроениях, — просто и уютно; в атмосфере «своего» дышится легко и непринужденно, и эта непринужденность, естественность, внутренние согласие и спокойствие, счастливая уверенность в себе ощущаются во всех без изъятия созданиях греческой культуры «полисного периода», будь то законы государства, повседневные обычаи или изображение на монете.



Но уже сама по себе резкость рубежа предполагает противопоставление, противоречие. И действительно, противоречивость, или, как выразился бы философ, антиномичность, неотделима от духовного мира древнего грека. Но она не разрушительна, а, наоборот, созидательна: противоположные начала сбалансированы и потому служат одним из основных стимулов развития и всего общества, и тех, кто его составляет. Стоит, однако же, равновесию расстроиться — и вся система начинает разваливаться. Пелопоннесская война — решающая стадия этого развала.

Две антиномии уже названы: изолированность — и общегреческое единство, фанатичная приверженность к свободе — и рабское подчинение закону. Вот несколько других, без всяких притязаний на полноту или систематичность, хотя любая пара не изолирована, но сопряжена с целым и раскрывается маломальски удовлетворительно лишь через целое.

Сравнение античной Греции с детством человечества, которое, как и всякое детство, невосвратимо и навсегда сохраняет в воспоминаниях взрослого неувядающую прелесть, восходит еще к самой античности. Древние рассказывали, что некий египетский жрец говорил Солону: «Вы, греки, — вечные дети, среди вас нет ни единого старика, все вы молоды душой». Детскость греков — это, в первую очередь, жадная любознательность, способность и вечная готовность изумляться, свежесть восприятия, интерес и вкус к детали, энергия, быстрота ума, юная любовь к жизни, к физическому существованию, к собственному телу, сильному и прекрасному. И бок о бок с этой детской, шумною, шаловливою радостью жизни — и глубокая серьезность в отношении к себе и к окружающему, и бесстрашие, отличающее лишь мудрую зрелость, и величавое спокойствие духа, и, вместе с тем, черное отчаяние, ужас перед жизнью, всего более свойственные порою увядания. Ребячливость и все ведающая старческая умудренность сплетены не только в характере Сократа — пример, самый убедительный для всякого,

кто хотя бы понаслышке знаком с этой неповторимой фигурой, — но почти в любом из греков, оставившем сколько-нибудь заметный след в истории мысли.

Пессимизм почти неизбежно сопровождается тягой к небытию, к смерти. Эта тяга облеклась в слова, сделавшиеся образцовой формулой по малой мере за два столетия до Пелопоннесской войны:

*Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться.  
И никогда не видеть яркого солнца лучей.  
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида  
И глубоко под землей в темной могиле лежать.*

Что за два века чувство это нисколько не притупилось, свидетельствуют строки из последней трагедии Софокла «Эдип в Колоне» (поставлена впервые в 401 г. до н. э.):

*Не родиться совсем — удел  
Лучший. Если ж родился ты, —  
В край, откуда явился, вновь  
Возвратиться скорее.*

Но грекам было знакомо и вполне сознательное (в отличие от стихийного, детского) упоение полнотою жизни. В середине V века Пиндар написал:

*Жизнь человеческая — лишь день единый...  
Но случается:  
Бог ниспошлет ясность, —  
И вся земля просияет светом,  
И жизнь сладка, как мед.*

В эти (пусть редкие!) минуты божественной ясности человек особенно остро ощущал двойственность, антиномичность собственного существования, — ощущение, которое с предельной эмоциональной емкостью выражено в

эпиграмме, приписываемой великому математику и астроному древности Клавдию Птолемею (II век н. э.):

*Знаю, что смертен, что век мой недолог, и все же когда я  
Сложный исследую ход круговращения звезд,  
Мнится, земли не касаюсь ногами, но, гостем у Зевса,  
В небе амвросией я, пищей бессмертных кормлюсь.*

Сродство с богами — и смертность. Ничем не ограниченные способности и возможности — и скупой отмеренный срок бытия, полагающий предел всем устремлениям. Специфически греческий путь к разрешению противоречия лежит через приятие обоих фактов: смертный жребий не может служить оправданием апатии и бездеятельности (то есть того отношения к жизни, которое принято называть фаталистическим), напротив, он требует напряжения всех сил, чтобы зерна добрых качеств не заглохли, но дали самые обильные всходы. Сходную позицию впоследствии займет христианство, однако же по совсем другим мотивам. Для христианина награда за достойную жизнь — вечное блаженство по ту сторону могилы; смерть не должна страшить христианина, ибо она отворяет врата истинной жизни. Представления рядового грека о загробном мире очень смутны и сбивчивы; вернее всего, он не ждал за гробом ни кары, ни воздаяния, полагал смерть абсолютным концом, а потому очень ее боялся. Но на протяжении всего классического периода господствует убеждение, что смерть в бою за отечество — лучшее увенчание доблестной жизни, намного более завидное, чем мирная, кончина в собственной постели. Полисное жизневосприятие вполне объясняет такое убеждение: если родной город — драгоценнейшее в мире ОБЩЕЕ достояние, что может быть естественнее желания отдать ему самое дорогое, что есть у тебя ЛИЧНО — жизнь? Но это еще не все: геройская смерть за отечество — самый надежный источник самой долговечной славы, а слава —

единственное, что, наверное, переживает человека, даря некое подобие посмертного существования.

Среди речей Лисия сохранилось надгробное слово в честь афинян, павших в одной из войн начала IV века, то есть вскоре после окончания Пелопоннесской войны. Смерть — общий удел всех людей, геройство — удел немногих, говорит автор речи. Жизнь неизбежно обрывается смертью, а потому не может считаться собственностью человека; память о доблестной борьбе, которую оставляют после себя погибшие, будет их собственностью навеки. Поэтому, если задуматься всерьез, горевать об убитых не следует. Ведь избежать смерти не дано никому, ни добрым, ни скверным, ни тем, кто смело вышел на битву, ни тем, кто трусливо от нее уклонился. Стало быть, погибших в бою нужно считать счастливыми: они не подчинились судьбе, не ждали естественной смерти, но по собственной воле выбрали себе самую прекрасную кончину.

Память о них не может состариться, честь, которую им оказывают, завидна для всех. Их оплакивают как смертных, потому что природа их смертна, а славят как бессмертных — за храбрость... ибо погибшие на войне заслуживают почестей наравне с бессмертными. Я завидую их смерти и думаю, что только таким людям и стоило родиться: получив в удел смертное тело, они... оставили по себе бессмертную память.

Есть все основания считать, что это не парадная декламация, не цветы красноречия, которые можно положить к памятнику воинов, павших в любое время и в любой земле, но истинный и, главное, типический, общенародный взгляд на вещи. Во всяком случае, другая речь Лисия, считающаяся виртуозным образцом эпопеи, то есть создания характера (речи писались для разных лиц, и каждая должна была отвечать внутреннему облику того, кому предстояло ее произнести), содержит примерно те же мысли, а номинальный ее автор — заурядный афинский

гражданин, «простая душа». «Когда меня ожидало участие в... боях, — заявляет он, — я никогда не жалел жену или детей, не плакал, не вспоминал о них, не видел ничего ужасного в том, что, окончив жизнь в сражении за отечество, оставлю их сиротами. Мне казалось гораздо более страшным, если я позорно спасу свою жизнь и через это покрою срамом и себя, и их».

Очень любопытно и знаменательно, что такая точка зрения восходит к самому истоку греческой культуры — к гомеровскому эпосу. Только у Гомера она диктуется героическим «кодексом чести», основанным, в свою очередь, на сугубо индивидуалистской, аристократической морали, тогда как гражданин, в отличие от героя-одиночки, отстаивает не собственную честь, но честь и славу своего города. Недаром Перикл у Фукидида, стараясь ободрить павших духом афинян, в качестве заключительного, самого веского аргумента, призывает: не забывайте, что наше государство обладает величайшей славой и величайшим могуществом, память о которых сохранится вечно, даже если нас постигнет поражение. Сохранится память о том, что мы властвовали над неисчислимыми подданными, что побеждали в самых жестоких и опасных войнах, что владели таким богатым и блистательным городом. Только нерадивый способен порицать наши труды и подвиги, но всякий, кто деятелен, возьмет нас за образец, и всякий, кто не сможет снами сравниться, будет нам завидовать. Завидуют нам и теперь, но кто навлекает на себя зависть, стремясь к высшему, тот поступает правильно.

Буквально то же самое мог бы сказать О СЕБЕ любой из гомеровских героев.

Итак, по сравнению с героическими, гомеровскими временами, нравственное чувство практически не изменило своего содержания, оставшись «моралью чести», позитивной по преимуществу, требующей активности, действия, вполне определенных поступков, — в отличие, например, от христианской морали, по преимуществу негативной, предостерегающей, воспретительной. Но поскольку объектом этого чувства стал коллектив,

полис, то роль, значение, права личности уменьшились до размеров более чем скромных. Самые авторитетные мыслители древности утверждали: пусть никто из граждан не воображает, будто принадлежит самому себе, — все одинаково принадлежат государству. Платон, набрасывая план идеального государства, весьма мало тревожится о том, будет ли счастлив каждый из его граждан; главное, чем он озабочен, — это симметрия и красота целого, каким оно предстало бы взору стороннего наблюдателя. Разумеется, это только теория, но она и отражает практику, и объясняет многие ее детали. Так, становится понятным, почему на шкале ценностей женщина стоит выше старика (ведь она еще может родить гражданина и воина!), но неизмеримо ниже мужчины в расцвете лет и сил. Становится понятным, почему самоубийца — преступник, которого наказывают, хотя и по-смертно: уродуют труп усекновением правой руки и лишают погребения. Личность и не противопоставлена, и сама не пытается противопоставлять себя целому: она ничем не жертвует, ибо даже не способна помыслить себя вне целого. В этих условиях сознание личной ответственности предельно притуплено, чему в немалой мере способствует архаическая религиозная концепция возмездия: сын наследует преступления и вину отца точно так же, как его имущество или долги. Лишь конец V века (то есть опять-таки Пелопоннесская война) приводит на смену старой, примитивно коллективистской морали, новую, индивидуалистскую.

И все же это только теория! Можно было бы сослаться на то, что и греческая классика пестрит яркими, неповторимыми индивидуальностями, резко противостоящими обществу, которому они принадлежали, более того — что история классического периода в значительной мере этими индивидуальностями и написана. Но, пожалуй, существеннее другое: пресловутая «эллинская свобода» слишком плохо совместима с обезличенностью и скорее предполагает индивидуализм в качестве неперменной составляющей «эллинского духа». А ведь идея

свободы проявлялась не только в сфере политики. Грек считал позорным работать на другого, получая от него жалованье. Только труд по собственному побуждению, — на собственной земле или в собственной мастерской, — не оскорбляет свободного человека. Аристотель даже считал, что совершенное государство должно лишить гражданских прав всех, кто трудится по найму.

Допустимо, по-видимому, и здесь видеть разумно, — хотя, быть может, и не вполне осознанно, — сбалансированное противоречие.

Подобным же образом, скорее всего, следует судить об «эллинской гармоничности». В ней всегда усматривали одну из главных, решающих примет «эллинства». И правда, во все времена, от Гомера до Платона и далее, греки восхваляли гармонию, ритм, призывали и себя, и друг друга подчинить гармонии и ритму всю жизнь человеческую в любом ее проявлении. Один из самых известных и красивых примеров такого рода принадлежит поэту VI века Архилоху с острова Самос:

*Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой.  
Ободришь, и встретишь их грудью, и ударим на врагов!  
Пусть везде кругом засады, — твердо стой, не трепещи.  
Победишь — своей победы напоказ не выставляй,  
Победят — не огорчайся, запершись в дому, не плачь.  
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.  
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.*

Но жизнь самого Архилоха — бродяги, авантюриста, наемного солдата, вспыльчивого, мстительного, беспощадного — удивительно плохо согласуется с этими прекрасными словами. И вполне естественны подозрения, что столь частые и настойчивые напоминания типа «Ничего сверх меры!» свидетельствуют о неодолимой тяге к крайностям, об экспансивности и страстности, свойственных многим южным народам, и о борьбе с собственной природою, когда успешной, а когда и не очень. Та

же двойственность и борьба наблюдаются в любой области греческого искусства, и словесного, и изобразительного.

Едва ли могут быть сомнения, что не одною лишь экспансивностью обязаны греки своей жаркой средиземноморской стране. Характер любого народа формируется под влиянием природы, которою он окружен, и греки не были исключением.

Четыре пятых Греции — это горы. Они невысоки: самая высокая вершина, Олимп, считавшийся в глубокой древности местопребыванием богов, поднимается над уровнем моря всего на 3000 метров. Очертания их сравнительно мягки, краски не яркие, преобладающие тона — коричневатые, серо-зеленые.

В незапамятные времена они были покрыты густыми, непроходимыми лесами, но рано начали лысеть, и уже Платон жалуется на истребление и гибель лесов:

Горы были покрыты густым лесом, чему и поныне сохраняются ясные свидетельства. Некоторые горы теперь способны прокормить разве что пчел, а ведь еще не так далеко то время, когда на этих самых горах валили деревья для построек, и целы еще кровли, которые из них сложены. Было много негодных на стройку, но очень высоких деревьев, были неистощимые пастбища для скота, и каждый год в изобилии выпадали дожди, и вода не скатывалась, как ныне, с облысевшей земли в море,

но собиралась в скрытых пустотах, а после выходила на поверхность многочисленными ключами, речками и колодцами.

Лес сводили под пашню, валили для строительного, тележного, корабельного дела, пережигали на уголь. Поредевший под руками человека лес опустошали дождевые потоки (дожди в Греции редки, а когда выпадают, то проливаются стремительными, бурными ливнями) и лесные пожары, как в любой стране. Но специально греческим бедствием были козы: за скудостью пастбищ их выгоняли в лес, и они не только травили



молодые деревца, но и умудрялись объедать всю листву на старых, карабкаясь по стволам и сучьям.

И все же склоны гор не были такими голыми и унылыми, как сейчас. Во-первых, еще в начале христианской эры сохранялись густые дубравы с массой кабанов и медведей (например, на Пелопоннесе), лесисты были чуть ли не все острова в Эгейском море, ныне совершенно обнажившиеся. А во-вторых, вырубки и пожарища зарастали кустарником, и заросли кишели всевозможной мелкою дичью, четвероногой и пернатой. Цвет леса, — если судить по немногим пятнам, уцелевшим донине, например, на склонах Парнасса, над Дельфами, — был темный, издали казался почти синим, хотя преобладающими породами были платан и дуб.

Этот мир хребтов и долин способствовал полисной разобщенности (если не предопределил ее), поскольку сухопутных дорог между долинами, несмотря на сравнительную доступность гор, практически не существовало. Единственным путем сообщения, связывавшим греков между собою, было море.

Море греков — по преимуществу Эгейское. Адриатика всегда относилась скорее к категории «чужого», чем «своего». Эгеида с щедро рассыпанными по ней островами, идеальными «ступеньками» для каботажного плавания, давала моряку на примитивном суденышке ощущение спокойствия и безопасности. Впрочем — безопасности весьма относительного свойства: хотя не было в Греции места, удаленного от моря больше, чем на девяносто километров (так сильно изрезаны ее берега), хотя уже и по этой причине, и по необходимости (море не только соединяло греков, оно их кормило) круто соленые, неправдоподобно синие воды были для греков родною стихией и греки с незапамятных времен узнали нрав и капризы этой стихии, выведали, в какие месяцы лучше не испытывать ее снисходительность, владели приметамы ее гнева и ее добродушия; несмотря на все это море неукоснительно требовало жертв, и люди шли

на жертвы, рисковали жизнью, отдавали жизнь, потому что иначе было невозможно. Греки были морским народом, а море — трудная и опасная школа, оно требовало от народа силы, энергии, ума, предприимчивости, но оно и развивало в народе эти качества.

Впрочем, того же требовала и земля Греции, бедная, каменистая, сухая. Только на севере, в Фессалии, и в срединной части страны, в Беотии, были просторные равнины, пригодные для земледелия в относительно широких масштабах. В остальных местах поля лежали зелеными лоскутьями на выжженном серо-желтом фоне и, пожирая бездну труда, не могли прокормить весь полис: большинство греческих государств ввозило хлеб из-за границы. Не менее трудоемким было возделывание садов, виноградников, масличных деревьев, разведение пчел и мелкого рогатого скота (коров греки держали очень мало). И весь этот тяжкий, упорный труд приносил не слишком обильные плоды. Нередко говорят: греки были очень умеренны в еде — две-три маслины, ломоть хлеба, зелень, — и объясняют эллинскую «воздержность» эллинской же мудростью или, в крайнем случае, изнуряющею жарой. Но следует помнить, что воздержность была вынужденной; скудость земли приучала экономить, воспитывала умение обходиться немногим — и не только в еде и питье.

Контрасты в природе до известной степени отвечают противоречивым началам в психологическом складе народа: как и те, они не разрушительны, не доходят до крайностей, но словно бы конструктивны. Первый среди них — это контраст между светом и мраком.

Свет в Греции обладает неповторимой ясностью и прозрачностью. Таково было мнение древних — и самих греков, и, позже, римлян, — так судят нынешние путешественники, объездившие полмира, а не то и целый мир. Ясность света не может не воздействовать на ясность видения, а эта последняя, вполне возможно, оказывает воздействие на характер мышления и

качества искусства. Греки были влюблены в свой свет, боготворили его и ненавидели мрак, туман, ускользающую от взора зыбкость очертаний. Темный лес заведомо неприятен греку, хотя он дарит тень, которая не просто отрадна, но совершенно необходима летом, не меньше, чем жаровня с углями — зимой. Так две контрастные пары (свет — мрак, свет — тень) накладываются одна на другую, вызывая сложный эмоциональный отклик.

Два с половиной тысячелетия отделяют нынешнее время от времен Пелопоннесской войны. Десятки, если не сотни войн разоряли и жгли с той поры греческую землю, десятки чужих племен прокатывались по ней и оседали на ней. И все же ученые полагают, что этнический тип грека в среднем не изменился и сегодняшние обитатели Фив, Пирея или Мистры, возникшей на месте древней Спарты, мало чем отличаются внешне от современников Перикла и Сократа. И глядя на уличную толпу в Афинах или в Фессалонике и мысленно исключая из нее туристов со всех концов света, толпу, такую разнородную и, однако, единую в своей пестроте, можно представить себе древнего грека — не бесплотного «пластического грека» классицистов и романтиков, а живого, из мяса и костей, с резкими, размашистыми движениями, шумного, смуглого, темноволосяго, темноглазого. (Скорее всего, византийская иконопись в изображении глаз была ближе к натуре, чем древняя скульптура: голубоглазые блондины и в старину составляли редкое исключение, предмет зависти.) Такой грек и был героем и жертвою Пелопоннесской войны.

## ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА

Она стала неизбежностью задолго до того, как началась. Сами греки — и политики, и мыслители — знали это не хуже, чем ученые нового и новейшего времени.

Конец VI и первые два с половиной десятилетия V веков были для греков великою порою общенационального сплочения для борьбы с иноземными захватчиками — персами. Победа досталась немалою ценой, и самый большой вклад пришелся на долю афинян. Естественно, что они же возглавили союз греческих государств, сперва оборонявшийся от персидского нашествия, а потом поставивший себе целью отомстить захватчикам. Очень недолго союз оставался добровольным и равноправным: новая форма политической организации — федерация полисов — столкнулась с устойчивой, традиционно полисной психологией и не выдержала этого столкновения. Малые и слабые государства не желали терпеть афинского главенства — не для того сбросили мы общими силами персидское ярмо, чтобы попасть под пяту афинян! — афиняне же ни к каким «чужеземцам» не умели относиться как к равным. Добровольный взнос обратился в подать (деньгами, судами или вооруженными людьми), товарищи по федерации — в подданных, а сама федерация — в тираническую державу, или в гегемонию («предводительство»), как предпочитали называть ее сами «предводители». Уже в 470 году, меньше чем через десять лет после решающей победы над персами, афиняне военной силой усмиряли взбунтовавшихся союзников и, усмирив, лишили политической самостоятельности, иначе говоря — той самой «эллинской свободы», ради которой был

создан союз. А в 454 году союзная казна, хранившаяся на острове Делос, который издавна был религиозным центром ионийских греков, была перенесена в афинский Акрополь, в храм Афины Паллады, и афиняне стали распоряжаться общими деньгами вполне самовластно, употребляя их на усиление и украшение собственного города.

Афинская держава носила имя морского союза»; и действительно, она владела сильнейшим в Греции флотом и господствовала на море практически безраздельно. Сильнейшим сухопутным государством, как и во время персидских войн, была Спарта. Вокруг нее также образовался союз городов, главным образом пелопоннесских и отчасти среднегреческих, либо связанных со спартанцами племенным родством, либо же просто страшившихся афинской гегемонии и сумевших остаться вне сферы ее влияния. Пелопоннесский союз, по-видимому, не знал таких острых внутренних конфликтов, какие раздирали Афинскую морскую державу. Объяснять это патриархальной честностью Спарты и цинизмом Афин, утративших моральные устои под влиянием новых разрушительных идей, или паразитизмом афинского демоса и честолюбием его вождей, или даже своекорыстными «классовыми» интересами купцов и промышленников было бы и недостаточно (хотя каждое из этих объяснений заслуживает внимания), и не вполне обоснованно. Выход на международную арену означал крушение полисного хозяйства и государства. Между тем военное столкновение с персами было уже заключительным шагом в долгом путешествии, начало которого относится к VIII веку до христианской эры — ко времени основания первых колоний.

Первопричины греческой колонизации — не экономические (поиск рынков сырья или сбыта), а демографические. Избыток населения — следствие скудости почвы, высокой рождаемости и низкой детской смертности — дал себя знать очень рано, и, помимо образования колоний, практиковались и другие способы решения проблемы: умерщвление или подкидывание

новорожденных, убийство стариков (по сообщению географа и историка Страбона, на острове Киосе каждому, кто доживал до шестидесяти лет, подносили чашу с ядом), массовый отток взрослого мужского населения за границу для службы в наемных войсках. Но, однажды возникнув, колонии постепенно изменяли экономическую, а отчасти и политическую жизнь метрополии, втягивая ее в международный обмен и, следовательно, исподволь подрывая замкнутую, самодовлеющую структуру полиса. С особенной интенсивностью это происходило тогда, когда государство оказывалось вынужденным ввозить из-за рубежа самое необходимое, например — хлеб, как ввозили его и Афины. И чем дальше уходило общество этим новым путем развития, тем труднее и теснее было ему в узких рамках полисной идеологии и государственности. А поскольку новый путь был исторической неизбежностью в расширяющемся, раздвигающем свои пределы мире, неизбежным было и крушение полисной системы, переход к системе крупных государств с централизованной властью — то, что у историков зовется переходом от эллинства к эллинизму.

Сказанное выше никак не означает попытки оправдать «афинский империализм» или бедствия и зверства многолетней войны, тем более что и Афины, при всей своей, условно говоря, прогрессивности, отнюдь не были носителем нового уклада, а защищали обреченную идею суверенного полиса. В самом деле, поражением Афин в 404 году борьба не закончилась, она длилась еще почти двадцать лет, до так называемого Анталкидова мира (387 год), и что же он принес, этот мир? Восстановление автономии почти всех греческих городов, больших и малых, иными словами — возвращение к той системе, которая уже не могла дольше существовать! Стало быть, речь идет лишь об одном: о закономерности и необходимости решительного поворота в жизни греков. Мог ли этот поворот принять какие-то иные формы, более спокойные, менее кровавые, — вопрос, по-видимому, праздный; во всяком случае,

задавать истории подобные вопросы бесполезно. Но одно ясно: если бы Спарта не выступила, ее роль взяла бы на себя коалиция афинских подданных или, может быть, Персия, тоже страшившаяся усиления Афин.

Датируя начало войны 431 годом, ученые следуют Фукидидовой традиции, но дата эта условна: первое открытое вооруженное столкновение двух союзов относится еще к 458 году. Таким образом, процесс втягивания в большую войну длился без малого тридцать лет. Как обычно происходит при хронической вражде крупных противников, поводом для стычек и взаимных угроз всякий раз бывали обиды, чинившиеся союзникам. Когда летом 432 года делегации городов Пелопоннеского союза собрались в Спарте на совет и спартанцы предложили всем высказать свои жалобы на афинян, решающим было выступление коринфян, обвинявших афинян в грубом нарушении тридцатилетнего мира, заключенного между Афинами и Спартой в 445 году. (По договору обе стороны обязывались не нападать на союзников противной стороны, не переманивать их и не принимать под свое покровительство, даже если они сами будут об этом просить.) Афинские послы, случайно находившиеся в Спарте по совсем другим делам, тоже получили возможность выступить. Говорили они не в собрании пелопоннесцев, а перед одними спартанцами и оправдываться, по существу, не стали, а ограничились тем, что сослались на свои исключительные заслуги во время персидских войн и на право оберегать свои приобретения и свою безопасность опираясь на силу, и в заключение призвали спартанцев не торопиться с войною. Те, однако же, не вняли призыву афинян и постановили воевать — не столько, прибавляет Фукидид, из сочувствия к союзникам, сколько из страха перед растущей мощью Афин.

Вооружаясь и готовясь начать боевые операции весной следующего, 431, года, враги между тем вели переговоры, которые должны были придать религиозную окраску назревающей

войне. Они обвиняли друг друга в кощунстве и требовали наказания виновных.

Примерно за двести лет до изображаемых событий афинский аристократ Килон решил захватить единоличную власть в родном городе. Тесть Килона, тиран (т. е., по греческим понятиям, неконституционный правитель) соседнего городка Мегары, дал ему вооруженных людей, и Килон занял Акрополь (т. е. крепость на вершине холма). Но афиняне дружно сбежались со своих полей в город и осадили мятежника. Так как капитулировать он не спешил, а крестьяне не могли терять время празднично, карауля неприступные стены, граждане разошлись, поручив верховным правителям, архонтам, действовать по собственному усмотрению. Часть осажденных уже умерла от голода и жажды, остальные — среди которых самого Килона не было: он ухитрился тайком бежать — сели у алтаря богини Афины, в знак того, что молят божество о защите, а врагов о пощаде. Осаждающие предложили им покинуть священный участок, клятвенно обещав неприкосновенность. На самом же деле они заботились лишь о том, чтобы трупы умерших не осквернили освященное место, и, как только вывели сообщников Килона из храма, всех перебили. Это преступление против богини-покровительницы и хранительницы города получило название «Килоновой скверны». Все запятнанные ею — в первую очередь архонты — были изгнаны из Афин, а поскольку (как уже упоминалось выше) потомки механически наследуют вины предков, сто лет спустя были наказаны и потомки виновных: живых отправили в изгнание, а кости умерших были вырыты из земли и выброшены за пределы Аттики. Впоследствии, однако, изгнанники возвратились, и Перикл, около сорока лет руководивший афинской политикой, происходил по материнской линии от одного из них. Теперь спартанцы требовали, чтобы кара пала и на этих, отдаленнейших потомков. В кого они метили, понять нетрудно.



Афиняне, в свою очередь, требовали мести за убийство Павсания, героя битвы при Платеях — решающего сухопутного сражения с персами (479 год). Сразу же вслед за победою при Платеях он вступил в тайные переговоры с персидским царем, предлагая подчинить ему и Спарту, и всю Грецию. Власти в Спарте об этом догадывались, но прямых доказательств не имели и выжидали целых десять лет, следуя непреложному лаконскому правилу: без неопровержимых улик не выносить непоправимого приговора.

Наконец такие улики появились. Ближайший друг и доверенный Павсания должен был доставить его письмо персидскому наместнику в Малой Азии, однако, смущенный тем, что ни один из прежних посланцев не вернулся, он вскрыл письмо и нашел приписку, в которой Павсаний просил умертвить гонца. Он тут же пришел к властям с доносом, но и теперь эфоры (высшие должностные лица в Спарте) не пожелали действовать — прежде чем не услышат признания из уст самого изменника. Была подстроена встреча несостоявшегося гонца с Павсанием, во время которой первый упрекал второго в вероломстве, а второй просил прощения и умолял поскорее отправляться в путь. Эфоры, тайно находившиеся в том же доме, удалились прежде, чем разговор окончился, и постановили немедленно арестовать Павсания. Они встретили его по пути домой, но Павсаний по выражению их лиц обо всем догадался и бросился бежать к храму Афины Меднодомной — тесной часовне, обитой листами бронзы: он знал, что вытащить его из храма силою никто не посмеет, и рассчитывал выиграть время, не страдая между тем от непогоды под открытым небом. Но эфоры распорядились снять с часовни крышу, а выход замуровали и уморили преступника голодом, а перед самой кончиною вынесли его наружу, чтобы он не осквернил своей смертью святыню. Тем не менее оракул бога Аполлона в Дельфах объявил умерщвление Павсания кощунством.

Оба требования были, разумеется, отклонены так же, как и другие, более конкретные и существенные, с которыми прибывали в Афины посольства из Лакедемона. Обе стороны считали, что столкновение неминуемо и что откладывать его бессмысленно. Обе считали виновником, агрессором противную сторону, хотя остальная Греция никогда не могла понять, кто же все-таки начал эту борьбу. (Надо признать, однако, что В ЦЕЛОМ позиция Спарты представлялась — да и теперь представляется — более справедливой: Пелопоннесский союз выступал в защиту исконной греческой свободы против тиранической силы, поработившей половину Греции и угрожающей порабощением второй ее половине. «...Большинство греков, — пишет Фукидид, — было настроено против афинян: одни желали вырваться из-под их владычества, другие боялись под него попасть».) И обе стороны, конечно, страшились поражения и надеялись на победу, хотя у афинян надежды были крепче и, по-видимому, основательнее, а главное — совпадали с опасениями спартанцев: самым дальновидным среди них казалось, что противник, обладающий абсолютным перевесом на море и в денежных запасах, практически неуязвим.

Весною 431 года вся Греция напряженно ждала. Изречения оракулов, прорицания, просто слухи, рассказы о грозных знамениях свыше циркулировали в огромном числе. Уже в самом начале апреля фиванцы, союзники лакедемонян, предприняли попытку захватить союзные Афинам Платеи, но были перебиты все до последнего. В мае пелопоннесское войско собралось на Коринфском перешейке и главнокомандующий, спартанский царь Архидам, отправил в Афины последнее посольство, надеясь, что, видя врага уже у своих границ, афиняне пойдут на уступки. Однако афиняне не допустили послов в город и приказали им немедленно покинуть пределы Аттики. Прощаясь с провожатыми, которые были к нему приставлены, чтобы помешать какому бы то ни было общению с афинскими гражданами, глава посольства произнес поистине пророческие слова: «Этот

день будет для греков началом великих бедствий». Сразу вслед за тем Архидам двинулся в поход и «в разгар лета, в пору созревания хлебов» вторгся в Аттику. Около двадцати дней враги опустошали поля, виноградники и оливковые рощи, афиняне же, приняв предложение Перикла, заблаговременно переселились в город вместе с женами, детьми и домашним скарбом, скот, мелкий и крупный, переправили на близлежащие острова, а деревянные строения в усадьбах сожгли. Между тем афинский и союзный флот, численностью более ста пятидесяти судов, крейсировал вдоль берегов Пелопоннеса и других входящих в Пелопоннесский союз областей, высаживая в разных местах десанты и то разоряя прибрежные поселения, то захватывая их и оставляя там своих колонистов и гарнизоны, а прежних жителей изгоняя. А уж под конец летней кампании большое афинское войско вступило в соседнюю с Аттикой Мегариду — с той же целью и тем же результатом, что спартанцы в Аттику.

Эта тактика оставалась неизменной в течение всей первой половины войны.

Массовое переселение в город обернулось для афинян страшным бедствием. Начать с того, что большая их часть жила на земле и подлинно «своим», «малою родиной», считала сельскую усадьбу, поля и деревья вокруг нее. Расставание с насиженным местом, с привычным образом жизни заставляло земледельца ощущать себя изгнанником в собственном государстве. К тяготам психологического свойства добавлялись громадные бытовые трудности. Лишь немногие нашли пристанище у друзей или родных, большинство же ютилось кое-как на пустырях, в храмах и на храмовых участках, в крепостных башнях, в так называемых «Длинных стенах» — семикилометровой линии укреплений, возведенных по обе стороны дороги, которая соединяла Афины с их гаванью, Пиреем, — и в самом Пирее. Легко себе представить, в какой скученности и грязи приходилось жить людям, а потому нимало не удивительно, что в следующем

же, 430, году в Афинах вспыхнула эпидемия. Началась она в Пирее, поэтому многие утверждали, будто болезнь завезена из-за моря, из Египта. Фукидид подробно описывает ее симптомы, и врачи нового времени по-разному идентифицируют «афинский мор»; наиболее убедительным считается взгляд, что это была эпидемия сыпного тифа.

Смертность была необыкновенно высока. Никакой уход, никакие лекарства, никакой режим не помогали. Самой ужасной стороной бедствия Фукидид называет упадок духа: едва почувствовав недомогание, человек терял всякую надежду и даже не пытался сопротивляться болезни. Боясь заразы, заболевших бросали на произвол судьбы даже ближайšie родственники, и только те немногие, кто, переболев, остался жить (в их числе был и сам Фукидид), могли без страха оказывать помощь больным и умирающим. Эти редчайшие счастливицы верили даже, что и в будущем никакая болезнь уже не станет для них смертельной.

Особенно худо приходилось переселенцам. В своих душных хижинах и палатках они умирали так же, как жили, — вповалку: умирающие лежали друг на друге, словно трупы, полумертвые выползали на улицы и кишмя кишели возле всех источников и колодцев, томимые жаждой. Теперь уже чуть ли не все святыни — кроме самых главных, на акрополе, где переселенцам запрещалось устраивать себе жилища, — были осквернены смертью и мертвыми телами. И вообще всякое уважение к законам (человеческим или божеским — безразлично) исчезло, и прежде всего — к погребальным обрядам. Вот картина античного «пира во время чумы», как ее изобразил Фукидид:

Все стремились к телесным наслаждениям, полагая одинаково ненадежными и деньги, и самую жизнь. Никто не соглашался терпеть страдания или неудобства ради прекрасной цели, ибо не знал, не умрет ли он прежде, чем достигнет этой цели... Людей уже не удерживал ни

страх перед богами, ни земные законы, потому что все гибли одинаково — и благочестивые и нечестивцы — и потому что никто не рассчитывал дожить до суда и понести законное наказание за свои преступления. Гораздо более тяжким приговором казался тот, что уже навис над головою, и каждому хотелось взять от жизни хоть что-нибудь, пока приговор еще не исполнился.

Сколько всего народа унес мор, подсчитать невозможно, но ни жестокие потери, ни смерть самого Перикла (в конце 429 года) не заставили афинян изменить начатому делу, хотя бывали у них и сожаления, и колебания, и попытки замирииться с врагом.

Это была обычная война, с обычной, по тогдашним стандартам, жестокостью: побежденных или сдавшихся в плен часто истребляли прямо на поле боя, иногда сохраняли им жизнь, но лишь для того, чтобы продать в рабство, раненых добивали, женщины, дети и старики, попадавшие в руки врагов, тоже либо уничтожались, либо шли на продажу. Случались, конечно, и особые происшествия, но их Фукидид и отмечает как нечто из ряда вон выходящее. Так, в 413 году отряд фракийцев, афинских союзников, захватил городок Микалесс в Беотии. Нападение произошло на рассвете и было совершенно неожиданным: жители настолько не ждали врага, что даже не закрыли на ночь ворота. Впрочем, и без того городские укрепления были слишком слабы, низки и ветхи.

...Ворвавшись в Микалесс, фракийцы бросились разорять дома и храмы и избивать людей. Они не щадили ни старых, ни юных, но умерщвляли всякого встречного без разбора — и женщин, и детей, и даже вьючных животных... Напали они и на детскую школу, самую большую в том городе; дети только что явились на занятия, и фракийцы всех зарубили.

Фукидид замечает, что среди других бедствий войны горе Микалесса было особенно тяжким, и причину его усматривает в

варварской кровожадности фракийцев. Но наказание, которому афиняне подвергли взбунтовавшихся союзников на Лесбосе, он находит сравнительно мягким. Между тем стены города были скрыты, суда отняты, земля поделена между афинскими колонистами, а коренные жители превращены в своего рода крепостных, да еще больше тысячи человек признано зачинщиками мятежа и казнено. Но Фукидид прав: ведь это решение лишь ничтожным большинством голосов в Народном собрании одержало верх над предложением — уже принятым накануне! — всех взрослых мужчин казнить, а женщин и детей обратить в рабство.

И все же то была необычная война, как необычным было и взаимное ожесточение. Любая война встарь означала конфликт межгосударственный, внешний, Пелопоннесская же война — первый образец массовой гражданской войны.

Афины и Спарта были оплотом, символом, наиболее полным выражением двух основных форм полисной государственности — демократии («власти народа») и аристократии, или олигархии («власти лучших», или «главенства немногих»)². В любом из городов существовали приверженцы того и другого способа правления, соединявшиеся в непримиримо враждующие группировки, или партии, и эта вражда оказывалась сильнее любви к родине: аристократы в государствах демократических и демократы в аристократических неизменно вступали в тайный сговор с врагом, становились предателями.

Самые глубокие и важные основы жизни заколебались, и уже современники сознавали это в полной мере. Фукидид пишет: «...Раздоры между партиями происходили повсюду, демократы призывали на помощь афинян, олигархи — лакедемонян». В мирное время к тому не представлялось возможностей, война облегчала и оправдывала все, превращаясь в

---

<sup>2</sup> Принятое в античной древности содержание этих терминов будет раскрыто ниже, общий же их смысл достаточно известен и понятен.

насильственную наставницу, которая учит не считаться ни с чем, кроме как с требованиями текущей минуты.

Общепринятое значение слов было извращено. Безрасудную отвагу стали считать храбростью, мудрую осмительность — трусостью, ...в слепом усердии видели главную обязанность мужа, в разумной неторопливости — благовидный предлог для уклонения от обязанностей. Вечное недовольство считалось вернейшим залогом надежности, ...коварство называли пронизательностью, а если кто пытался бороться честно, его упрекали в нарушении дружеского долга и в страхе перед противною стороной.

Партийные связи ставились выше родственных, потому что товарищи по партии были всегда и безусловно готовы на все и еще потому, что самые связи и доверие скреплялись не честными и согласными с законом целями, но своекорыстными умыслами против существующих законов, иначе говоря — соучастием в преступлениях. Примирались враждующие лишь для вида: выжидали удобного момента и тут же наносили удар...

...Источник всего этого — жажда власти, вырастающая из корыстолюбия и тщеславия... Люди из обеих партий, становясь во главе государства, высказывали мысли самые благопристойные: одни толковали о равноправии всего народа, другие — об умеренном правлении лучших граждан, и те и другие объявляли своею наградой общее благо; на деле же они боролись за власть, не стесняясь никакими средствами, шли на любые злодеяния <...> руководились не справедливостью и не государственной пользой, а только партийными выгодами и пристрастиями <...> Совесть и те и другие не ставили ни во что <...> Беспартийные истреблялись обеими сторонами — либо за то, что отказывались принять участие в борьбе, либо потому, что вызывали зависть самим своим существованием. Так в результате междоусобиц нравственная

испорченность водворилась среди греков, и простодушье, которое всего более сродни благородству, подверглось осмеянию и исчезло, а на его место явились взаимная неприязнь и недоверие. <...>. При этом преимущество обычно оказывалось на стороне людей не особенно дальнего ума...

Не надеясь на свою предусмотрительность, они рвались напролом, тогда как «люди самонадеянные воображали, будто все точно рассчитано и в грубой силе нет нужды, а потому в конечном счете оказывались беспечнее первых и гибли в большем числе».

Это зауспокойный плач о полисе со всеми его учреждениями и системою ценностей. (Впрочем, и сам плачущий, если всмотреться внимательно, уже не ощущает органической связи с полисом: достаточно сравнить его слова о беспартийных с тем, что говорилось выше насчет долга гражданина, четко определить свою позицию в междоусобной распре). О вмешательстве иноземцев в раздоры сицилийских городов Фукидид говорит: «Они стояли на той или другой из враждующих сторон не столько на основании права или общего происхождения, сколько ...ради собственных выгод или в силу необходимости». Эти слова можно применить и ко всей войне в целом: не принципы, освященные веками — справедливость, кровное родство, — руководят политикою, но циничный интерес или же страх. И вполне естественно, что, когда в 421 году Спарта заключила мир с Афинами, союзники на Пелопоннесе отнеслись к этому без всякого энтузиазма; они понимали, что это просто-напросто сговор двух «суперполисов» ради раздела власти и сфер влияния и что он столь же непрочен, сколь бесчестен. Первым случаем предельного накала страстей в межпартийной борьбе Фукидид называет события на острове Керкира. Керкиряне состояли в оборонительном союзе с Афинами, но сохраняли добрые отношения и со Спартою. Летом 427 года олигархическая



партия устроила переворот и сперва умертвила около шестидесяти главарей противной партии, а затем, получив подкрепление из Коринфа, начала настоящую войну с демократами. И те и другие призывали на свою сторону рабов, обещая им свободу. Победа осталась за демократами. Во время решающего сражения олигархи, отступая, сожгли все дома вокруг рыночной площади, причем не щадили ни чужих жилищ, ни своих собственных. Пожар истребил массу купеческих товаров и спалил бы весь город, если бы не полное безветрие. На другой день прибыла афинская флотилия и ее начальник убеждал не преследовать побежденных слишком сурово, но увещания остались без последствий, и в конце концов четыреста олигархов были помещены на бесплодном островке рядом с городом — как бы в виде предварительного заключения.

Не прошло и пяти дней, как появилась пелопоннесская эскадра и нанесла поражение соединенным силам керкирян и афинян. Страхась вражеского нападения на самый город, демократы вернули заключенных с острова в храм Геры, откуда прежде вывезли их, пообещав личную неприкосновенность, а с остальными олигархами вступили в переговоры и некоторых даже убедили взойти на боевые корабли для защиты города от пелопоннессцев. Но положение снова переменилось: приплыли еще шестьдесят афинских судов — и спартанская эскадра поспешно бежала. Тут демократы принялись убивать всех противников подряд, начав с тех, кого сами же только что вооружили и посадили на корабли. Часть находившихся в храме Геры они уговорили выйти и подчиниться решению суда — и всех казнили, приговорив к смертной казни. Тогда остальные (а их было большинство) умертвили друг друга или покончили с собою прямо в святилище. Семь дней продолжалось побоище. Убивали всех, кто сочувствовал олигархам или хотя бы казался сочувствующим. Многие при этом пали жертвою личных врагов или даже просто должников, желавших избавиться от долга. Всеобщая ненависть была так слепа и безумна, что «отец убивал

сына, молящихся отрывали от святынь, убивали подле алтарей.»

Именно в ярости междоусобиц заключается причина особенной жестокости, которою отмечена эта война.

Выше уже упоминалось, что на одиннадцатом году войны афиняне и лакедемоняне заключили союзный договор сроком на пятьдесят лет, обязавшись помогать друг другу в случае вражеского нападения или восстания рабов. Этот мир зовется «Никиевым» — по имени афинского политика и полководца, который энергично содействовал его заключению, а предыдущие годы называют «Архидамовой войной» — по имени спартанского царя, руководившего первыми вторжениями в Аттику. Переговоры начались четырьмя годами раньше, летом 425 года, при следующих обстоятельствах. Афиняне захватили Пилос на юго-западном берегу Пелопоннесского полуострова, примерно в 70 километрах от Спарты, — в ту пору необитаемую гавань, очень богатую лесом и строительным камнем. И захват гавани, и укрепление ее были скорее делом случая, чем дальновидного расчета, но спартанцы страшно встревожились и стянули к возведенному на скорую руку укреплению флот из шестидесяти судов и сухопутное войско. Начальник афинского гарнизона Демосфен поспешно послал за помощью к своим, стоявшим неподалеку с тридцатью пятью боевыми судами. Лакедемоняне надеялись отбить у врага Пилос прежде, чем подспеют на помощь эти корабли, но, на всякий случай, позаботились запереть вход в гавань, отделявшуюся от моря островком Сфактерия; этот островок, густо заросший лесом и необитаемый, перегораживал горло залива, оставляя лишь два очень узких коридора по обоим краям. В каждом из коридоров спартанцы предполагали поместить плотно сдвинутые корабли, носами к открытому морю и неприятелю, а сам остров заняли отрядом тяжеловооруженных пехотинцев — гоплитов, выбранных по жребию из всех подразделений, потому что караульная служба на бесплодном, лишенном воды клочке земли была

обязанностью не из приятных; состав гарнизона регулярно менялся.

Демосфен, в свою очередь, готовился отразить вражескую атаку. Людей у него было мало, а судов — еще меньше, всего три. Вытянув их на берег и поставив как можно ближе к укреплению, он обнес корабли палисадом, гребцов же вооружил щитами, сплетенными из ивы: настоящего вооружения не хватало.

Вооружение афинских гоплитов подразделялось на оборонительное и наступательное. К первому принадлежали металлический шлем с нащечниками и наносником, а иногда и с пластиной, прикрывавшей затылок; панцирь, состоявший обычно из двух выгнутых по форме груди и спины бронзовых пластин и доходивший только до пояса (иногда панцирь изготавливали из кожи или даже льняной ткани с нашитыми сверху металлическими бляшками), и круглый бронзовый (или бычьей кожи) щит диаметром около 90 см; щиты были выпукло-вогнутые, центр наружной, выпуклой поверхности украшали каким-либо символическим изображением, чаще всего — головой мифического чудовища Горгоны, чей взгляд обращал все живое в камень. Ноги воина были совсем открыты, потому что поножи, защищавшие голень, к концу V века почти исчезли из употребления. Наступательное оружие гоплита — двухметровое копьё с ясеневым древком и металлическим наконечником (им никогда не действовали как метательным снарядом, но только как пикою), обоюдоострый меч длиной около 60 см и короткий кинжал.

Тяжелая пехота была основой сухопутного войска. При вступлении в войну Афины располагали 13 000 гоплитов; ими командовали десять таксиархов, т. е. начальников строя, которых выбирал народ в Собрании; строи делились на лохи, начальников которых, лохагов, назначали таксиархи.

Легкая пехота была сравнительно малочисленна и скольконибудь значительной роли в тактических замыслах и решениях не играла. Главное ее отличие от гоплитов — отсутствие оборонительного вооружения, не считая лишь маленького щита. В составе легкой пехоты были отряды пращников, лучников и метателей дротиков.

Легкие пехотинцы набирались из наиболее бедных граждан (и, может быть, отчасти из чужеземцев-метеков). Напротив, в коннице служили лишь самые состоятельные среди афинян, потому что купить и содержать коня и выучиться верховой езде будущий всадник должен был на собственные средства. Вооружение конников состояло из двух дротиков и изогнутого — наподобие сабли — меча. Ни панциря, ни шлема, ни даже щита коннику не полагалось, да и тело лошади ничем не было защищено. Искусство верховой езды было намного сложнее, чем ныне, потому что ни седла, ни стремян древние не знали. Численность афинской конницы во время Пелопоннесской войны — всего 1000 человек. Командовал ею гиппарх, т. е. начальник конников, которого, как и таксиархов, выбирал народ. Всадники отличались не только зажиточностью, но и знатным происхождением, а потому с пренебрежением поглядывали не только на пехотинцев, но и на демократическое государство; они охотно подражали спартанским модам (например, носили длинные волосы) и вообще взирали на Спарту с уважением и одобрением — были «лаконофилами», как тогда говорили.

Воинская служба, которую каждый здоровый гражданин был обязан своему государству, длилась в Афинах 42 года: с 18 до 60. Первые два года юноши (эфебы) находились на казарменном положении — получали обязательную военную подготовку и несли караульную службу в пределах Аттики; мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти образовывали «запас первой категории» и в любой час могли быть мобилизованы для заграничного похода; наконец, самые старшие,

«ветераны», призывались только для защиты собственно Аттики; вместе с эфебами и метеками они составляли своего рода «национальную гвардию», или, скорее, «территориальное войско». В начале Пелопоннесской войны общая численность афинской армии была около 30 000 человек...

Итак, Демосфен разместил большую часть своих людей внутри укрепления, чтобы отражать атаки с суши, а сам с шестьюдесятью гоплитами и десятком лучников спустился на берег, в единственном месте, где можно было ожидать высадки вражеского десанта. Приступ начался. Несмотря на многократное численное превосходство, лакедемоняне не имели успеха. Особенно позорной была неудача, постигшая штурм с моря: сорок три корабля, разбившись на группы (потому что все разом приблизиться не могли — очертания береговой линии не позволяли), непрерывно, волна за волною, пытались сбить с позиции горстку афинян — и не могли. Командир одного из судов, Брасид, видел, что многие рулевые не решаются подойти к берегу, боясь расколоть свой корабль о камни; он закричал, что нечего щадить неприятеля из жалости к бревнам: пусть погибнут все корабли — только бы изгнать захватчиков! Своего рулевого он заставил причалить и сам бросился к сходням, но сойти на сушу не успел: весь израненный, он был отброшен назад и упал без чувств на носу, а его щит соскользнул с руки (левую руку воин продевал в специальную скобу на тыльной стороне щита) и свалился в воду. И хотя потеря щита считалась страшным бесчестием, героизм Брасида оказался для спартанцев единственной отрадою в этом проигранном сражении.

Основным типом военного корабля у греков была триера, т. е. судно с тремя рядами весел. Длина его — примерно 50 м, ширина — меньше 7 м, осадка — около 2 м, водоизмещение — около 250 т. Триеру строили из ели, только киль был дубовый; носовая его часть, совсем прямая, выступала далеко вперед, образуя подводный таран, нередко окованный железом, и силуэт носа, в отличие от новых времен, напоминал вогнутую

дугу или рыло кабана; это сходство усугублялось парюю громадных глаз, которые изображали по обеим сторонам корпуса. Сзади киль изгибался гусиной шеей, поднимаясь до уровня палубы. Корпус обильно смолили: постоянный эпитет для корабля — это «черный». Единственную мачту ставили лишь тогда, когда хотели поднять парус, тоже единственный. Но ветер служил лишь вспомогательным двигателем: основным (а на виду у неприятеля и, тем более, во время битвы единственным) были весла. Команда гребцов насчитывала 170 человек: 62 в верхнем ряду (длина весла около трех метров, труд самый изнурительный) и по 54 в среднем и нижнем; гребцы нижнего ряда работали веслом 1,6 м длиною. Роль уключины исполняла ременная петля. И веслом, и петлею, и кожаной подушкой, предохранявшей ягодицы от потертостей и мозолей, гребец должен был обзавестись за собственный счет. При слаженной и сильной команде триера могла развивать скорость до 10 узлов (18,5 км/ч). Общая численность экипажа триеры — около 200 человек, включая командира (триерарха), рулевого (кормчего), младших офицеров и десятков «морских пехотинцев» в тяжелом вооружении — защиту корабля на случай abordажного боя. В дальних экспедициях к этому десятку добавлялся отряд гоплитов — для боевых действий на берегу.

Должность триерарха требовала не столько умения в морском деле, сколько большого состояния, потому что триерарх получал от государства лишь корпус судна с мачтою, об оснащении же, ремонте, наборе экипажа, снабжении корабля всем необходимым, чтобы триера могла выйти в море в любой миг, заботился сам. Правда, жалование морякам платила казна, но триерархи очень часто щедро приплачивали от себя, и в первую очередь — кормчим, от искусства которых зависел успех битвы, потому что основой морской тактики была маневренность. Хороший кормчий умел расстроить боевую линию врага, а затем, прорвавшись внутрь неприятельской эскадры, врезаться тараном в борт противника. Умел он и превратить чужую

триеру в беспомощную скорлупку: идя вдогонку параллельным курсом, гребцы разгоняли корабль, потом мгновенно убрали вёсла, и кормчий проводил судно впритирку к вражескому борту, ломая носом весла.

Говоря о военных действиях на море, необходимо иметь в виду, что они всегда происходили вблизи и ввиду суши. Моряки регулярно приставали к берегу не только для ночлега, но даже для обеда в полдень.

Численность афинского флота в годы Пелопоннесской войны колебалась между 300 и 400 триерами...

Между тем афинская эскадра вернулась на помощь своим и, воспользовавшись необъяснимою беспечностью лакедемонян, которые именно в этот день оставили незапертыми проходы по краям Сфактерии, стремительно влетела в гавань. Несколько спартанских судов было протаранено и потоплено, полдесятка захвачено в плен, едва-едва не попали в руки врага и все остальные. Это означало разгром не только на море, но и на суше: в безнадежном положении оказался блокированный на Сфактерии гарнизон — четыреста двадцать гоплитов, среди которых были люди из самых лучших и знатных семейств Спарты. Чтобы спасти их от голодной смерти или плена, спартанцы заключили с Афинами перемирие, по которому выдали на время врагу все свои корабли, а за это получили право доставлять на Сфакторию припасы и воду, в Афины же отправились послы для переговоров о мире; по возвращении послов афиняне обязались вернуть спартанцам их суда (всего около шестидесяти) целыми и невредимыми.

Мирные переговоры успеха не имели: чувствуя себя хозяевами положения, афиняне выдвинули неприемлемые для спартанцев условия. Вдобавок, когда послы возвратились и лакедемоняне потребовали назад свои суда, афиняне ответили им отказом, сославшись на то, что они якобы нарушили перемирие, а стало быть, потеряли право на отданные в залог корабли.

Блокада Сфактерии затянулась, вопреки ожиданиям. Дело в том, что спартамцам удалось организовать тайную доставку продовольствия на остров, назначив всем охотникам из числа свободных высокую награду деньгами, а из рабов — освобождение. Добровольцы (преимущественно рабы) либо переплывали гавань под водой (вероятно, с помощью особых приспособлений вроде нынешней маски для подводного плавания), волоча за собою на веревке мешок мака, смешанного с толченым льняным семенем и с медом, либо подходили со стороны открытого моря на лодках, выбирая ветреные ночи, когда вражеским дозорным триерам было небезопасно крейсировать вокруг острова. Воду же для питья, как сообщает Фукидид, осажденные были вынуждены брать из моря.

Впрочем, и осаждающие терпели немалые лишения. Источник пресной воды был только один, да и тот скудный. Большинство воинов разгребало гравий на берегу, добывая скверную, полусоленую воду. Афинские суда не помещались на тесной стоянке, большей их части приходилось бросать якорь за пределами гавани, лишь изредка забирая на суше пищу и воду. Осада продолжалась уже больше месяца, шел к концу июль, и афиняне опасались, что, если враг сумеет продержаться до конца летней кампании, все будет потеряно: либо осажденные бегут, воспользовавшись осенней непогодой, либо афинская эскадра отступит сама, капитулировав перед голодом, жаждою и стужей. Народное собрание в Афинах поручило главарю тогдашних радикалов и «ястребов» Клеону добиться капитуляции Сфактерии любой ценой, и Клеон поклялся исполнить поручение народа не более чем за двадцать дней. Для него это было не столько военной, сколько политической задачей: командование под Пилосом — как дело совершенно безнадежное — Клеону добровольно уступил Никий, главный его противник, возглавлявший «голубей».

Афинские суда часто причаливали к оконечностям Сфактерии для того, чтобы команда могла пообедать; при этом,



разумеется, разжигались костры. Один из таких костров послужил случайной причиной пожара; ветер раздул пламя, и большая часть леса на острове выгорела. Теперь Демосфен мог рассмотреть позиции врага, более точно определить его численность, а стало быть — подготовиться к десанту. И когда прибыл Клеон с небольшим подкреплением, афиняне, в последний раз предложив спартанцам сдаться и не дождавшись ответа, высадились одновременно с двух сторон — со стороны гавани и открытого моря. Ближний к морю сторожевой пост был захвачен врасплох и воины перебиты в своих постелях. Главные силы спартанского отряда, занимавшие срединную и самую ровную часть Сфактерии, афиняне окружили со всех сторон...

Спартанское войско, заслуженно считавшееся лучшим в Греции, состояло из шести мор (частей). Мора делилась на четыре лоха (отряда), лох — на две пентекостии (полусотни), пентекостия — на две эномотии («эномоты» — связавшие себя взаимной клятвой). Численность эномотии колебалась от 32 до 40 воинов. Все это были гоплиты; к ним присоединялись 600 легковооруженных, объединявшихся в особом подразделении, и 300 так называемых «всадников» (на самом деле это тоже были пехотинцы), составлявших почетную свиту и личную охрану царя. Конница у спартанцев появилась лишь в последние годы Пелопоннесской войны.

Кажется невероятным, что такие ничтожные (меньше пяти тысяч воинов) вооруженные силы смогли одолеть Афинскую державу и владычествовать над всею Грецией. Но, во-первых, следует иметь в виду, что любые современные подсчеты весьма проблематичны и неточны. (Некоторые ученые полагают, что число мор надо, по меньшей мере, удвоить.) Во-вторых, Фукидид подчеркивает, что в любой из битв количество лакедемонян оставалось тайною — «по причине скрытности, свойственной их государственному строю». А в-третьих, главная сила спартанцев была в союзниках (некоторые из которых, кстати сказать, имели отличную конницу); недаром, когда, по

несчастной случайности, спартанцы остались под Пилосом и на Сфактерии в одиночестве, поражение оказалось неминуемым.

Спартанские гоплиты отличались от афинских темно-красным плащом (чтобы не было видно крови в случае ранения, как считали древние), и — главное — значительно более легким вооружением. Еще до начала войны в Спарте оценили все неудобства, связанные с тяжестью традиционных доспехов гоплита, и заменили шлем войлочной остроконечной шапкою, а бронзовый панцирь либо сняли совсем, либо заменили войлочным. Спартанский меч был намного короче афинского, щит — украшен буквою Л.

Облегченное оборонительное вооружение давало преимущество в маневренности — как во время боя, так и на марше, — но оно требовало высокой (намного более высокой, чем у противника!) выучки воинов и очень высокого мастерства военачальников: уметь использовать любое преимущество местности, мгновенно реагировать на перемену обстановки, навязывать противнику свой план сражения. Спартанская армия этим требованиям удовлетворяла. У древних был в ходу афоризм, что только спартанцы — истинные профессионалы и мастера войны, все прочие греки — не более чем дилетанты. И первые книги по военному искусству (они появились позже, в IV веке) были созданы на основе спартанского опыта и спартанских воинских наставлений...

Итак, спартанские гоплиты выстроились (обычная глубина строя была восемь шеренг) и бросились вперед, на афинскую тяжелую пехоту, расположившуюся у них перед фронтом. Но стоявшие по флангам отряды лучников, пращников и метателей дротиков засыпали врага своими снарядами, причиняя страшные опустошения, поскольку места для маневра не было, а войлочные панцири и шапки защитой служить не могли. Вдобавок зола и пепел, оставшиеся после лесного пожара, облаком поднялись над спартанцами, закрыв кругозор. Видя, что спартанцы растерялись, и имея многократное численное

превосходство, афиняне и их союзники почувствовали, что страх перед лакедемонянами, считавшимися непобедимыми в пешем строю, рассеивается. Они ринулись в атаку все разом, и спартанцы, израненные, ослепленные пеплом, оглушенные надсадными криками нападающих, кое-как сомкнули ряды и отступили ко второму и последнему сторожевому посту, расположенному на высоком мысу. Здесь позиция была настолько сильной, что окружить неприятеля афиняне не смогли и почти до вечера безуспешно пытались сломить его сопротивление лобовыми ударами, причем обе стороны изнемогали от усталости, зноя и жажды. Лишь незадолго до заката маленький отряд стрелков буквально прополз по отвесным скалам и вышел спартанцам в тыл. Еще немного — и они были бы перебиты все до последнего. Но Клеон и Демосфен предпочитали доставить пленников в Афины. Снова был выслан глашатай, который предложил окруженным сдаться. В ответ большинство их опустило щиты к ногам и принялось размахивать руками — в знак согласия. Лакедемоняне хотели только, чтобы афиняне позволили им спросить совета у начальников в главном лагере, на берегу. Афиняне никого из осажденных не выпустили, но сами вызвали уполномоченных из главного спартанского лагеря. После долгих колебаний те объявили, что гарнизон Сфактерии вправе решать свою судьбу сам. Осажденные посоветались и выдали оружие.

На другое утро победители воздвигли трофей. Это слово (буквально — «обращение врага в бегство») означало у греков памятник, который победитель оставлял на поле битвы (а в случае морского сражения — на берегу) и посвящал богам, даровавшим победу. Трофей представлял собою грудку оружия, снятого с убитых и пленных; нередко «трофейное» оружие развешивали по стволам деревьев. Морской трофей составлялся из носовых и кормовых частей потопленных судов. В память о больших победах, принесших обильную добычу, трофеи воздвигались близ общегреческих святилищ (например, в

Дельфах). Это были уже статуи или целые «мемориальные комплексы» с посвятельными надписями, многие из которых и тогда, и в более поздние времена шокировали сторонников греческого единства, читавших: «Афиняне — по случаю разгрома коринфян» или: «Брасид и аканфяне — по случаю разгрома афинян».

Тела убитых были погребены. С честью похоронить своих павших — первый долг полководца; и столь же обязательный долг — выдать побежденным трупы их товарищей, оказавшихся во власти победителей. Это было одно из древнейших, освященных религией требований международного права. Вот и теперь спартанцы прислали глашатая (парламентера), и он увез с острова сто двадцать восемь погибших бойцов. Какое значение придавали древние греки последним почестям, причитавшимся павшему воину, свидетельствует невероятная, по сегодняшним понятиям, история командующих афинским флотом в битве при Аргинусских островах (406 год). То был один из самых блестящих успехов афинян за все время войны, но победители понесли тяжелые потери. И вот, вернувшись в Афины, командующие не только не получили никаких наград, но оказались под судом и были приговорены к смерти. За что? За то, что не подали помощи тонувшим и НЕ ПОДОБРАЛИ ТРУПЫ, ЛИШИВ ИХ ПОГРЕБЕНИЯ. Как ни оправдывались обвиняемые, ссылаясь на разразившуюся внезапно бурю, народ их оправданий не принял.

Пленных лакедемонян доставили в Афины и заключили в оковы, постановив, что в случае нового спартанского вторжения в Аттику они будут перебиты. Таким образом, они превратились в заложников. С обычными пленными обходились намного более жестоко: либо сразу продавали их в рабство, либо запирали в каменоломнях, а под конец войны, когда взаимное озлобление достигло предела, случалось, что отрубали правую руку или даже казнили всех поголовно. Вот как томилась пленная афиняне в сицилийских каменоломнях:

Громадное множество людей (около 7000), скученное в глубокой и тесной яме, сперва страдало от солнечного жара и невыносимой духоты; потом, когда жар сменился холодом осенних ночей, пошли опасные болезни. Все отправления совершались тут же; тут же громоздились и трупы умерших от ран, от зноя и стужи, от болезней, а потому зловоние стояло нестерпимое. Заключение страдали также от голода и жажды, получая по кружке воды и по горсти муки на день.

(Фукидид)

Едва ли можно предполагать, что участь сиракузян, случайно захваченных афинянами на море и брошенных в каменоломни Пирея, была счастливее.

Лакедемоняне неоднократно посылали послов в Афины для переговоров о возврате пленных. Вдобавок их очень тревожил вражеский гарнизон в Пилосе, составленный из воинов, которые говорили на том же дорийском диалекте, что сами спартанцы. Тем легче было им устраивать набеги, опустошая поля и грабя дома крестьян. Мало того: в Пилос начали стекаться илоты — государственные рабы спартанцев, — а это уже грозило серьезными внутренними потрясениями. Афиняне же, со своей стороны, все прекрасно учитывали и требовали новых и новых уступок.

Летом следующего, 424, года лакедемоняне отправили сильную экспедицию на север, к Фракийскому побережью. Во главе экспедиции стоял Брасид (упоминавшийся выше герой сражения при Пилосе), талантливый полководец и политик. Он действовал очень успешно, покоряя города — и союзные Афинам, и независимые — силою то оружия, то дипломатии. Северный театр военных действий постепенно становился главным, тем более что Фракия поставляла корабельный лес, потеря которого была для морской державы смертельной угрозой. Осенью 422 года Клеон отправляется туда лично, надеясь поправить уже давно неблагоприятное для афинян положение и рассчитывая, возможно, на такой же скорый и

внезапный успех, какого добился на Сфактерии. Поначалу счастье, действительно, ему улыбалось, но, спустя всего месяц, он погиб при заведомо безнадежной, авантюристической попытке отнять у врага город Амфиполь. Афинян и союзников в этой битве пало около шестисот, пелопоннесцев — всего семеро, но среди них был Брасид.

Это сражение оказалось решающим для обеих сторон. Афиняне терпели неудачи уже третий год подряд и начинали опасаться массового отпадения союзников. С другой стороны, гибель Клеона лишила «партию войны» ее вождя и самого энергичного и авторитетного деятеля. Спартанцы по-прежнему стремились освободить своих пленных, по-прежнему страдали от набегов из Пилоса и боялись восстания илотов; не были они уверены и в некоторых союзниках на самом Пелопоннесе — и вполне обоснованно; наконец, приступая к войне, они рассчитывали сокрушить врага за какой-нибудь год-другой, но уже давно поняли, что просчитались.

Брасид в Спарте играл ту же роль главы «военной партии», что Клеон в Афинах, и его смерть облегчила мирные переговоры, которые и завершились благополучно в апреле 421 года. Все захваченное силой — люди, земли, города — подлежало возврату, иными словами, восстанавливался *status quo*. Мир был заключен сроком на пятьдесят лет, но уже в 415 году нарушен фактически, а в 414 — и формально (прямым нападением афинской эскадры на прибрежные владения спартанцев). По сути же дела, состояние всеобщей вражды и подозрительности, взаимные интриги и вооруженные столкновения между греками не прекращались вовсе.

Прежде чем обратиться к событиям второй половины Пелопоннесской войны, полезно хотя бы немного пополнить те отрывочные сведения о военной организации и военном искусстве, которые приведены выше.

Тактика сухопутного боя находилась еще в зачаточном состоянии. Звучала труба, и весь строй гоплитов бегом

устремлялся вперед, чтобы поскорее преодолеть открытое пространство, простреливаемое вражеской легкой пехотой, и чтобы набрать разгон для первого (и часто решающего) удара копья. Во время рукопашной старались сохранить порядок в рядах, но, как правило, безуспешно: общая битва быстро распалась на отдельные поединки. И лишь спартанцы, как уже сказано, в значительной мере превосходили остальных греков: благодаря непрерывным и в высшей степени целесообразным упражнениям, а главное — железной дисциплине, они владели умением коллективных боевых действий, безошибочно приносившим победу в любом регулярном сражении. Так, все прочие летели в атаку сломя голову, разжигая себя яростными криками, а спартанцы умышленно умеряли свой пыл, мерно шагая в такт воинственного марша, который исполняли флейтисты, во множестве размещавшиеся между рядами. Все прочие при сближении с неприятелем растягивали боевую линию вправо, потому что каждый воин инстинктивно стремился спрятать правую, не прикрытую щитом половину тела за щитом соседа, а спартанцы не только умели избежать этого сами, но и обращали себе на пользу дефект в построении противника.

Спартанская воинская дисциплина, привитая всей системой воспитания, предполагала телесные наказания за любой проступок и смертную казнь за невыполнение приказа; о строгости субординации нечего и говорить. У спартанцев, например, были бы совершенно невозможны те «заботливость, великодушие и общительность», которыми, по словам Ксенофонта, отличался сиракузский военачальник Гермократ: во время заморского похода он ежедневно утром и вечером собирал у себя в палатке самых даровитых и сообразительных среди триерархов, кормчих и простых матросов, советовался с ними, открывая свои планы, тренировал их смекалку, предлагая разные тактические задачи.

Впрочем, к концу войны хваленая спартанская дисциплина ослабла, так что дошло даже до солдатских заговоров и бунтов

(правда, среди союзников). В конце лета 406 года на остров Хиос, находившийся в дружественных отношениях со Спартою, прибыла пелопоннесская эскадра. Пока было тепло, матросы и воины кормились дикими плодами, ягодами, овощами, нанимались на полевые работы к местным крестьянам. Но настала зима, и разутые, едва одетые, голодные солдаты оказались в такой крайности, что решили разграбить город Хиос. В заговоре участвовало очень много людей, и начальник эскадры не знал, как поступить: если действовать силой, мятежники могут одержать верх, и даже в случае успешного подавления мятежа дурных последствий не избежать, потому что казнь бунтовщиков отзовется резким недовольством и в их родных городах, и в остальных государствах Пелопоннесского союза — повсюду станут говорить о жестокости спартанцев. Кончилось тем, что он отправился в город с отрядом из пятидесяти земляков, вооруженных короткими кинжалами, и приказал убить первого встречного из числа заговорщиков, благо отличить их было нетрудно: приметой, по которой участники заговора узнавали друг друга, была трость. Спартанцу повезло: первый встречный с тростью не имел ни малейшего отношения к мятежникам, он был просто-напросто полуслепой, нашаривавший тростью дорогу. В городе поднялось смятение, многие спрашивали, за что убили слепца, и начальник эскадры объявил через глашатая — то есть всенародно! — что причиной смерти этого человека была трость в руках. Заговорщики поняли предупреждение и побросали свои трости, а начальник созвал хиосских граждан, объяснил им, какая угроза над ними нависла, и потребовал собрать денег для уплаты жалованья морякам и солдатам, что и было исполнено.

Осада крепостей тоже не успела еще сделаться подлинной наукой или даже мало-мальски твердой системой. Взять приступом хорошо укрепленный город было невозможно. Недаром при неоднократных вторжениях в Аттику спартанцы даже не пытались приблизиться к самим Афинам. Вынудить



осажденных к сдаче могли, как правило, либо голод и жажда, либо измена.

Правда, осадные машины уже существовали, и даже довольно сложные. Вот, например, какой «огнедышащий таран» применили беотийцы при штурме крепостцы, которую афиняне оборудовали в их владениях. Длинное бревно распилили пополам, выдолбили и снова сложили вместе, обив железом изнутри и снаружи. К одному из концов присоединили выдувальную трубу и подвесили на цепях котел, к другому пристроили кузнечные мехи. Котел наполнили тлеющими углями, серою и смолою и подвели к стене (а вернее сказать — к палисаду из брусьев, переплетенных виноградной лозой), а у дальнего конца бревна заработали мехи, подавая воздух в котел. Поднялось пламя, зажгло стену и смело защитников прочь. Таким образом крепостца была взята. Но следует иметь в виду, что она была укреплена наспех, как придется, да еще и земля-то была чужая, только что отбитая у врага. Между тем столь незначительный и малолюдный город, как Платеи, пелопоннесцы держали в осаде два года и взяли только измором, когда все запасы у платеев истощились.

Сперва город обвели частоколом, чтобы никто из осажденных не ускользнул, потом семьдесят дней и ночей без перерыва, посменно, насыпали вал. Но платеев сделали на стене надстройку из дерева и кирпича, разбирая дома по соседству, — и насыпь так и не поднялась выше стены. Затем были подведены подкопы под насыпь, и она оседала по мере того, как осажденные незаметно уносили землю к себе. Затем внутри городских укреплений, напротив вражеской насыпи, возвели еще стену, полумесяцем, — на случай, если пелопоннесцы все-таки прорвутся: тогда они, во-первых, оказались бы под двойным обстрелом (со старой и новой стен разом), а во-вторых — перед необходимостью насыпать еще один вал. Тем временем осаждающие придвинули стенобитные машины, но платеев успешно с ними боролись. Они накидывали веревочные петли

на бревна таранов и отклоняли или, по крайней мере, ослабляли удары, а кроме того, применили «контртараны» — тяжелые брусья на цепях, крепившихся к балкам, выступавшим за край стены; брусья оттягивали вверх, потом отпускали, и, падая, они ломали выступавшую вперед часть машины.

Несмотря на все неудачи, пелопоннесцы еще не отказались от мысли о штурме — ведь у Платей стояло все союзное войско (в том году, 429 до н. э., не было даже вторжения в Аттику, единственная цель летней кампании заключалась в захвате Платей), а защищали город всего-навсего четыреста платейян и восемьдесят афинян; все негодное для участия в войне население загодя вывели в Афины. Последней надеждой осаждающих стал огонь. Они засыпали хворостом пространство между валом и стеною, потом нагромодили хворост горами много выше стен, да еще и за стену набросали, как можно дальше. Когда эта масса горючего материала, щедро сдобренного серой и смолой, вспыхнула, пламя взметнулось так высоко и с такою яростью, что лишь неудержимое бешенство лесного пожара способно, по словам Фукидида, дать какое-то о нем представление. Платейяне, бесспорно, сгорели бы заживо, если бы не гроза с проливным дождем, который быстро погасил огонь.

Эта неудача оказалась решающей, потому что явно свидетельствовала о гневе богов, а война в глазах греков была неотделима от религии: без священных обрядов или санкции свыше не начинались и не завершались ни бой, ни кампания, ни вся война в целом. Спартанцы поняли, что регулярной осады не избежать и окружили Платей двойной (на случай попытки прорвать блокаду извне, из Афин) стеной с башнями и двумя рвами, наружным и внутренним. Довершить дело предстояло времени и голоду.

Прошло, однако, полтора года, прежде чем осажденные отчаялись вконец; в начале 427 года, в самую холодную и ненастную пору зимы, они задумали пробить вражеское кольцо, чтобы всем вместе попытаться уйти в Афины. В ходе подготовки

к вылазке больше половины отступились от общего замысла, находя его слишком рискованным. Остальные приготовили лестницы, дождались дождливой и бурной, безлунной ночи и тронулись в путь. К внутренней стене приблизились незаметно, караульные ничего не видели в темноте и за свистом ветра ничего не слышали. К тому же платяне были обуты только на одну, левую ногу, чтобы босою правой вернее ступать по грязи, не боясь поскользнуться и выдать себя звоном оружия. Лишь тогда стража в башне заподозрила неладное, когда кто-то, взбираясь по лестнице, ухватился за черепицу, сорвал ее и сбросил вниз (пространство между стенами было перекрыто черепичною кровлей). Поднялась тревога, но оставшиеся в городе сделали вылазку с противоположной стороны, отвлекая внимание пелопоннесцев, и большинство благополучно миновало укрепление и добралось до внешнего рва. Тут их настиг отряд из трехсот воинов. Беглецы отбились довольно легко, потому что преследователи держали в руках факелы и представляли собою отличную цель для тех, кто метал из темноты стрелы и дротики. Самым трудным препятствием оказался ров. Платяне надеялись, что вода в нем замерзла, но задул теплый восточный ветер и разрыхлил лед, а поверху намел снега, так что воины проваливались чуть ли не с головой. Уйдя благодаря обманному маневру от погони, беглецы достигли Афин, в общем — с небольшими потерями.

Те же, кто оставался в городе, продержались еще более полугодом и капитулировали только в августе.

Сочинения древних историков полны увещательных речей, с которыми полководцы обращались к воинам перед сражением. Современному читателю подобные речи с их риторическими красотами кажутся чистой фикцией, художественным приемом историографа, и отчасти это верно. Но нельзя забывать, что войско было мизерно малочисленным в сравнении с сегодняшними масштабами и что настроение умов определялось полисным жизневосприятием. Главнокомандующий знал

каждого из командиров, старших и младших, и если не каждого, то очень многих среди рядовых бойцов в лицо, по имени и отчеству, по прежним заслугам. Призывы защищать родную землю, собственную свободу и свободу своих жен и детей, алтари богов и могилы предков были не «общими словами», но вполне конкретными в любом отдельном случае напоминаниями: битва, проигранная сегодня, означала завтрашнее — буквально! — рабство, поголовную резню, разрушение домов, осквернение храмов. Наконец, ограниченный характер боевых операций и высокий интеллектуальный уровень воина-гражданина позволяли командующему объяснить общий замысел всей операции и ее значение для будущего развития событий. Иными словами, увещательная речь сочетала в себе начала чисто личные, душевные, почти интимные с общезначимыми, содержала не только тактическую, но и стратегическую задачу. Отсюда, по-видимому, ее неизменная действенность: она внушала и доверие к начальнику, и уважение к самому себе, к своей роли в будущем бою, и чувство ответственности за судьбу всех сограждан, совершенно неотделимую от собственной судьбы. Фукидид сообщает:

Никий убеждал каждого не забывать своих собственных заслуг, не позорить древней доблести своих предков, помнить о родине, ...где каждый пользуется ничем не ограниченной возможностью жить по своей воле. Напоминал он и о многом другом, о чем всегда говорят в столь решающие минуты, не тревожась, что кое-кому могут показаться устаревшими подобные речи, при всех случаях одинаковые: он говорил о женах, о детях, об отеческих богах...

Это и вполне правдоподобно, и логично, и психологически оправданно.

Сообщение Фукидида относится уже ко второму периоду войны, именно — к самому драматическому его эпизоду, к

Сицилийской экспедиции, которую тот же Фукидид определяет так: «Это было важнейшее военное предприятие не только за время всей войны, но, как мне представляется, во всей греческой истории».

Старейшие из греческих колоний на Сицилии и в Южной Италии насчитывали уже три века своего существования. И, как водится между соседями, не ладили друг с другом. С началом Пелопоннесской войны афиняне решили вмешаться в их раздоры, чтобы помешать снабжению Пелопоннеса сицилийским хлебом, а может быть, и подчинить своему влиянию весь остров. Осенью 427 года они отправили флотилию на помощь Леонтинам, враждовавшим с Сиракузами: леонтинцы были того же ионийского племени, что и афиняне, а сиракузяне — дорийцы, выходцы из Коринфа, и потому считались союзниками Спарты, хотя никакого участия в войне не принимали. С той поры сицилийцы воевали три года непрерывно, пока в июле 424 года делегации всех городов острова не собрались вместе, чтобы решить все споры разом. На этом конгрессе произнес замечательную речь уже упоминавшийся выше сиракузянин Гермократ. Он сказал, что важнейший вопрос, который необходимо обсудить, — это не взаимные претензии, но спасение Сицилии от афинян. Нелепо предполагать, будто они ненавидят дорян и покровительствуют ионянам; у них одна задача — воспользовавшись междоусобицами сицилийцев, завладеть всеми богатствами острова, кому бы они ни принадлежали. Нужно забыть об обидах, о справедливой мести, о собственной силе, которая служит таким источником соблазна, когда сосед слаб, забыть до тех пор, покуда не рассеялась главная угроза — афинское ярмо. «При случае, — закончил Гермократ, — мы снова будем и воевать друг с другом, и мириться, но только между собою... А чужеземных пришельцев всегда будем отражать общими силами, потому что беды, которые они приносят отдельным городам, подвергают общей опасности всех нас...»

Оказались ли сицилийцы достаточно разумны, или так сложились обстоятельства, или еще по какой-либо причине, но общий мир был заключен. Начальники афинского флота, крейсировавшего у берегов Сицилии, согласились с условиями договора и увели свои суда в Афины. Тут-то и обнаружилось, насколько верно угадал Гермократ истинные намерения чужеземных благодетелей и защитников справедливости: двое из трех начальников были приговорены к изгнанию, а третий — к крупному штрафу за то, что упустили возможность покорить Сицилию. Нелишне, однако же, напомнить, что это было на другой год после капитуляции спартанцев на Сфактерии, то есть на самом гребне военных успехов, когда все казалось достижимым, а любая неудача или просчет — преступной халатностью или даже изменой.

Затем пошла полоса неудач, заставивших забыть о Сицилии. Но нескольких лет относительного покоя оказалось довольно, чтобы идея новых авантур за морем приобрела неотразимое очарование, и афиняне с охотой отозвались на просьбу о помощи, с которой к ним обратилась Эгеста (город на западной оконечности Сицилии), — в прямое нарушение общего договора 424 года. В марте 415 года Народное собрание постановило отправить в Сицилию флот для борьбы против Селинунта, соседа и врага Эгесты, а главное — чтобы устроить дела Сицилии в согласии с интересами и выгодами афинян. Во главе новой экспедиции народ поставил стратегов Алкивиада, Никия и Ламаха. Никий, избранный против своей воли, всячески отговаривал сограждан от этой авантюры, предупреждая, что спартанцы не преминут возобновить войну, как только боевая мощь афинян окажется расщепленной надвое, что вся Сицилия может встать на сторону пелопоннесцев, если счастье не будет сопутствовать афинянам с первого же мига, указывая на чисто военные трудности, поскольку объединенные силы потенциальных врагов на Сицилии не уступали афинским и даже превосходили их, особенно в коннице, а одним только

флотом обойтись было нельзя. Напрасные уговоры! Народ желал войны единодушно — и старики, к благоразумию которых безуспешно взывал Никий, и молодежь; все твердо верили в победу и обширные завоевания (кто знает, не последует ли за Сицилией и Африка?), всеми владело жгучее любопытство и жажда наживы, о смерти же и ранах не вспоминал никто. Это был какой-то массовый психоз, и едва ли Алкивиад разжег его (как подозревал Никий), скорее уж — воспользовался им.

Алкивиад был, по афинским понятиям, очень молод для столь важного поручения — ему исполнилось 35 лет — и принадлежал к древнему аристократическому роду, что не могло не вредить ему в условиях радикальной демократии. Вдобавок он был печально знаменит крайней расточительностью, разнузданностью, властолюбием, тщеславием; мало кто не знал или хотя бы не догадывался, что с походом в Сицилию он связывает сугубо личные планы — возвыситься, обогатиться... И если, тем не менее, весной и летом 415 года афиняне слепо следовали за Алкивиадом, очарованные его самоуверенными и циничными речами, сулившими легкую победу, это свидетельствует не только о необычайной одаренности и колдовском обаянии этого человека, но и о серьезном душевном недуге целого государства.

Подготовка к походу была в разгаре, когда по всему городу вдруг, в продолжение одной ночи, были изуродованы гермы, т. е. каменные столбы, венчавшиеся головой бога, чаще других — бога Гермеса. Гермы, по верованию греков, обладали апотропической (обороняющей против злых духов) силою и ставились примерно так, как распятия в католических странах, — на дорогах, перекрестках, площадях, у городских ворот, у входа в частные дома, на храмовых дворах и т. д. Этот акт массового кощунства вызвал всеобщий страх и негодование: в нем усматривали не только дурную примету для будущего похода, но и заговор против демократии. Было начато следствие, и поступили доносы на знатную молодежь, которая прежде, пьяной забавы ради, калечила священные статуи и разыгрывала шутовские пародии

на священнодействия. В числе прочих называли Алкивиада. Его враги (лидеры радикальной демократии) не преминули подхватить и раздуть эти довольно шаткие обвинения, не имевшие, вдобавок, прямого касательства к совершившемуся. Алкивиад потребовал немедленного разбирательства и суда, чтобы ему не отплывать за море, отягощенному грузом клеветнических обвинений, и чтобы клеветники в его отсутствие не обморочили афинян окончательно: пусть его лучше казнят немедленно, если он виновен. Но враги прекрасно понимали общее умонастроение и не сомневались, что народ оправдает Алкивиада независимо от того, есть ли на нем вина или нет: до тех пор, покуда он в Афинах, массовый гипноз продолжается, а стало быть, прежде всего необходимо выпроводить «мальчишку». И они добиваются своего — всеми правдами и неправдами внушают народу, что задерживать экспедицию ни под каким видом не следует и что суд надо отложить.

В середине июня, примерно через три недели после кощунства над гермами, громадная афинская эскадра (не менее ста триер) покинула Пирей, чтобы сперва соединиться с кораблями союзников у острова Керкира, а затем вместе плыть к берегам южной Италии и дальше, в Сицилию. На проводы вышел весь город, и, по-видимому, это было самое блестящее зрелище, какое наблюдали афиняне за все время войны, самое обнадеживающее и, вместе, самое тревожное, потому что мощь и изобилие, открывавшиеся взору, твердо обещали победу, но гибель всей этой мощи (а страх перед поражением все же гнезвился где-то на дне души) означала бы непоправимую катастрофу.

Всего от Керкиры отчалило сто тридцать шесть боевых судов, на которых, кроме обычного экипажа, было больше пяти тысяч гоплитов (из них афинских — две тысячи триста) и тысяча четыреста легковооруженных пехотинцев. По нынешним представлениям, это пустяк, но Фукидид утверждает, что никогда еще столь многочисленное греческое войско не отправлялось



за море на столь долгий срок с такими обширными и далеко идущими планами.

Между тремя стратегами сразу же возникли разногласия. Никий предлагал строго придерживаться официально объявленной цели — помочь эгестянам против Селиунта и тут же возвратиться домой, ограничившись «демонстрацией силы», которая внушила бы всем сицилийским и южно-италийским городам страх перед Афинами. Алкивиад же, имея в виду истинную цель экспедиции, говорил, что надо первым делом постараться рассорить сиракузян с их союзниками, а потом нанести удар по Сиракузам, сильнейшему государству Сицилии, единственно способному к настоящей борьбе. Третий стратег, Ламах, поддержал Алкивиада, и первые шаги в этом направлении были уже предприняты, когда в главный лагерь экспедиции явились гонцы от афинских властей с приказом доставить на суд Алкивиада и нескольких человек из его ближайшего окружения. В отсутствие Алкивиада враги в Афинах быстро убедили народ, что он злейший противник демократии, спартанский агент и, конечно, повинен во всех кощунствах. Прямых или мало-мальски надежных косвенных доказательств, правда, по-прежнему не было, но теперь в них не было и нужды: ослепление любви к Алкивиаду уступило место столь же слепой ненависти к нему.

Алкивиад повиновался и отплыл в Афины под надзором прибывших за ним гонцов, но дорогою бежал, добрался до Пелопоннеса и получил убежище в Спарте. Афиняне заочно приговорили его к смерти, и, услышав об этом, он воскликнул: «Ну, они у меня узнают, что я еще жив!» И действительно, если сегодня смешно звучит утверждение, будто изгнание одного человека решило судьбу афинян в Сицилии и вообще исход войны, то нельзя отрицать и того, что переход Алкивиада на сторону спартанцев — переход вынужденный, это важно подчеркнуть! — имел весьма существенные последствия.

Алкивиад был отозван в сентябре 415 года. Его внезапное исчезновение, по-видимому, смешало планы стратегов, и афинское войско появилось под Сиракузами лишь в самом конце ноября. Одержав победу в сухопутном сражении, афиняне вернулись в свой стационарный лагерь, не оставив у стен Сиракуз даже караульного поста; но сиракузяне понимали, что это только начало, и принялись восстанавливать и расширять городские укрепления, а главное — послали просить помощи у спартанцев. Спартанцы не сомневались, что помочь Сиракузам надо, но, по своему обыкновению, медлили, и тут, по-видимому, энергия Алкивиада сыграла решающую роль. Он доказал лакедемонянам, что Сицилия — лишь трамплин для прыжка на Пелопоннес, и убедил их не только отправить сиракузянам войско и опытного полководца, но и возобновить военные действия в самой Греции, причем действовать по-новому: до сих пор спартанцы вторгались в Аттику на короткий срок, Алкивиад предложил им обосноваться на вражеской земле, укрепив городок Декелею (километрах в двадцати к северу от Афин), и утверждал, что это принесет афинянам страшные бедствия. И правда, с тех пор как в летнюю кампанию следующего, 413, года войско пелопоннесцев обнесло Декелею стеной и там разместился регулярно сменявшийся гарнизон, разграбление полей сделалось непрерывным и круглогодичным, т. е. афиняне фактически лишились всей своей территории, кроме города и порта. Больше двадцати тысяч рабов бежали, и в результате замерли работы в государственных серебряных рудниках и в некоторых частных мастерских. Весь мелкий и крупный скот погиб. Доставка продовольствия и всех прочих припасов резко затруднилась. Афиняне оказались на положении осажденных, между тем как сами упорно осаждали вражеский город за морем. Не случайно весь второй период Пелопоннесской войны назван по имени Декелей — Декелейская война.

Осада Сиракуз началась весной 414 года, и кольцо осадных сооружений уже почти замкнулось, когда прибыл спартанец Гилипп с небольшим отрядом, а следом — эскадра спартанских союзников, и счастье изменило афинянам. Гилипп сумел вновь воодушевить совсем уже было отчаявшихся сиракузян; они разбили афинян в сухопутном бою, не дали им завершить окружение города, оснащали суда и готовили для них экипажи, а главное — подняли против афинян большую часть сицилийских городов и племен. Никий написал в Афины, как обстоит дело, и просил подкреплений. В марте следующего года, в самом начале навигации, в Сицилию были отправлены еще шестьдесят афинских триер и тысяча двести гоплитов под командованием Демосфена, которому предстояло заменить убитого в сражении Ламаха. Но пока Демосфен добирался до места своего назначения, сиракузяне нанесли афинянам еще одно поражение на суше и даже отважились вступить в бой с непобедимым афинским флотом, правда — неудачно. Неудача их не обескуражила: не прошло и полутора месяцев, как сиракузяне снова атаковали на суше и на море одновременно. На этот раз они приготовились много лучше. Так как теснота гавани лишала афинян свободы маневрирования (а выходить за пределы гавани сиракузяне не желали и имели возможность навязать свою волю противнику), а к лобовым столкновениям афинские триеры приспособлены не были, сиракузские корабельных дел мастера укоротили и укрепили носовые тараны, чтобы можно было наносить фронтальные удары, проламывая корпус вражеского судна не сбоку (как обычно действовали афинские кормчие), а спереди. Вдобавок, несмотря на трехдневные предварительные стычки, решающее нападение сиракузян оказалось до известной степени неожиданным. В результате семь афинских судов были потоплены, многие повреждены и нанесен значительный урон в людях.

Примерно две недели спустя прибыл, наконец, Демосфен, увеличивший по пути численность одной только тяжелой

пехоты до пяти тысяч. Вид нового афинского войска, силой и снаряжением не уступающего первому, мигом привел сиракузян в отчаяние, а Никия и его подчиненных — в восторг. Но и отчаяние и восторг были преждевременны. Демосфен решил действовать энергично и либо взять в кратчайший срок Сиракузы, либо увести экспедиционный корпус домой — и был разбит в первом же бою. Сразу после этого, на военном совете, он предложил снять осаду и отступить. Никий возражал, не только потому, что знал о тяжелом положении осажденных и о сильной про-афинской партии в их среде, надевавшейся сдать город, но, вероятно, прежде всего из страха перед согражданами, которые непременно обвинили бы возвратившихся ни с чем полководцев в измене и продажности. «Если уже гибель неизбежна, — говорил он, — лучше пасть от руки неприятеля, чем жертвою позорного и клеветнического обвинения.» Пока афиняне медлили в нерешительности, к сиракузянам явилось новое подкрепление с Пелопоннеса. Теперь уже и Никий жалел, что не согласился с Демосфеном. Все было готово к отплытию, как вдруг случилось лунное затмение. Никий, отличавшийся крайней суеверностью, объявил, что это дурной знак свыше, и что раньше чем через двадцать семь дней (то есть до истечения полного лунного месяца) об отправлении нечего и думать.

Сиракузяне поняли, что враг внутренне капитулировал, и горели желанием добить его во что бы то ни стало. Спустя неделю после затмения они дали афинянам еще одну морскую битву и, хотя уступали врагу числом судов, снова остались победителями, захватив в плен восемнадцать кораблей и несколько пустив ко дну. Афиняне окончательно пали духом, а сиракузяне заперли выход из гавани, чтобы всю афинскую армию принудить к сдаче. Тогда осаждающие, превратившись внезапно в осажденных, приготовили к плаванию все мало-мальски держащиеся на воде суда — 110 кораблей, — чтобы прорвать блокаду. На берегу остались только больные, раненые и гарнизон для их охраны. Битва, состоявшаяся через четыре дня

после предыдущей, была, пожалуй, самой ожесточенной за все время войны. Она завершилась полным разгромом афинян. Все, кто уцелел, побросали свои суда и искали спасения в лагере.

У афинян было еще 60 кораблей, годных для плавания, и Демосфен предложил сделать новую попытку вырваться из гавани. Но гребцы были до того напуганы, а дисциплина до такой степени пала, что они просто-напросто отказались взойти на борт. Тогда решили отступить сушей. Сиракузяне, предвидя это, расставили заслоны и караулы на всех дорогах и переправах.

Девятого сентября 413 года, через день после заключительного поражения в гавани, около сорока тысяч человек покинули лагерь. Это было страшное зрелище. Повсюду валялись непогребенные трупы, и многие с ужасом видели тела своих родственников и ближайших друзей и, однако же, проходили мимо. Еще больше жалости вызывали раненые и больные. Они умоляли уходивших не бросать их, хватали товарищей по палатке за руки, за платье, волочились за ними, пока позволяли силы; когда же силы иссякали, падали на землю с проклятиями, с душераздирающими воплями. И все войско рыдало в отчаянии, покидая эту вражескую ненавистную землю с таким трудом, будто расставалось с любимым отечеством. Никий пытался как-то ободрить своих людей, напоминая им, как их много, и как они еще грозны для противника, и что только собственное мужество спасет их от гибели. Но войско было уже окончательно деморализовано, съестных припасов оставалось в обрез, сиракузяне преследовали беглецов по пятам и непрерывно тревожили нападениями со всех сторон. 13 сентября афиняне, стремясь оторваться от преследователей, развели на своей стоянке побольше огней и тайком двинулись в путь. Отряд под командованием Никия ушел далеко вперед, отряд Демосфена отстал и разбрелся. Враги легко настигли его, окружили и целый день обстреливали из луков, а к вечеру предложили сдаться на том условии, что никто не будет предан

смерти каким бы то ни было образом — через казнь, заключение или лишение воды и пищи. И условие было принято: шесть тысяч воинов сложили оружие и отдали победителям все наличные деньги, бросая монеты в опрокинутые щиты и наполнив четыре щита доверху.

На другой день сиракузяне настигли и Никия, и сделали ему то же предложение, что и Демосфену. Никий пытался выдвинуть свои условия, Гилипп их отклонил; враги окружили отряд и обстреливали его до вечера, так же как накануне — отряд Демосфена. Ночью афиняне попытались незаметно сняться со стоянки, но сиракузяне мигом преградили им дорогу, и они оставались на месте до утра. С рассветом движение возобновилось. Афиняне спешили к ближайшей реке; их мучила жажда, а вдобавок они почему-то рассчитывали, что река ляжет преградой между ними и неприятелем. Достигнув берега, они беспорядочно кинулись в воду, а сиракузяне обстреливали их отовсюду и теснили с тыла, затрудняя переправу. Афиняне падали друг на друга, топтали упавших, натыкались на ные копья, их уносило течением. Между тем враги были уже на противоположном обрывистом берегу; одни осыпали сверху стрелами толпу афинян, жадно припавших к воде, другие скатились вниз и начали резню в самой реке. Тотчас вода смешалась с грязью и кровью, но афиняне продолжали пить и дрались друг с другом, пробиваясь к воде. На обоих берегах и в русле громоздились уже горы трупов, когда Никий наконец сдался Гилиппу безоговорочно — лишь бы прекратить эту чудовищную бойню. Большая часть отряда Никия погибла, многие были пойманы и проданы в рабство тайком, и лишь незначительное число военнопленных было присоединено к тем, кто сдался накануне. Пленных, как уже упоминалось выше, сиракузяне спустили в каменоломни, чтобы затем продать в рабство или отпустить за выкуп, а обоих стратегов, вопреки протестам Гилиппа, казнили.

Так завершилась Сицилийская экспедиция.

Несмотря на катастрофический характер поражения, война на этом не кончилась. Враги не решились сразу же двинуться на Афины, союзники не изменили все до последнего (чего афиняне особо опасались). Борьба продолжалась еще восемь лет, и Афины одержали еще не одну победу, пока в сентябре 405 года не потеряли боевой флот целиком в сражении при устье речушки Эгоспотамы, впадающей в Геллеспонт (нынешние Дарданеллы). Еще около полугода тянулись мирные переговоры (а город тем временем задыхался в осаде и умирал голодной смертью), и в апреле 404 года афиняне согласились на все требования спартанцев. Они выдали уцелевшие от гибели корабли, за исключением двенадцати, срыли до основания Длинные стены и укрепления Пирея и отказались от власти над союзниками. Но, хотя эти восемь с половиною лет так плотно наполнены всевозможными событиями, все события предопределены сицилийской катастрофой. Она сломала хребет Афинской державе, и не только (а может быть, и не столько) потому, что подорвала ее военную и экономическую мощь, но и по причинам политическим. Безраздельному господству демократии настал конец, мирное соперничество различных группировок и направлений в Афинах сменилось настоящей внутренней войной, с заговорами, убийствами, переворотами, казнями политических противников. Иначе говоря, тот гражданский характер, который присущ Пелопоннесской войне в целом и который находил свое выражение в бедствиях типа описанной выше смуты на Керкире, обнаружил себя в самом сердце демократического лагеря, тогда как олигархическая Спарта сохранила внутреннее единство. Протест против авантюризма радикальной демократии привел, в конечном счете, к крушению всего строя, который принято называть античной демократией.

## ГЛАЗАМИ ПЕРИКЛА

Самый знаменитый из портретов античной демократии, написанных ее современниками, — это речь Перикла на погребении воинов, павших в первые месяцы Пелопоннесской войны. Убитых бойцов всегда хоронили за государственный счет, на особом государственном кладбище, и назначенное от государства высокопоставленное лицо произносило надгробное слово, эпитафий.

Эпитафий Перикла, который приводит в своем сочинении Фукидид, всегда привлекал внимание и ученых, и просто читателей. Среди многих вопросов и недоумений, которые он вызывает (подлинность или фиктивность, авторство, время создания, ориентированность, подспудный смысл и т. п.), для целей этой книги важен, пожалуй, только один, и, вероятно, самый несложный: в какой мере торжественная похвала Афинам, вложенная Фукидидом в уста Перикла, отвечает действительности? И другой вопрос, производный от первого: обо всем ли сказал Перикл, и если что-то пропустил, то чего именно он не заметил или не пожелал заметить?

Итак, эта глава должна показать внутреннюю жизнь Афин в разных ее аспектах. А так как Перикл все время, иногда открыто, но чаще намеком, внутренне противопоставляет Афины Спарте, есть возможность бросить взгляд и на государство лакедемонян.

Наш государственный строй... зовется демократией, потому что в государственных делах участвует не меньшинство, а большинство граждан; но если в частных



спорах всем предоставлены равные права, в согласии с законом, то общественные обязанности предпочтительно возлагаются на человека в согласии с его личными заслугами, достоинствами и доброю славой, а с другой стороны, сопряженная с бедностью скромность положения — не препятствие для того, кто способен сослужить государству добрую службу... Богатство мы используем как удобное орудие для работы, а не как повод для хвастовства, и признание в бедности ни для кого не позор, зато страшный позор — сидеть сложа руки, смирившись с бедностью. Одни и те же люди несут заботы как о собственных, так и об общих делах, и, хотя у каждого свое занятие, в искусстве управления достаточно сведущи все. Да, ибо только мы считаем человека, всему этому чуждого, не смиренным, а совершенно никчемным...

Основной приметой афинского демократического строя выступает здесь равенство — равные шансы и возможности для всех граждан, независимо от происхождения и имущественного положения. И действительно, именно в этом направлении развивалась афинская демократия от реформ Солона (начало VI века) до своего «золотого века», века Перикла.

Единственным источником власти в Афинах было Народное собрание, т. е. совокупность всех взрослых (старше двадцати лет) полноправных граждан. Число их достигало 40 000, и легко понять, что не все и не всегда имели возможность являться в Собрание, особенно — крестьяне, которые часто не могли бросить свои поля, сады или стада. Война и разорение Аттики резко увеличили городское население, но так как разорившиеся крестьяне должны были трудиться, чтобы не умереть с голоду, участие в Собрании, тянувшемся нередко от восхода до заката, означало для них потерю рабочего дня; а созывалось Собрание не реже четырех раз в месяц. Нет ничего удивительного, что городским полицейским приходилось загонять граждан на площадь Собрания силой и что властям пришлось ввести плату для тех, кто явился, чтобы составить

необходимый кворум (6000 человек). В этой плате нередко видят грубый подкуп черни; и действительно, люмпенов в Афинах было более чем достаточно. Но, с другой стороны, без такой оплаты, хотя бы минимальной, бедные граждане фактически отстранялись бы от управления государством и демократия обратилась бы в плутократию — власть богатых.

Территориально Аттика (включая и сами Афины) разделялась на десять фил («корней», или «племен»), филы — на демы («народы», «общины»), а демы — на фратрии (группы, объединявшиеся, по крайней мере первоначально, кровным родством). И филы и демы созывали свои собрания и выбирали должностных лиц для управления общим имуществом и общими делами, обыкновенно — сроком на один год. В руках демарха (главы дема) находились гражданские списки; вероятно, поэтому каждый афинский гражданин официально назывался тремя именами — собственным, именем отца и именем своего дема. Например: Сократ, сын Софрониска, из дема Алопеки.

Итак, афинская демократия была прямой на всех ступенях управления.

Дела на рассмотрение Народного собрания представлял Совет пятисот, нечто вроде президиума Собрания. В Совет выбирали по филам — по пятидесяти человек от каждой филы — и каждая фила (точнее — выборные от нее) исполняла обязанности «дежурного президиума» на протяжении одной десятой части года. Такое дежурство называлось пританией, а дежурные члены Совета — пританами. Пританы выбирали из своей среды председателя, эпистата, каждый день другого. Эпистат исполнял свои обязанности от заката до заката и был в течение суток подлинным главой государства — председательствовал в Собрании, хранил ключи от казны и т. д.

В Совет выбирали по жребию. Каждый гражданин старше тридцати лет мог выставить свою кандидатуру. Имена кандидатов писали на глиняных табличках и складывали в сосуд, а в другой сосуд насыпали столько же бобов, причем белых бобов

было пятьдесят, остальные — черные. Одновременно вынимали табличку и боб, и если боб был белый, лицо, указанное на табличке, считалось избранным.

Афинянин не имел права занимать должность члена Совета более двух раз на протяжении всей жизни. Желающих баллотироваться было тоже не слишком много, поскольку надо было оставить собственные дела на целый год, а вознаграждение не превышало и половины заработка хорошего мастерового. Это значит, что при желании любой из граждан мог рассчитывать на избрание в Совет. И, поскольку эпистаты, также избравшиеся по жребию, сменялись ежедневно, без права быть избранными в другой раз, любому из граждан открывалась вполне реальная возможность занять «президентское кресло» хотя бы на один день в жизни.

На Совете, точнее — на пританах лежал высший надзор за делами в государстве, которыми практически заведовали различные должностные лица, объединявшиеся в коллегии. Обыкновенно коллегия состояла из десяти членов — по одному от филы — избравшихся сроком на год посредством жеребьевки, то есть участие в исполнительных органах было таким же общедоступным, как в законодательных.

Среди гражданских властей высшими были архонты (буквально — «правители»), среди военных — стратеги (буквально — «воеводы»). Между обязанностями архонтов главными были судебские и прокурорские; стратеги командовали армией и флотом, но могли также, от имени государства, вести переговоры с неприятелями и союзниками, иными словами — не были чужды и внешней политики. Стратеги избирались не по жребию, а Народным собранием и могли переизбираться сколь угодно часто, хоть ежегодно: тут полагаться на волю случая считалось чересчур опасным.

Но в остальном выбор по жребию отдавал афинян во власть слепого случая, и, прекрасно это сознавая, они принимали все меры, чтобы застраховать себя от такой случайности, которая

могла бы обернуться трагедией. Первою из этих мер была коллегиальность всех должностей. Далее, всякий избранный, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, должен был пройти испытание — докимасию. Так, будущих членов Совета испытывал Совет текущего года. Выход из должности (особенно должности, связанной с материальной ответственностью или исполнительными полномочиями) сопровождался сдачей отчета, напоминавшей судебное разбирательство и весьма нередко оканчивавшейся строгим наказанием. Наконец, той же цели — защите демократии от недобросовестных вожаков — служил остракизм, то есть «суд черепков». Любой выдающийся политик или военачальник, который внушал подозрение, что он способен злоупотребить доверием народа, или что он чересчур честолюбив, или что пользуется чересчур большим авторитетом, мог быть изгнан из Афин без всякого обвинения.

Суд (рассказывает писатель II века н. э. Плутарх, — *III. М.*) происходил так. Каждый, взяв черепок, писал на нем имя гражданина, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем нес к определенному месту на площадь, обнесенному со всех сторон оградой. Сначала архонты подсчитывали, сколько всего набралось черепков: если их было меньше шести тысяч, остракизм признавали несостоявшимся. Затем все имена раскладывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшее число раз, объявлялся изгнанным на десять лет без конфискации имущества.

Все, что изложено выше, вполне отвечает безоблачной картине, набросанной в Перикловом эпитафии. Но действительность, разумеется, была далеко не столь безоблачна.

Начать с того, что если в маленькой общине каждый не только хочет, но и может служить общему делу на любом посту, то управление «суперполисом» требует специальных познаний и навыков, и не только тогда, когда речь идет о руководстве

военными действиями. Если должность мало-мальски ответственная — будь то судебная, или полицейская, или административная, или строительная, или еще какая-либо — доставалась по жребию человеку малограмотному и если таких малограмотных в коллегии набиралось большинство, то «избранники народа» оказывались игрушками в руках секретарей и писцов, людей безвестных, нередко государственных рабов, очень часто взяточников, и «власть народа» оборачивалась фикцией.

Докимасия достигала своей цели далеко не всегда. Испытание предполагало не проверку способностей кандидата к исполнению должности (знание законов, правил делопроизводства и т. п.), но было формальным по преимуществу: внесено ли имя испытуемого в гражданские списки, достиг ли он требуемого законом возраста (возрастной ценз), хорошего ли он поведения. При этом и последний пункт носил характер формального экзамена на благонадежность; следовало выяснить, чтит ли избранный отеческих богов, исправно ли исполняет воинский долг и податные повинности, оказывает ли должное уважение родителям. Надо ли оговаривать особо, что исправный налогоплательщик и хороший семьянин может быть никуда не годным судьей или ревизором?

Бывало нередко, что докимасия превращалась в своего рода тяжбу. Любой гражданин мог потребовать слова, чтобы «заявить отвод» кандидату, тот, в свою очередь, получал слово для оправдательной речи. При обилии должностей, сопряженных с докимасией, и вошедшей в пословицу страсти афинян к сутяжничеству (об этом — ниже) открывалась возможность не только для пустых, хотя и эффектных словопрений, собиравших массу праздных любителей скандала, но и для клеветы, шантажа, вымогательства. Еще больше возможностей в этом же роде доставляли отчеты при выходе из должности.

Также и остракизм потерял свой первоначальный смысл ко времени Пелопоннесской войны. По замыслу законодателя, это было не наказание, а лишь предупредительная мера, и как ни

тяжело приходилось изгнанному, он мог утешаться мыслью, что вошел в число самых мудрых, самых влиятельных и ЛИШЬ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ потенциально опасных для демократии граждан. Недаром, возвращаясь, такой изгнанник восстанавливался во всех правах и получал обратно свое имущество. Межпартийная борьба сумела использовать в своих интересах и остракизм. В 417 году изгнанным оказался малозначительный демагог Гипербол, который всячески разжигал вражду между Никием и Алкивиадом, рассчитывая, что, если дойдет до остракизма и один из противников окажется вне пределов Афин, это усилит его собственную позицию. Но враги вступили в тайный сговор, и обе партии дружно написали на остраках имя Гипербола. Этот циничный сговор и смехотворный результат оскорбили народ, и остракизм был выведен из употребления.

И отношения между достатком и бедностью были далеки от гармонической схемы Перикла: неимущий равен богатому политически и бодро трудится, чтобы сравняться с ним и экономически. Самые авторитетные теоретики государства, Платон и Аристотель, изображают дело совсем по-иному: каждый город разделен надвое: богачи и бедняки, хоть и живут на одной земле, постоянно злоумышляют друг против друга, и кто возьмет верх, тот навязывает врагу ненавистный ему образ правления, бедняки — демократию, богачи — олигархию. Так судили сами древние. При всей приблизительности неточности такого суждения античная демократия афинского типа в общем ему не противоречит. Она была действительно властью демоса, а демос в Афинах времен Пелопоннесской войны — по преимуществу люмпены, городская «чернь» и разорившиеся крестьяне, люди, потерявшие вкус к труду или никогда его не имевшие. Эта часть граждан составляла основу военного могущества Афинской державы, потому что из них, бедных и беднейших, набирались экипажи для триер. Их интересы и оберегала демократия. Она кормила их в прямом смысле слова (жалованье должностным лицам и участникам Собрания, различные

денежные и продуктовые раздачи, дележ государственных доходов и дани с союзников и т. п.); она систематически обирала богачей, налагая на них тяжелые общественные повинности (так называемые «литургии»), вроде упоминавшейся в предыдущей главе обязанности снарядить триеру и командовать ею («триерархия»); она и прямо конфисковала имущество богатых; она и ненавидит богачей, и холит их, точно каплунов, выжидая, пока они нагуляют побольше жирка, и сами богачи отлично это сознают. Нет ничего удивительного в том, что демос дорожит таким государственным устройством, не заинтересован ни в каких переменах и активно сопротивляется всему, что чревато переменами (будь то признание элементарных человеческих прав за рабами или новая образованность): сознательно или инстинктивно, но он убежден, что достиг условий максимально выгодных и что, стало быть, любое нарушение *status quo* будет ему во вред.

Таким образом, демос выступает в качестве косной, охранительной и — с точки зрения исторического процесса — реакционной силы. Выводя такое следствие, нужно помнить, во-первых, что это касается не демократии вообще, а специфической ее формы — афинской рабовладельческой демократии, и еще уже — на строго определенном этапе, а во-вторых, что олигархическое государство было, по меньшей мере, столь же косным, эгоистическим и реакционным.

Выше упоминалось, что власть народа во многих частных случаях подменялась всесилием писцов-секретарей. Если они были бесчестны или жестоки, то злоупотребляли своим положением в ущерб государству и обществу. Но демократия могла обращаться в фикцию и без такого ущерба, напротив — к вящему процветанию если не общества, то, во всяком случае, государства. Фукидид, написавший, что Афины достигли при Перикле вершины своего могущества, что Перикл был самым неподкупным из граждан и самым дальновидным среди политиков, что все свое влияние он приобрел только честными

средствами, — иначе говоря, автор, которого трудно заподозрить в дурном отношении к Периклу, утверждает: «По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину». Не занимая никакой особой должности (да таких должностей в Афинах и не было), он не только неограниченно властвовал в коллегии стратегов, членом которой избирался ежегодно (по крайней мере, в течение пятнадцати последних лет жизни), но и вообще был всемогущ с тех пор, как одержал верх над умеренными олигархами, отправив в изгнание их вождя посредством остракизма. Здесь нет нужды входить в подробности, насколько справедливым было правление Перикла и верно ли он утверждал, будто ни один из афинян не надевал траурных одежд по его вине; нет нужды упоминать и о том, что народ беспрепятственно отрешил Перикла от власти, разочарованный итогами первого года войны и, главное, ожесточенный эпидемией. Все это не меняет основного факта: номинальная власть народа могла быть фактическим самодержавием. И не только Фукидиду было это ясно. Политические противники Перикла пытались ослабить его влияние ради того, чтобы «в Афинах не сложилась настоящая монархия» (Плутарх), комедиографы называли его тираном и со сцены бросали ему укоры в том, что высота, на которую он вознесся, не сообразна с демократией. Один из поэтов того времени говорил, что афиняне отдали в его распоряжение Всю дань с городов; он город любой мог связать иль оставить свободным, И крепкой стеною его оградить, и стены снова разрушить. В руках его все: и союзы, и власть, и сила, и мир, и богатство.

Итак, уже к началу Пелопоннесской войны афинская демократия представляла собою достаточно неустойчивую систему, функционирование которой зависело не столько от внутренних, так сказать органических, ее достоинств или пороков, сколько от личностей, во главе ее стоявших, и от обстоятельств, благоприятных или несчастливых. Так рассуждает и Фукидид. Среди преемников Перикла не было, по его мнению, никого, равного



ему, зато все были ровней между собой, и, борясь за первенство, каждый старался привлечь демос на свою сторону чрезмерными побрякками; противиться же неразумным желаниям толпы никто, в отличие от Перикла, не умел да и не хотел. Отсюда и трагические ошибки, вроде Сицилийской катастрофы, и внутренние раздоры, истощившие силы государства и бывшие истинною причиною окончательного поражения.

Вплоть до разгрома в Сицилии господство демократии — более того, демократии крайней, радикальной, авантюристической, Клеоновского типа, — было неоспоримым. Противная партия, хоть и включала немало рьяных лаконофилов, приверженцев олигархии, выступала, однако ж, под лозунгами все той же демократии, только умеренной, благоразумной, менее агрессивной. Она объединяла и разношерстные остатки старой, землевладельческой аристократии, политически разгромленной Периклом больше чем за десять лет до начала войны, и богачей нового склада — купцов и промышленников. Никий был признанным ее вождем и характерным представителем. Не следует думать, будто умеренные были сплошь лицемерами, подчинявшимися демократическим порядкам лишь в силу необходимости, а втайне ненавидевшими демос, которому вынуждены были угождать и льстить, — их интересы были действительно связаны с афинской демократией, в первую очередь — с ее экспансионизмом. Но межеумочность позиции и внутренняя рыхлость лишали эту партию энергии: она не в силах была бороться со смелыми демагогами ни справа, ни слева. Смерть Клеона доставила ей временное торжество — был заключен Никиев мир, но очень скоро на политическом горизонте восходит новая звезда авантюризма и демагогии, Алкивиад, и Никий отступает.

Поражение в Сицилии резко изменило ситуацию. Не только многие союзники изменили (причем всякий раз измена была следствием олигархического переворота и падения демократии), но и в самих Афинах, впервые после тридцатилетнего

перерыва, олигархическая партия выступила открыто. «Вышли из подполья» те, кто до сих пор носил маску умеренного, или беспартийного, или даже ревностного демократа из крайних (тем более что на крайних обрушилась ненависть демоса — как на организаторов Сицилийской экспедиции и, стало быть, главных виновников катастрофы), а подлинно умеренные все более активно поддерживали олигархов, поскольку развал Афинской державы (архэ) казался неизбежным. Процесс «выхода из подполья» тянулся полтора года и завершился установлением олигархии в прямом смысле слова: число полноправных граждан было ограничено пятью тысячами, а фактически вся полнота власти сосредоточилась в руках четырехсот правителей, не избранных народом, но назначенных главарями олигархического заговора. Заговор этот вызревал постепенно, как в самих Афинах, так и на флоте, который крейсировал у острова Самос. На флоте интриговал Алкивиад, успевший поссориться и порвать со спартанцами и убеждавший стратегов свергнуть демократию: в этом случае, обещал он, Афины получат помощь от персов. К тому моменту, когда стратег Писандр (в недавнем прошлом активный демократ) прибыл в Афины с предложениями Алкивиада, там уже царил террор, установленный тайными содружествами олигархов — так называемыми «гетериями» («товариществами»), которые были неким подобием политических клубов нового времени. Политические убийства следовали одно за другим; в числе прочих был умерщвлен и вожак демократов, Андрокл, в свое время главный инициатор заочного суда над Алкивиадом. Хотя и Собрание, и Совет пятисот продолжали функционировать, выступать не осмеливался никто, кроме самих террористов, потому что любой, возражавший им, немедленно погибал, а убийц никто не преследовал. Все молчали и затаились в страхе, считая удачею каждый благополучно прожитый день. Весьма примечательно, что Фукидид объясняет бессилие граждан перед заговорщиками прежде всего обширностью города: люди не

знали друг друга, а потому и преувеличивали число злоумышленников, и боялись обменяться мнениями, чтобы обсудить план мести. Здесь наглядно обнаруживается, как количественный рост полиса приводит к нарушению основных законов его существования.

В связи с этим уместно высказать одно предположение. Выше говорилось, что греческая колонизация была, прежде всего, следствием перенаселенности в метрополиях. Вполне возможно предположить, что опасности, которыми грозила чрезмерная плотность населения, ощущались в аспекте не только физическом, НО И СОЦИАЛЬНОМ. Именно ощущались, не более. Каждый гражданин в отдельности был способен понять, что слишком много едоков земля не прокормит, но он не мог, разумеется, сознавать, что существует некий количественный предел для нормального функционирования полиса; пожалуй, и самые дальновидные среди граждан не могли этого сознавать в разгар колонизационного периода — это стало мало-мальски понятным лишь много лет спустя, в канун гибели полисного устройства. Однако государство в целом, коль скоро оно здорово, представляет собою (если прибегнуть к модному языку кибернетики) отлаженную саморегулирующуюся систему, которая безошибочно отыскивает профилактические средства при первых признаках угрозы — пусть даже весьма неблизкой — своему нормальному существованию.

Правление четырехсот продержалось всего три месяца (с июня по сентябрь 411 года): среди олигархов пошли раздоры, а главное, демос был еще слишком силен и грозен. Уже в следующем году были восстановлены все без изъятия демократические порядки, включая и жалование за исполнение общественных обязанностей, и выборы по жребию. Немалую роль в этом сыграла, по-видимому, позиция умеренных, которые поняли, что архэ и создавшая ее демократия еще далеки от смертного часа. Мало-помалу радикальные демократы вновь набирают силу и выходят на первое место, не только вытесняя с

политической арены всех прочих, но и беспощадно расправляясь с теми, кто изменил им в тяжкие и смутные годы после сицилийского разгрома. Именно мезтью объясняется расправа над стратегами — победителями при Аргинусах (об этом говорилось в конце предыдущей главы): все осужденные на смерть стратеги принадлежали к «лучшим семействам» города, славившимся древностью происхождения, или богатством, или тем и другим вместе.

Этот процесс с его жестокостью и нарушениями элементарных правил судопроизводства (судьбу всех подсудимых Собрание решило одним, общим голосованием) свидетельствует о вырождении, деградации афинской рабовладельческой демократии: на место народного волеизъявления, вполне свободного, но регламентируемого законами, заступал каприз народа. Когда в ходе процесса кто-то стал возражать обвинителям, указывая на противозаконность их предложений, толпа отвечала возмущенным криком: никто, дескать, не смеет препятствовать суверенному народу поступать так, как ему заблагорассудится. Но капризное своеволие народа — верный признак того, что он утратил серьезное, подлинно гражданское отношение к своим правам и обязанностям; а это, в свою очередь, облегчает путь к власти не только демагогам, но и честолюбцам без каких бы то ни было принципов и даже прямым врагам демоса и демократии. И если после решающего поражения Афины попали в руки крайних олигархов — так называемых «Тридцати тиранов», — причиной этому не только диктат победителей, навязавших побежденным олигархическую форму правления, но и внутренняя опустошенность, истощанность афинской демократии. Правда, террористическое правление Тридцати продолжалось недолго; оно сменилось режимом умеренной олигархии, а уже в 401 году демократия была восстановлена в полном объеме. Но даже биографии вождей этой новой демократии показывают, что тот или иной образ правления был для них вопросом не принципа,

но тактики; ЛИЧНАЯ безопасность, ЛИЧНАЯ выгода, ЛИЧНОЕ властолюбие — вот истинные мотивы их действий.

Борьбу против Тридцати возглавлял Фрасибул. Его прославляли до небес как освободителя отечества и вернейшего друга демоса. Но ведь этот самый Фрасибул еще в 411 году старался вернуть в Афины Алкивиада и был одним из вождей умеренно-аристократической группировки; долгое время он действовал заодно с Фераменом, фактическим создателем коллегии Тридцати тиранов, и если не вошел в нее вместе с Фераменом, то не из принципа, а по расчету — предвидя крайнюю непопулярность и шаткость режима. А последним его подвигом была экспедиция к берегам Малой Азии (в 390 г.), во время которой он грабил мирное население (не разбирая где друзья, а где — враги) и за счет награбленного частично расплачивался с моряками и воинами, а частично обогащался сам. Если бы не внезапная смерть (жители города Аспенда, ожесточенные «проворством и распорядительностью» афинян, напали ночью на их лагерь и зарезали Фрасибула в его палатке), он должен был бы срочно вернуться в Афины и представить отчет, потому что народная молва упорно обвиняла его и в казнокрадстве, и в преступной халатности. Но очень возможно, что он последовал бы совету своего ближайшего друга и товарища по руководству экспедицией, который убеждал его не возвращаться на родину самому и не возвращать афинянам их флот, а захватить город Византий на Босфоре и сделаться тамошним правителем («тираном»).

Неизвестно, отдавал ли Фрасибул себе отчет, насколько его политическая практика противоречит каким бы то ни было принципам и убеждениям. Но один из безымянных клиентов Лисия, для которого оратор написал речь, сохранившуюся под названием «Защита от обвинения в умысле против демократии», — вполне отчетливо сформулировал «принципы беспринципности», только с иной точки зрения — точки зрения подвластного, бессильной и беспомощной щепки в историческом

водвороте. Этот афинский «маленький человек», или «обыватель», или «мещанин» IV века до новой эры хладнокровно, в твердом сознании своего «мещанского» здравомыслия наставляет судей: не думайте, будто существуют какие-то там прирожденные демократы или олигархи. И никаких политических разногласий между людьми на самом деле не существует — всякий раз речь идет лишь о том, кому что выгодно в данный момент. Ведь не только всякая мелочь, но и крупные птицы, вожаки, столько раз перелетали из одного стана в другой! Это единственно надежный критерий: ищите тех, кому свержение демократии было бы выгодно. А я, продолжает обвиняемый, не причинил ни малейшего вреда демократии даже тогда, когда к этому были все возможности, — неужели я настолько глуп, чтобы делать это теперь, когда такой поступок неизбежно повлечет за собою наказание?.. И еще великолепный аргумент: тридцать тиранов плохи не потому, что плоха олигархия или тирания вообще; если бы они наказывали виновных, а невинных не трогали, они были бы честными людьми. Пусть же возрожденная демократия не повторяет их ошибок и скорее покарает мерзавцев, кормившихся клеветническими доносами при демократии, чем тех, кто честно исполнял свои обязанности, занимая должность при олигархии.

Это диаметрально противоположность полисной идеологии, прямое ее отрицание. Бессодержательность привычных слов — верный признак необратимых перемен в тех явлениях и вещах, которые этими словами обозначаются. Когда после разгрома в Сицилии афинские руководители размышляли, как может отозваться у союзников олигархический переворот в Афинах — не вернуться ли взбунтовавшиеся и отпавшие города под власть Афин, не станут ли более надежными те, что еще не изменили, — стратег Фриних заметил: ни того, ни другого ждать не приходится, поскольку никто не предпочтет рабство свободе, будет ли оно, это рабство, соединено с демократией или с олигархией — безразлично. Если кто возразит, что такие речи

велись уже «на закате», в предчувствии неминуемого поражения, то можно напомнить, что совершенно так же высказывался и Клеон еще в 427 году. С трибуны Народного собрания Клеон говорил: «Вы (т. е. афиняне) забываете, что ваше владычество — это тирания и что союзники <...> слушаются вас не потому, что вы делаете им добро, но потому, что вы сильнее их, а о каком-либо их к вам расположении и говорить не приходится». Но готово еще одно возражение: тот же Фукидид, который приводит речь Клеона, называет его «наглейшим из граждан». Однако и сам Перикл судил не иначе. Когда в Афинах начался мор, а спартанцы вторглись в Аттику во второй раз, зазвучали речи о мире и обвинения против Перикла, втянувшего государство в войну и, стало быть, виновника всех бедствий. Отвечая новоявленным миролюбцам, Перикл сказал: отречься от власти нам нельзя — слишком поздно, ибо уже теперь власть наша имеет видимость тирании и стала предметом ненависти.

Спартанская гегемония, сменившая афинскую, оказалась, однако, еще тяжелее, потому что по самому своему существу была вопиющим противоречием: в «империалистской» роли выступило государство, для которого самым основным во внутренней и внешней политике всегда был предельный изоляционизм. Гегемония эта определяется, грубо говоря, тремя приметами: 1) все дела повсюду вершит горстка спартанцев, местные люди ничего не решают; 2) граждане «освобожденных от афинской тирании» городов-государств обязаны забыть о политике и уйти в личную жизнь; 3) их единственный долг — ублажать спартанских властителей за то, что те не лишили их права жить. И все три приметы отражают, в уродливом увеличении, внутреннее устройство государства лакедемонян.

Оно было строго и последовательно олигархическим. Вся власть принадлежала Совету старейшин, избравшихся Народным собранием пожизненно, и коллегии из пяти эфоров (надсмотрщиков), избравшихся сроком на один год. Именно

старейшины и эфоры были подлинными властителями Спарты, а не два одновременно правящих царя и не народ. Цари обладали неограниченными полномочиями лишь в качестве главнокомандующих, на войне, во время же мира роль их была в основном репрезентативной. Что же касается Народного собрания, включавшего всех полноправных граждан старше тридцати лет (они назывались «равными» или «спартиатами»), то оно могло лишь криком выразить свое согласие с предложениями властей. Даже правом выступать в Собрании обладали лишь те же власти — цари, члены Совета (их было тридцать вместе с царями) и эфоры. Власть стариков (геронтократия) накладывала отпечаток на все стороны жизни: во всем ощущался дух консерватизма, охранительства, архаичности. Система власти целиком покоилась на воинской дисциплине, и высшая доблесть — как и должно быть в военном лагере или казарме — состояла в беспрекословном подчинении властям. Например, любой, кто противился приказу царя, подлежал немедленному изгнанию.

До тридцати лет спартанец оставался на казарменном положении. Затем он мог обзавестись семьей, но и тогда проводил дома только ночь: день проходил в гимнастических и военных упражнениях и обязательных общих трапезах (сисситиях), объединявших обыкновенно около полутора десятков людей, которые дорожили обществом друг друга. Даже в старости «равные» не принадлежали самим себе: им вменялось в обязанность бдительно следить за поведением младших, прежде всего — подростков.

Два обстоятельства следует отметить особо в связи с этой, вызывающей сегодня весьма неприятные ощущения, картиной. Спартиаты были действительно равны друг другу во всем — в ничтожных правах, удручающих обязанностях, возможностях подъема на верхние ступеньки государственной лестницы, — и потому легко понять многих древних, считавших Спарту самым демократическим государством в мире. Труднее понять другое:



как эта чудовищная демократия могла стать прообразом для идеального государства в творениях Платона. Быть может, последующее изложение поможет ответить на этот вопрос.

Вполне очевидно, что в государстве подобного типа общественная жизнь практически невозможна, и само понятие «общество» излишне, поскольку государство регламентирует все стороны существования своих граждан и карает за любые нарушения регламента, полагая преступлением любую инициативу. Очевидно также, что такое государство, уже ради самосохранения, должно быть замкнутым, изолированным от внешнего мира, поскольку знакомство с чужими обычаями и законами может вызвать сомнения в уникальной правильности его уклада, и эти сомнения в конце концов, расстроят ход государственной машины. И действительно, Спарта была подобна консервной банке: все было устроено так, чтобы затруднить общение с иноземцами, — от запрещения гражданам покидать пределы отечества, а иностранцам селиться в Спарте и регулярного изгнания тех чужаков, которым все же удалось обойти запрет, до особых денег из железа, не имевших никакой цены за границей. Выход Спарты на общегреческую международную арену — в связи с войной и захватом гегемонии — пробил в банке дыру, и содержимое очень быстро протухло. Вполне возможно, что власти в Спарте предвидели такой результат и именно этим объясняется столь упорное и долгое нежелание спартанцев ввязываться в войну.

Не менее строгими были и перегородки внутри спартанского «общества». Спартиаты, весьма немногочисленные (установить их число, хотя бы приблизительно, не представляется возможным, известны лишь постоянные жалобы лакедемонян на «малолюдство»), были только воинами; любая производственная, художественная или торговая деятельность категорически им воспрещалась. Земельные наделы спартиатов (у всех одинаковые или, во всяком случае, равноценные) обрабатывали государственные рабы — илоты, положение которых несколько

схоже с положением средневековых крепостных: они отдавали владельцам наделов определенную долю урожая, все прочее оставляли себе, а потому были заинтересованы в результатах своего труда. Никаких контактов между ними и спартиатами не существовало. В глазах последних они были лишь неизбежным злом, постоянной угрозой мятежа и резни, недочеловеками, над которыми позволено издеваться (например, напаивая их допьяна в поучение молодежи, чтобы она увидела, как гнусно пьянство) и которых должно умерщвлять, если они слишком сильны, или чересчур смышлены, или пользуются особенным влиянием среди своих товарищей. Тем не менее их брали в военные походы (носильщиками, саперами и т. п.).

Третий (и последний) класс составляли периеки («окрестное население»), жители деревень и небольших городков в пределах спартанских владений, лично свободные, но лишённые всяких политических прав. Основными их занятиями были ремесло и торговля.

В отличие от спартанцев, афиняне образовывали общество в полном смысле этого слова. Перикл говорит:

...Мы держим себя как подобает свободным людям в общественных делах и в повседневных отношениях друг к другу — без подозрительности, не злобствуя, если сосед живет в свое удовольствие, не обнаруживая досады, хотя и безобидной, но способной огорчить другого... Наш город так велик и могуществен, что все стекается сюда со всей земли, и нам выпал счастливый жребий — с одинаковым удобством наслаждаться плодами и собственной страны, и всех остальных <...> Наш город открыт для всех без изъятия, и никогда не изгоняли мы иноземцев, дабы помешать им научиться чему-то или что-либо увидеть, и ничего не прятали из страха, как бы враг не подглядел и не употребил себе на пользу...

Ясно ощутимый подтекст этой выдержки — противопоставление Афин Спарте, осуждение лаконских порядков. Около ста

лет спустя Аристотель скажет: «Спартанская жизнь, протекающая целиком в военных упражнениях, рождает не людей, но волков». То же мог бы сказать и Перикл. Исследователи нового времени выражаются менее эмоционально, но какую бы сторону спартанской действительности они ни брали, антитеза Спарта — Афины всегда направляет ход рассуждений.

Если начать с того, о чем Перикл умолчал — с рабов, — то и здесь различие будет очень внушительным. Разумеется, как в любом рабовладельческом обществе, рабы были бесправны, унижены, подвергались жестокой эксплуатации и создавали те материальные ценности, без которых их господа не могли бы создать свою высокую духовную культуру. Бесспорно, что античные мыслители считали рабство естественным и необходимым институтом и лишь немногие среди них призывали относиться к рабам мягко, по-человечески. Но практически положение афинских рабов было, по меньшей мере, сносным. В сельском хозяйстве их использовали мало: афинский крестьянин был недостаточно богат, чтобы возделывать землю чужими руками. Лишь немногие богачи имели по несколько десятков рабов, трудившихся под надзором надсмотрщика, тоже из рабов. В деревне, как и в городе, рабы в основном исполняли обязанности домашних слуг, причем в богатых городских домах их бывали десятки и даже сотни — до тысячи с лишком рабов у Никия. Но очень многие малоимущие горожане не могли приобрести и одного-единственного слугу.

Существовали и государственные рабы, но их никак нельзя сравнивать с илотами. Большая их часть служила в разных коллегиях и советах (секретарями, писцами, исполнителями и т.п.), в государственных мастерских, чеканивших монету, в банях, в городской полиции. Был даже специальный корпус скифских лучников, около тысячи стрелков, поддерживающих порядок во время собраний и судебных сессий.

По-настоящему худо жилось только тем рабам, которые добывали серебро в государственных рудниках Лаврия или

вертели жернова на мельницах. Но и копи, и мельницы были не просто занятием в ряду прочих рабских занятий, а наказанием для нерадивых, или преступников, или беглых. Вообще же, как правило, хозяева находились со слугами в самых тесных и свойских отношениях. Мало того, афинские обычаи и законы даже защищали раба от жестокости господина, от несправедливых оскорблений и насилья.

Больше всего рабов было занято в ремесленных мастерских и в порту (на верфях, на разгрузке и погрузке судов); трудились они в «конторах» купцов и менял, и случалось, что в награду за службу хозяин освобождал сметливого «конторщика», тот заводил собственное дело и быстро сколачивал состояние, не уступавшее хозяйскому.

Вольноотпущенник вступал в ряды метеков (букв. «живущих вместе», т. е. вместе с гражданами), очень многочисленного в Афинах сословия: перед началом войны их было не меньше 20 000. Не имея никаких политических прав, афинские метеки во всем прочем пользовались почти полным равноправием. Их дети получали то же образование, что дети граждан; они служили и в сухопутном войске, и на флоте; правда, они не могли быть командирами триер и потому повинность триерархии на них не распространялась, но почти все остальные общественные повинности они несли наравне с гражданами, а стало быть, им доставались и все общественные почести, связанные с успешным исполнением этих повинностей; они участвовали в некоторых (и притом важнейших) религиозных празднествах афинян и в то же время беспрепятственно отправляли культы своей родной страны.

Метеки не могли владеть недвижимостью (землей и домами) и потому большей частью занимались ремеслом и торговлей. В этих двух областях хозяйственной жизни Афин они преобладали, почти владычествовали. Так, в руках метеков находилось снабжение Афин македонским лесом, черноморской соленой рыбой, хлебом из степей Причерноморья. Крупнейшие

афинские «банкиры» (точнее, владельцы меняльных и кредитных контор) тоже были метеки.

Но для истории культуры намного важнее другое. Благожелательное отношение к иноземцам привлекало в Афины представителей «свободных» профессий — врачей, писателей, художников, ораторов, учителей красноречия и философии, — находивших здесь самое лучшее применение своим талантам. Здесь работали лучшие художники Греции — уроженец Фасоса Полигнот, Зевксид из Гераклеи, Паррасий из Эфеса. Отец медицины, Гиппократ с острова Кос, и отец истории, Геродот из Галикарнаса в Малой Азии, пользовались здесь и громким успехом, и всеобщим уважением. Знаменитый философ Анаксагор из малоазийского города Клазомены был наставником Перикла. Все софисты — «учителя мудрости», противники и предшественники Сократовой и Платоновой философии — жилали в Афинах часто и подолгу.

К этой пришлой интеллигенции прибавлялись сыновья афинских метеков, воспитанные вместе с коренными афинянами, имевшие доступ ко всем источникам знания (в значительной мере, разумеется, благодаря богатству отцов). Иные из них стали гордостью Афин, хотя так и не получили прав гражданства. Оратор Лисий, чья проза во все века считалась образцом чистейшей аттической речи, был сыном метека Кефала из Сиракуз, владельца оружейной мастерской, и сам умер в звании метека.

Едва ли можно сомневаться, что своей экономической и культурной мощью Афины во многом обязаны своей терпимости к чужеземцам, столь не схожей с ненавистью к ним в Спарте и очень многих других городах Греции. Но нельзя отрицать и того, что широкая афинская терпимость, отвергая обветшавшую полисную ограниченность кругозора, одновременно подрывала основу основ всего полисного существования — ту уникальную сплоченность, которая рождается лишь в тесном, ограниченном коллективе.

Общественную деятельность афинянина довольно сложно отделить от политической, поскольку полноправный член общества и есть гражданин (по-гречески *polites*). Тем не менее существовали, во-первых, объединения и не-граждан (например, профессиональное объединение пирейских хлебных торговцев), а во-вторых, своего рода клубы «стопроцентных афинян» — так называемые «гетерии» (от слова *hetairos*, товарищ). Сведения о первых до крайности скудны; о вторых — несколько богаче. В гетериях участвовало большинство политически активных граждан. Они были невелики — не более 30 человек в каждой, — но легко кооперировались для совместных действий. Возникали они среди ровесников в школьные годы и сохранялись до старости участников. Таким образом, отец и сын не могли принадлежать к одной гетерии, но зато, как правило, принадлежали к одному союзу гетерий. «Гетайросы» приносили взаимные клятвы верности и обязывались помогать друг другу во всех делах. Так как помощь эта очень часто оказывалась в противоречии с законом и справедливостью, деятельность гетерий была тайной. Впрочем, то был «секрет Полишинеля»: все в городе знали, кто кого поддерживает, и кто с кем враждует.

Внешне, открыто гетерии обнаруживали себя лишь в том, что регулярно собирались на общие пирушки. Именно такая пирушка, по-видимому, изображена в одном из самых знаменитых диалогов Платона — в «Пире». Истинное назначение гетерии — взаимопомощь в судебных и политических делах. «Одно-клубники» собирали деньги (для законных залогов и противозаконных подкупов), выступали со встречными исками против обвинителя и с фиктивными исками против обвиняемого (чтобы перехватить инициативу у настоящего обвинителя), подкупали, запугивали и даже убивали обвинителя и судей, агитировали в пользу обвиняемого, стараясь разжалобить суд и публику, и т. д. и т. п. Но судебный процесс мог быть и не частным делом товарища по гетерии, а оружием в политической борьбе

— как, например, упоминавшиеся уже судебные преследования Алкивиада или победителей при Аргинусах. Еще более радикальным средством были террористические акты (достаточно напомнить рассказ Фукидида о терроре в канун олигархического переворота 411 года в Афинах). Но существовали и позитивные формы вмешательства в политическую жизнь: разного рода акции в Собрании, на выборах стратегов и демархов, во время суда черепков и т. д.

Короче говоря, гетерии были фактически исполнительным аппаратом и «первичными организациями» партий.

Пока государство и общество были здоровы, деятельность гетерий, даже и не вполне согласная с законом, уравнивалась общей заботой об общих нуждах. Лишь когда равновесие нарушилось (с одной стороны, неприкрытым политическим цинизмом, с другой — анархическим разочарованием в какой бы то ни было государственности), она приобрела разрушительную силу, становясь опаснейшим оружием в руках циников или, в лучшем случае, подменяя широкие общественные интересы тесными групповыми, дружескими.

Итак, гетерии были узаконенной обычаем формой противозаконной организации. Каково же вообще правосознание древнего грека, каково отношение его к закону? И, прежде всего, что говорит об этом Перикл?

В общественных делах мы воздерживаемся от нарушения закона, главным образом, из благоговейной робости перед ним. В самом деле, мы постоянно подчиняемся и властям, и законам, и особенно тем законам, которые защищают обиженных, законам, хотя и неписаным, но общепризнанным, а потому пятнающим нарушителя неизбежным позором.

Слова Перикла подтверждают то, что было сказано выше о величайшем уважении грека к закону: беспрекословное подчинение законам — это основа свободы, и, стало быть, в глазах

грека, основа всей греческой культуры. Но это еще не все: закон для грека равнозначен справедливости. Разумеется, не все законы безусловно справедливы, но самый верный путь к справедливости лежит через исполнение существующих законов государства. «Евномия» («благозаконие») — высшее благо еще и потому, что законы, как и сама Справедливость, божественны и охраняются богами. Религиозною санкционированностью закона отчасти объясняется сильнейший консерватизм греческого правосознания. Любое законодательство было затруднено тем, что оно оказывалось покушением на уже существующие законы, т. е. — на божественную справедливость. Поэтому любая реформа должна была проводиться под видом восстановления древних порядков, кощунственно искаженных или отмененных впоследствии. Откровенное же нововведение не имело никаких шансов на успех.

Эти основы полисного правосознания присущи и демократии, и олигархии одинаково. В демократических Афинах жестокая кара ожидала того, кто предложит Народному собранию законопроект, противоречащий действующим законам. В трагедии Софокла «Антигона» царь распоряжается лишить погребения убитого врага, но его племянница и сестра убитого, Антигона, нарушает приказ, грозящий ослушнику смертной казнью. Антигона права не только и не столько потому, что божественная справедливость выше человеческой, сколько потому, что царь вводит новые порядки и отменяет старые, тем самым заведомо лучшие. Если философ Гераклит в начале V века говорил, что народ должен отстаивать закон с таким же мужеством и упорством, как стены родного города, это было истиной как для аристократов, так и для демократов.

Пелопоннесская война сокрушила полисное правосознание, на место Справедливости и нерушимых Законов поставив переменчивую Пользу. Еще до открытия военных действий афинские послы (по Фукидиду) высказываются перед Собранием лакедемонян с полной откровенностью. В нашем поведении,



говорили они, нет ничего странного, если предложенную нам во время персидских войн власть над союзниками мы сперва приняли, а теперь не желаем уступать. Руководили и руководят нами три могущественных соображения — страх перед персами, боязнь бесчестия и выгода. Не мы первые ввели такой порядок, что слабый подчиняется более сильному, — он существует искони. Да и вы сами, лакедемоняне, никогда прежде не ставили под сомнение нашего права на власть и только теперь, преследуя собственные интересы, начали взывать к справедливости, а между тем никто не противопоставляет справедливость грубой силе, если есть возможность достигнуть своей выгоды. Что касается союзников, то не жаловаться на нас они должны, а благодарить за то, что мы вообще не отменили всякий законный порядок в угоду собственной пользе: тогда бы уже они не стали спорить, что слабый обязан уступать сильному.

В разных вариантах эти доводы повторяют почти все афинские руководители — от Перикла до Алкивиада. С особенной прямоотой высказался афинский посол Евфем, обращаясь к жителям сицилийского города Камарина зимою 414 года:

Пусть никто не воображает, будто мы заботимся о вас, ваши выгоды нас совершенно не интересуют, но если вы будете в силах оказывать сопротивление сиракузянам, мы понесем меньше ущерба от пелопоннесцев, потому что сиракузяне не смогут им ничем помочь... Для тирана или же для государства, владычествующего над другими государствами, нет такого действия, которое, казалось бы, нелепым, если только оно выгодно, нет такой дружбы, которою стоило бы дорожить, если только она ненадежна: в каждом отдельном случае приходится быть врагом или другом, смотря по обстоятельствам. И в Сицилии... и в самой Греции наше отношение к союзникам определяется только одним — нашими интересами...

Спартанцы подобной откровенности в речах избегают, напротив, постоянно апеллируют к «общему благу» и своей миссии «освобождения Греции от рабства». Но если кто не желал принять «свободу» из их рук добровольно, они оказывали свои благодеяния насильно, не щадя и самой жизни благодетельствуемых.

Но главное, разумеется, — не слова. Примеров афинских жестокостей было приведено уже немало, однако образцовым насилием над правом и справедливостью все историки, начиная с Фукидида, считают расправу над Мелосом, колонией лакедемонян. В 416 году афиняне высадились на этом острове, который тщетно пытался сохранить нейтралитет, и предложили мелосцам на выбор: либо присоединение к Афинскому союзу, либо война. Переговоры, подробно пересказанные Фукидидом (любопытно, что в ходе их афиняне утверждали, будто и боги одобряют владычество сильного над слабым), ни к чему не привели, и афиняне осадили город, принудили мелосцев к сдаче и всех взрослых мужчин умертвили, женщин и детей продали в рабство, а опустевший остров заселили своими колонистами.

Ничуть не лучше была и спартанская «справедливость». Когда платейне, союзники афинян, после долгой осады сдались лакедемонянам, те поклялись, что накажут только виновных, и не иначе, как по суду. Суд, однако же, оказался весьма своеобразным: сдавшихся выводили поодиночке и каждому задавали один и тот же вопрос — оказал ли он в ходе войны какие бы то ни было услуги спартанцам или их союзникам? И результат был тот же, что на Мелосе: всех мужчин перебили, женщин и детей продали в рабство, город сравнивали с землей.

Но если государство в отношении с другими государствами подменяет Закон Пользою, Право — Силою, то такую же подмену производит гражданин по отношению к государству. Коллективизм полисного сознания сменяется индивидуализмом. Самым массовым проявлением последнего следует считать

политический цинизм властей и подвластных, о котором уже шла речь выше. Индивидуализм, как продукт разрушения полисной идеологии, мог облекаться также в форму радикального аполитизма или же своеобразного анархизма, однако для времени Пелопоннесской войны гораздо характернее и важнее именно этот цинизм, и даже не столько его практика, сколько теория. Она была сформулирована (и разгромлена) Платоном много лет спустя после войны, в диалоге «Горгий»: один из собеседников, Калликл, выступает с проповедью «права сильного», утверждая, что толпа обязана подчиниться самому сильному, ибо он-то и есть самый лучший. (Вероятно, нет нужды называть духовных потомков Калликла, наиболее известные среди которых — «сверхчеловек» Ницше и Раскольников Достоевского.) Но, судя по Фукидиду, не менее отчетливо сформулировал ее (хотя бы для себя) и руководствовался ею еще Алкивиад; образ мыслей Алкивиада и его единомышленников и послужил моделью для Платона, когда он писал своего Калликла. В основе всех рассуждений Алкивиада (оправдывает ли он свою вызывающую роскошь, толкует ли о нелепости каких бы то ни было ограничений для владычества Афин, доказывает ли спартанцам, что истинный афинский патриот — это он, беглец и перебежчик) лежит убежденность «сверхчеловека» в своем уникальном праве на господство и органическое чувство свободы от любых запретов и заветов полисной идеологии. Но именно такой «сверхчеловек», принципиальный и сознательный враг справедливости, был нужен переживающему кризис афинскому полису, чтобы выиграть войну, — во всяком случае, так судил Фукидид, полагавший, что причина сицилийской катастрофы и, следовательно, поражения в целом — недоверие афинян к Алкивиаду. А ведь лично Алкивиад и политики алкивиадовского типа отвратительны и Фукидиду, и любому элементарно честному человеку во все времена.

Однако процесс разрушения старого правосознания еще не успел зайти очень далеко; не только афинское

судопроизводство (к сожалению, о других греческих городах известно в этом отношении слишком мало), но и чувства среднего афинянина отражают старинный, полисный взгляд на мир.

Государственного обвинения в Афинах не существовало. В гражданских процессах обвинителем выступал сам пострадавший, в делах, затрагивавших интересы всего государства, право возбудить обвинение принадлежало любому желающему; более того, считалось гражданским долгом и гражданской доблестью вступить за оскорбленный и попраный нарушителем закон, и государство поощряло подобные доносы, назначая истцу вознаграждение из конфискованного имущества (конфискация назначалась, если было доказано, что ответчик нанес государству материальный ущерб). Разумеется, подобная система плодила корыстных доносчиков, сикофантов, как звались они у греков, т. е. «доносящих про смоквы» — вероятно оттого, что в древнейшие времена вывоз смокв из Афин был воспрещен. Но, с другой стороны, она вообще не могла бы функционировать без органического ощущения неразрывности интересов личных и общих. То же ощущение слышится и в судебных речах по делам, не имеющим, казалось бы, ни малейшего отношения к государству. Муж застал жену с любовником, убил прелюбодея на месте и привлечен к суду за убийство (Лисий, I, «Об убийстве Эратосфена»). Старинный закон оправдывает его действия полностью, но этого ему мало — он подробно объясняет судьям, что своим поступком оказал важную услугу государству:

Я полагаю, господа афиняне, что, отомстив моему обидчику, защитил не только себя, но весь наш город. В самом деле, если охотники до чужих жен увидят, какие награды их ожидают, вперед меньше будет опасности для остальных мужей, особенно когда негодяй убедится, что и вы одного мнения со мною. А в противном случае намного лучше отменить существующие законы и издать другие, которые будут наказывать мужей за то, что они

оберегают своих жен, блудникам же велят действовать безо всякого страха (и т. д. — *III. М.*)

И так — почти каждый, истец или ответчик — безразлично, считает необходимым обратить внимание суда на то, что решение по его делу будет иметь важные последствия для города в целом.

С высокими словами об общей пользе сочетаются (также почти обязательные) заверения в личной ненависти к ответчику: по-видимому, одни только гражданские чувства не были достаточной гарантией против подозрений в сикофанстве. Вообще, личные выпады самого неблагоприятного с нынешней точки зрения свойства — неперемнное украшение судебного красноречия греков. Надо очернить и вывалить в грязи не только противника, но и его родных, по возможности всех:

У этого Агората, господа судьи, было четверо братьев. Старшего в Сицилии уличили в измене — он подавал врагу какие-то сигналы, — и Ламах приказал его казнить. Другой украл и увел из Коринфа раба, а после, когда уводил оттуда же чужую рабыню, то попался и умер в тюрьме. Третьего арестовали здесь — он был одежный вор; вы судили его и приговорили к смерти.

(Лисий, XIII, «Против Агората»)

И наоборот, ссылаться можно не только на собственные заслуги и добродетели, но также на превосходные качества отца, деда, брата. Полистрат в XX речи Лисия сообщает «господам судьям», что младший его брат убил врага, выехав при этом вперед других конников (которые, по-видимому, были не столь ретивы), а старший командует войском и каждому известен своей необыкновенною хитростью.

Входить в детали судоустройства и судопроизводства здесь не место. Важно лишь, что подавляющее большинство дел рассматривалось неким подобием нынешнего суда присяжных —

гелиэей (буквально — «собрание»), состоявшей из 6000 членов (так же, как кворум Народного собрания!) и избиравшейся по жребию, по шестисот человек от каждой филы. Единственные требования к кандидату были гражданское полноправие и возраст не менее тридцати лет. Разумеется, не все 6000 заседали сразу — из их числа (также по жребию) избирался трибунал, чаще всего в составе 501 судьи, но случалось, что и 1001, и 1501, и даже 2501. При жеребьевке «присяжных» (впрочем, это слово можно бы писать и без кавычек, потому что гелиасты, вступая в должность, приносили клятву судить в согласии с законами и совершенно нелицеприятно) принимались все меры, чтобы ни одна из сторон не могла предвидеть заранее состав трибунала. Гелиасты, участвовавшие в заседании, должны были слушать молча, не задавая никаких вопросов. По окончании судебного разбирательства, состоявшего только из выступлений сторон, судьи, по-прежнему храня молчание (чтобы каждый судил только по собственной совести и ни в малейшей степени не подвергался чужому воздействию), тайным голосованием определяли, виновен ли ответчик, и если признавали его виновным, а закон не предполагал единственной и строго определенной меры наказания, голосовали еще раз, вынося приговор. Любопытно, что подсудимый (и уже осужденный) тоже предлагал свое мнение по поводу того, какого наказания он заслуживает. Немалую роль в осуждении Сократа на смерть сыграло то, что он, когда гелиасты нашли его виновным, не только не каялся, как было принято, но предложил назначить ему нечто вроде пожизненной пенсии. Судьи сочли это издевательством над собою, а они требовали почтения и робысти.

Многочисленность трибунала, которое афинянам, быть может, казалось достоинством, краеугольным камнем беспристрастия и подлинного демократизма, на самом деле было самым злым пороком, источником многих и различных бед. Начать с того, что пятьсот случайно собравшихся человек — это толпа, со всеми приметами психологии толпы, любопытной,

невнимательной, часто жестокой, часто сентиментальной и очень часто несправедливой. Афинская толпа обожала суд, видела в нем прекрасное развлечение и относилась к нему как к развлечению, т. е. требовала занимательности. Знаменитый анекдот о Демосфене демонстрирует это как нельзя лучше и стоит того, чтобы его привести, хотя Демосфена от Пелопоннесской войны отделяют примерно полстолетия.

Выступая по какому-то важному делу, Демосфен заметил, что гелиасты не слушают его, а заняты каждый своими мыслями или же переглядываются, перешептываются. Оратор умолк, а затем начал как бы сызнава:

Господа афиняне, как-то раз один юноша нанял осла с погонщиком для дальней дороги. Когда солнце поднялось высоко и пекло немилосердно, путешественник спешился и хотел передохнуть, а так как никакой тени поблизости не было, то он присел в тени, отбрасываемой ослом. Погонщик стал возражать, утверждая, что сдал внаем только осла, а не его тень. Начался спор, и они отправились в суд...

Тут Демосфен снова умолк, судьи же, которые теперь слушали, затаив дыханье, дружно закричали: «И что же? Что дальше?» — «Вот видите, — с горечью отвечал оратор, — басню о тени осла вы слушаете охотно, а серьезного дела выслушать не хотите».

Совершенно очевидно, что для подобной аудитории не менее (а может быть, и более) важным, чем правота выступающего, было его громогласие, красота модуляций, драматические жесты, умение вовремя польстить, или изобразить робость, или растрогать. Недаром, как видно, Клеон называл афинян рабами собственных ушей.

Гнусной, по сегодняшним понятиям, деталью афинского судопроизводства была пытка рабов-свидетелей. Однако сведения, которые можно почерпнуть из источников на этот счет,

недостаточно однозначны. Так, Лисий в одной речи замечает, что полагаться на рабские показания не стоит, потому что раб под пытку может сказать неправду в угоду своему господину, а в другой утверждает совершенно обратное: рабы от природы ненавидят господ, а потому охотно откроют все, что знают, — лишь бы поскорее избавиться от муки. Существует даже предположение, что пытка фактически не применялась, а была лишь чисто формальной угрозой, имевшей целью оправдать раба перед его владельцем на случай, если показания окажутся неблагоприятны для последнего.

Система наказаний также характеризует культуру народа. Эта система у афинян известна, к сожалению, недостаточно подробно, однако относительная ее мягкость — по сравнению с тем, что известно о других государствах древнего мира, со средневековыми порядками и обычаями и даже, до известной степени, с новым временем, — пожалуй, не может вызывать сомнений. Были, разумеется, преступления, которые карались самым жестоким и беспощадным образом (например, пиратство или убийство при отягчающих вину обстоятельствах); бывали и такие периоды, когда закон становился игрушкой в руках властителей, и смертные приговоры сыпались градом, и даже ближайшие друзья боялись прийти на похороны казненного, а случалось, что и некого было хоронить, потому что палачи не выдавали тело, — так было во время тирании Тридцати. Но в целом и гражданам, и метекам, и, вероятно, рабам закон грозил смертью не столь уже часто, а приводил свои угрозы в исполнение и того реже, потому что, предвидя наихудший исход, обвиняемый мог удалиться за пределы отечества, сам заменяя себе казнь пожизненным изгнанием. Часто уходили в добровольное изгнание и те, кто был приговорен к непосильным для них денежным штрафам.

Злополучная страсть афинян к сутяжничеству, вошедшая у древних в поговорку и осмеянная Аристофаном в комедии «Осы», становится отчасти понятной, только если принять в



расчет все изложенное выше. Было бы ошибкою полагать, что лишь материальная заинтересованность (плата за участие в судебном заседании) ни свет ни заря поднимала гелиастов с постели и гнала на жеребьевку. Тут действовал и духовный интерес; и пусть любопытство или тщеславное сознание своей власти над чужими судьбами — качества отнюдь не похвальные ни в какую историческую эпоху, все же они вполне законные (хотя и безусловно уродливые) дети полисной демократии. Думается, что даже сикофанство было не просто гнусным ремеслом, — если и не каждый сикофант, то многие среди них могли верить, что доносительство есть гражданская доблесть, а если доблесть вознаграждается, так это только справедливо. Конечно, ни афинское сутяжничество, ни тем более доносительство красивее от этого не становятся (чистота побуждений сама по себе ничего оправдать не способна), но психологические их основания не так примитивны, как можно было бы решить с первого взгляда.

Правосознание невозможно, если коллектив не обладает системой моральных ценностей. Речь идет не об этике как о разделе спекулятивной философии (например, этике Сократа, его предшественников или последователей), но об общепринятых моральных нормах, моральных основаниях общества. С другой стороны, гарантом и морали, и правосознания, их хранителем и верховной инстанцией в древнем мире были боги (или единое божество — в данном случае это безразлично). Чтобы выяснить взаимодействие трех этих начал, прежде всего полезно будет выслушать Перикла:

Даже если какой-то человек вообще и не слишком хорош, то мужество в борьбе за отечество, против его врагов, по справедливости важнее всего прочего: ведь такой человек добром стирает зло и приносит общему делу больше пользы, чем причинил вреда... Те, кого мы погребаем сегодня, предпочли принять смерть защищаясь, но

не спасать жизнь бегством, и потому они разом и дурной молвы избегли, и бестрепетно исполнили свой долг, и были унесены в мгновение ока высочайшей волною славы, а не страха... Ежедневно всматривайтесь в могущество нашего города, старайтесь полюбить его, как любят возлюбленного, и когда зрелище его величия достаточно вас воодушевит, вспомните, что все это достигнуто и приобретено храбрецами, знавшими свой долг и стыдившимися позора... Они отдали общему делу свою жизнь, для себя же стяжали нестареющую хвалу и самую почетную могилу — не ту, где они покоятся, но скорее ту, в которой пребывает незабвенною их слава... ибо могила славных — это вся земля... Им-то и подражайте и, счастьем полагая свободу, свободой же — отвагу, не робейте перед опасностями войны... Удача — это когда человеку выпадает на долю самая достойная смерть (а вам, родители погибших, самая достойная скорбь) и когда жизненный срок отмерен как для того, чтобы жить счастливо, так и для того, чтобы умереть». К этому надо добавить еще одну фразу, взятую из начала речи: «Самыми храбрыми надо по справедливости считать тех, кто с полной ясностью узнал и ужасы, и сладости жизни и все же не отступает перед опасностями.

Не только в этой выдержке, но во всем эпитафии, который Фукидид вкладывает в уста Периклу, нет ни слова о богах. Это удивительное обстоятельство объясняется различными причинами и не в последнюю очередь — религиозным скептицизмом самого Перикла, «зараженного» атеистическим духом своего учителя Анаксагора. С другой же стороны, никто, вероятно, не станет спорить с тем, что греческая религия имеет куда менее выраженную этическую окрашенность, чем, например, христианство или иудаизм.

Далее, примечательно (но вполне понятно), что «этический раздел» Перикловой речи представляет собою вариацию на тему героического кодекса чести, приспособленного к запросам и потребностям классического полиса. Военное время требовало,

прежде всего храбрости и награждало прежде всего славой, — об этом и говорит Перикл. Но это отнюдь не означает, что греки не знали других моральных ценностей, кроме храбрости. По общим представлениям, этический идеал складывался из четырех добродетелей — мужества, воздержности, справедливости и разумности (или мудрости). Вопрос только в том, которой из четырех отдается предпочтение. Перикл у Фукидида, как можно видеть, выдвигает на первый план мужество; Платон спустя полстолетия поставит на первое место справедливость; еще позже Аристотель скажет, что основа всей добродетели в целом — воздержность. Нетрудно убедиться, однако, что важнее всего гармония всех четырех и что ущербность хотя бы одной обесценивает все остальные. Здесь снова находит свое выражение то, что выше было названо антиномизмом греческой культуры. Ведь героический идеал — это безудержная отвага, такая, как у гомеровского Ахилла, классическая же добродетель — это обуздание безудержности, мера, порядок, средний путь между крайностями. Но даже Перикл — вероятно, самое образцовое воплощение классической эпохи — не способен следовать правилу «ничего сверх меры». «Если нас теперь ненавидят, — объясняет он афинянам в Народном собрании, — так это общая участь всех, притязавших на господство над другими. Но кто стремится к высшему, тот поступает правильно, хотя бы он и навлекал на себя зависть и ненависть. И в самом деле — ненависть недолговечна, а блеск и слава остаются в памяти людей навсегда.» Какая уж тут воздержность, какая гармоничность! Но стремление к гармоничности, поиски ее не прекращались и — в диалектическом сочетании со своею противоположностью — составили если и не самую главную, то одну из главнейших опор творческой мысли греков во всех областях ее применения.

Примечательно еще и то, что добродетель (или доблесть) связывается с надеждою лишь на славу, но не на счастье. Еще в полной силе гомеровский, то есть чисто героический, взгляд на

доблесть: самый доблестный (и самый славный) может быть и самым несчастным, как, например, Ахилл, и никакая слава, прижизненная или посмертная, счастья заменить не может. Счастье же оказывается чем-то по преимуществу внешним: счастлив тот, кто здоров, красив, богат (богатство должно быть не слишком большим и, главное, честно приобретенным) и молод (иначе говоря, способен на юношескую полноту радости, приближающую к богам).

Но не надо обманываться, полагая, будто два «счастья» — греческое и сегодняшнее — отделены одно от другого стеной. Различие кроется больше в способе выражения, чем в существе дела. Платон, который с такою резкостью противопоставлял тело и душу, называл тело могилою души, ее тюрьмою, оковами, этот же самый Платон описывал добродетель и порок в чисто телесных терминах. Добродетель, — говорил он, — это здоровье, красота и добропорядочность души, порок — это ее болезнь, недуг, безобразие. Эта особенность выражения связана с важной и характерной для античного мышления категорией «калокагатии», категорией столько же этической, сколько эстетической. Слово «калокагатия» составлено из трех греческих слов: *kalos*, т. е. «красивый», «прекрасный», *kai*, т. е. «и», *agathos*, т. е. «добрый», «хороший», «благородный». Смысл термина таков: ничто доброе внутренне невозможно в безобразной или недостойной внешней оболочке. Философия еще и до Платона пытается разрушить это понятие, но безуспешно: не только для V, но и для IV века оно одно из фундаментальнейших. К нему еще надо будет вернуться в дальнейшем, но сперва следует заполнить пробел, оставленный Периклом, и рассказать о религии древних греков.

Пытаясь определить ее в самом общем виде, можно сказать, что это был антропоморфический политеизм, т. е. почитание многих богов в человеческом образе, свободное от жесткой, обязательной для всех верующих догмы и не знающее особых священных книг, но направляемое и охраняемое государством и

потому обязательное для всех граждан. Античная веротерпимость весьма однобока: каждый волен верить во что ему угодно, но НЕ верить в то, во что верит все общество, он не волен. Культы чужеземных богов — вещь вполне допустимая, пренебрежение к отеческим богам — преступление. Сократ — нечестивец, собственно, не потому что, как гласило обвинение, он пытается ввести новых богов, но потому, что отрицает старых. А эти старые — испытанные хранители и защитники города: оскорбление, нанесенное одним из граждан, может вызвать их гнев против всей общины — точно так же, как гнев Ахилла, оскорбленного Агамемноном, приносит неисчислимые беды всем ахейцам (вполне понятно — «кодекс чести» у богов тот же, что у гомеровских героев). Стало быть, кощунство есть государственное преступление, поскольку последствия его могут оказаться губительны для всего государства.

Жестокие и неумолимые в мести, боги, по-видимому, не способны любить людей, так же как и человек не способен любить бога. «Нелепо было бы, если бы кто вдруг объявил, что он любит Зевса», — эти слова принадлежат если не самому Аристотелю, то кому-то из его ближайшего окружения. Но такое утверждение находится в явном противоречии со многими литературными и историческими свидетельствами. Достаточно указать на гомеровского Одиссея, любимца Афины, или на афинян, бесспорно испытывавших особую привязанность к своей богине. Противоречие объясняется многослойностью религиозных представлений древних греков. Для более архаических периодов характерна полная отчужденность человека от божества, позже пантеон начинает «морализироваться», между смертными и бессмертными устанавливаются связи все более прочные. Но архаическое не изживается, оно существует наряду с новым. Классическая эпоха (иначе говоря, «век Перикла» или канун Пелопоннесской войны) видит в человекоподобном божестве нечто более мощное, более великое телесно и духовно,

нежели человек, но непроходимой стены между тем и другим не воздвигает.

*Един род людей,  
Един род богов;  
От одной матери получили  
Дыхание оба.  
Но громадно различие  
Меж силами, кои уделены  
Смертным и бессмертным:  
Мы — ничто,  
Они — под вечным кровом  
Медных небес.  
И все же что-то приближает нас к ним —  
Величие ли ума, мощь ли тела...*

(Пиндар)

Отсюда — своего рода равноправность в обращении человека с божеством. Жертвоприношения греков — это пир с друзьями, хотя и безмерно великими, молитвы — просьбы о помощи с напоминанием о собственных былых заслугах и одолжениях, а не униженные мольбы с признанием в своих грехах, ничтожестве, недостоинстве. Нарушение этого равновесия, равноправия в какой бы то ни было форме — будь то чрезмерный страх перед бессмертными или, напротив, ослабление чувства дистанции — свидетельствуют о кризисе классического мировосприятия. Так, в V веке изображения богов и героев никогда не бывают просто «образом и подобием» человека: это всегда образцы неисчерпаемой мощи, совершенной гармонии, беспредельной уверенности в своих силах. Напротив, прославленные шедевры греческой скульптуры IV века апеллируют лишь к телесной красоте: боги Лисиппа и Праксителя — небывало прекрасные люди, и только.

Но, выполняя свою социальную задачу — цементируя полисный коллектив, греческая религия должна была еще доставлять «пищу духовную» каждому из членов коллектива в

отдельности: не следует предполагать, будто «духовное окормление» — функция лишь монотеистических религий, таких, как иудаизм или христианство, скорее любая религия рождается в ответ на духовные искания человека и лишь затем занимает место в системе общественных отношений и ценностей. Человек же, отдельно взятый человек, боялся неведомого в природе и в себе самом. Облекая эти неведомые силы в зримое, человекоподобное обличье, античное многобожье успокаивало страх, объясняло непонятное. Однако — не до конца. Чувство беспомощности и опасного невежества оставалось. К нему, по-видимому, восходит типично греческое представление о «зависти богов»: бессмертные не выносят чрезмерной удачи смертных, счастливцу не миновать расплаты за свое счастье. И никто, кроме самого же божества, не в силах подсказать, где кончается мера и начинается дерзкая чрезмерность (тоже чрезвычайно типичное для греческого мироощущения понятие). Отсюда вера в гадания и оракулы и чрезвычайно важная роль жрецов-предсказателей, возвещавших волю богов (т. е. будущее) по разного рода приметам: по внутренностям жертвенного животного, полету птиц, атмосферным явлениям (дождь, снег, гром), диковинным событиям (когда подлинным, а когда и вымышленным, вроде явления призраков) и т. п. Предполагалось, однако, что предсказатель не просто мастер своего дела, усвоивший, что означает каждая из примет или их сочетания, но что он вдохновлен свыше: само греческое слово, означающее искусство предсказания, *mantike*, — одного корня с *mania*, т. е. «одержимость», «священное безумие». Поэтому особым доверием пользовались вещие сны (так, по снам гадали, а точнее, назначали лечение жрецы в святилище бога врачевания Асклепия в Эпидавре) и пророчества, изрекаемые в состоянии экстаза, прежде всего — прорицания жрицы в Дельфах, в храме Аполлона Пифийского, самом знаменитом прорицалище древнего мира.

Обращения за советом к оракулу — совсем не то же самое, что для сегодняшнего человека визит к гадалке, не следствие предрассудка или вполне прагматического желания узнать, что будет дальше, но насущная духовная потребность: голос божества утишал тревогу, внушая, что есть и порядок и цель в этой жизни, которая слишком часто кажется и хаотической, и бессмысленной. Несомненно, с другой стороны, что почва для предрассудков и суеверий существовала самая благодатная. Греки охотно разгадывали приметы и «знамения» сами, без помощи профессионалов, и «знамением» было все, что угодно, — и случайная встреча, и ненароком услышанное или оброненное слово, и чох... Выше упоминалось, что суеверный ужас Никия перед лунным затмением оказался одной из решающих причин гибели афинского войска под Сиракузами, и Фукидид убежден, что это было именно суеверие, а не благочестие. Но провести четкую границу не так-то легко.

Нет религии, которая не обнаруживала бы интереса к смерти, к тому, что ждет человека после кончины. Правда, у греков этот интерес был гораздо меньшим, чем у христиан, для которых истинная жизнь начинается только за гробом, или у древних египтян с их всепоглощающей заботой о посмертном существовании; и это вполне понятно, если вспомнить то, что говорилось об отношении греков к смерти. Но общий кризис полиса сказался, разумеется, и здесь. Загробные муки и загробное блаженство или переселение души из одного тела в другое как особое искупление (или очищение) страданием — эти и подобные им идеи, скорее всего, глубоко чужды древнейшей греческой культуре. Нет нужды выяснять здесь, откуда «проникла в греческие жилы эта капля чужой крови» (по удачному выражению одного немецкого исследователя), важно лишь то, что на рубеже V и IV веков она уже бодро бегала по всем артериям и венам, обнаруживая себя и в мистериях (т. е. тайных священнодействиях), и в некоторых философски-религиозных учениях. Общая черта всех мистерий та, что они сулили своим



верным (посвященным в тайну) блаженное бессмертие после завершения земного пути. Самые известные среди них — Элевсинские мистерии, названные так по месту, где они справлялись, городку Элевсин в Аттике, километрах в 20 от Афин. Их «героинями» были Деметра, богиня хлебных злаков, и ее дочь Кора, или Персефона, супруга Аида, владыки подземного царства мертвых. Возможно, что эти таинства восходят к очень глубокой древности, но обостренный к ним интерес и, вероятно, переосмысление древнего содержания приходят как раз на вторую половину V века. Элевсинские мистерии находились под охраной и покровительством Афинского государства, и слава их гремела по всей Греции, но были и такие таинства, на которые власти смотрели с немалым подозрением.

Тайными и во многих городах, особенно с демократическим устройством, подозрительными были также союзы орфиков и пифагорейцев. Не только полумифический певец Орфей, почитатель и слуга бога Диониса, но и философ Пифагор окутаны такой плотной пеленою легенд, что и сами превращаются в божественные, недостижимо вознесенные над земною жизнью фигуры. Фундаментальным для обоих учений был догмат о метемпсихозе (перевоплощении, переселении душ), причем, скорее всего, не только посмертном, но и прижизненном. Оба учения требовали от своих приверженцев особой чистоты жизни, аскетического воздержания — ради загробного блаженства. В V веке обе секты нередко сливались, и соединенная орфико-пифагорейская доктрина оказала важное воздействие на Платона, а через Платона — и на всю мировую философию.

Между тем необходимо подчеркнуть еще раз: тайные учения и обряды в эпоху Пелопоннесской войны лишь начинают завоевывать Грецию; большинство населения прекрасно обходится традиционными формами богопочитания. Они были весьма разнообразны — от примитивного поклонения местным божкам, грубо высеченным из дерева или камня, покровителям стада, или пашни, или пчельника, или просто ручейка

(источники воды, которую так бедна греческая земля, неизменно обожествлялись), божкам, чьи имена давным-давно забыты, а быть может, и изначально безымянным, — до сложнейших церемоний, разыгрывавшихся в храмах и на улицах Афин. Но во всем этом разнообразии можно выделить три главные формы священнодействия: молитвы, жертвоприношения, очищения. Молитва часто сопровождалась приношением: на алтарь божества клали лепешку или первые в том году овощи или плоды — или же лили на землю вино или молоко (возлияния). В отличие от бескровных приношений, жертвы всегда кровавы. В честь разных богов закалывали разных животных — в зависимости от вкусов божества (например, Посейдон предпочитал быков, Асклепий — петухов), его пола (богиням — только самок, богам — самцов), местопребывания (небесным богам — непременно светлых животных, подземным — темных). Как правило, на алтаре сжигали лишь малую часть туши, все прочее делилось между участниками обряда, которые либо жарили и съедали свою долю тут же, либо уносили домой. Устраивались, однако, и всесожжения, по различным поводам, в частности — и ради очищения. Как и во всех древних религиях, очищение у греков имеет целью истребить ритуальную нечистоту, вызванную определенным действием или ситуацией и осквернившую душу и тело разом, нередко — совершенно независимо от злой воли оскверненного. Так, оскверненным считался всякий, кто каким бы то ни было образом соприкасался с новорожденным младенцем или с мертвым телом. Скверной покрывал себя, разумеется, и убийца, даже если убийство было совершенно непредумышленным. Самый распространенный очистительный ритуал — омовение в морской воде. При всесожжениях очистительным средством была кровь жертвы (обычно свиньи). Нечестивое слово искупалось плевком: слюна смывала скверну.

Религия присутствует во всех мало-мальски существенных явлениях как общественной, так и частной жизни древнего

грека. И это не формальность только, не привычный обряд, но подлинная вера в богов, ощущение органической с ними связи. Религиозный скепсис уже родился, но им затронут лишь тончайший «элитарный слой»; народу он вполне чужд и потому враждебен. Подлинного же атеизма (типа, скажем, лукиановского) еще нет и долго не будет.

Общественные религиозные празднества были важнейшими событиями года, вполне понятно, что во многих городах, в том числе и в Афинах, ими определялся календарь, точнее — названия месяцев.

Греческий календарь был солнечно-лунным, т. е. граница года определялась известным положением солнца (например, зимним солнцеворотом или осенним равноденствием), а месяца — новолунием. Но двенадцать лунных месяцев короче солнечного года, и, чтобы разрешить противоречие, время от времени вставляли дополнительный, тринадцатый месяц. В разных местах это делалось по-разному. В Афинах год начинался в первое новолуние после летнего солнцеворота (в конце июня). В 432 году, в самый канун Пелопоннесской войны, было предложено прибавлять по семи месяцев в течение девятнадцатилетнего цикла. Это давало сравнительно высокую точность приближения к астрономическому году. «Полные месяцы» (30-дневные) чередовались с «пустыми» (29-дневными); составною частью месяца была декада, т. е. десяток (дней).

Первый месяц афинского календаря именовался гекатомбеон — от слова «гекатомба». Первоначальное его значение — «сто коров», более позднее — «массовое жертвоприношение». В последние дни гекатомбеона, в заключение Панафиней, главного праздника в честь Афины и, стало быть, «национального праздника» города Афин, на большом алтаре богини закалывали столько коров, чтобы хватило, на угощение всем гражданам.

Второй месяц — метагитнион, названный по празднику Метагитнии. Содержание и смысл этого древнего праздника точно не известны; ясно лишь, что он как-то связан с переменою

соседей (*geiton* — сосед) и, по-видимому, с переселением, может быть — с тем первоначальным «сселением» нескольких деревень или хуторов, с которого «начались» Афины.

Месяц боэдромион получил свое название от праздника Боэдромии, справлявшегося в честь Аполлона-Боэдромия, т. е. «помогающего в битвах».

Пианопсион звался по Пианопсиям, еще одному празднику Аполлона; в ритуал праздника входил особый, очень древний обряд — богу подносили блюдо вареных бобов (по-гречески *пуапоі*).

Мэмактерион — по Мэмактериям, празднику в честь Зевса Буйного (по-гречески *maimaktes*), т. е. «повелителя осенних бурь»: как раз начинались осенние непогоды на море, закрывалась навигация.

Посидеон, по-видимому, в объяснениях не нуждается.

Гамелион — «месяц браков» (по-гречески *гатоі*): в этом месяце справлялись Гамелии, праздник в честь бракосочетания Зевса и Геры.

Антестерион ведет наименование от Антестерий, т. е. «Праздника цветов» (по-гречески *антоі*), справлявшегося в честь Диониса.

Элафеболион — от Элафеболий, празднества в честь богини охоты Артемиды, одно из священных прозвищ которой было *elaphebolos*, т. е. «пронзающая оленя».

Мунихион — от Мунихий, праздника богини, чтимой в Мунихии (гавани близ Афин); это была опять-таки Артемида, в честь которой шестнадцатого мунихиона устраивалось пышное шествие из Мунихия в Афины.

Таргелион — от Таргелий, празднества Аполлона, которому подносили хлеб даже не из первин урожая (жатва еще не начиналась), а из нарочно выбранных на зреющей ниве колосьев; этот хлеб назывался особым именем — *thargelos artos*.

Скирофорион — от Скирофорий, празднества в честь Афины Скирской (ее храм находился в пригороде Скир).

Один этот перечень (не учитывающий и половины афинских праздников, ни, главное, того обстоятельства, что многие из них длились по нескольку дней — по три, по четыре, даже по пять!) позволяет почувствовать, какую роль в жизни грека играли религиозные торжества. Необходимо, однако, иметь в виду еще и следующее: во-первых, теснейшую связь религиозного чувства с патриотическим — восхваляя мощь и величие божества, граждане утверждали величие и мощь своего города, охраняемого этим божеством; и, во-вторых, обычный состав религиозного празднества, включавшего в себя разнообразнейшие состязания, как спортивные, так и художественные (музыкальные, драматические), даже конкурсы художественных изделий (состязания между гончарами и вазописцами), даже конкурсы красоты. Иначе говоря, религиозное торжество было и средством воспитания, и любимейшим народным развлечением. Война расстроила все течение «церковного календаря». Часть церемоний сделалась вообще невозможной — из-за вражеской оккупации или военных действий; те же обряды, которые все-таки исполнялись, сильно потеряли в блеске, пышности и богатстве. Судя по комедиям Аристофана, мечта афинянина о мире — это во многом мечта о довоенных празднествах.

Но обряд, церемония, культ не существуют сами по себе — они лишь форма, внешнее выражение какого-то содержания, заключенного в религиозном учении. Для греческой религии это совокупность преданий о богах, так называемых мифов. Хотя они, как уже сказано, не были кодифицированы, греки чтили их как священное предание, веря в их истинность так же, как мусульманин — в истинность своего Корана. Впрочем, своего рода кодификации греческие мифы все же подверглись: громадный и чрезвычайно разнородный материал был сведен воедино и систематизирован эпической поэзией. Однако предания о богах и героях (смертных, но обладающих божественной силой и при жизни, и после смерти потомках богов)

мифологическим эпосом были не просто собраны и приведены в порядок — они получили новое осмысление и истолкование. Центральной темой греческой мифологии в том виде, в каком она открывалась через эпические поэмы, был человек и его отношение к богам. Мифологический эпос показывал образцы поведения, достойного человека, но именно показывал, а не внушал отвлеченно. Поэтому он мог стать основой всего образования и воспитания и, одновременно, питательной почвой всего греческого искусства, как изобразительного, так и словесного. Взывая разом и к интеллекту, и к чувству, и к воображению, мифология вооружала не только набором стереотипов действия и мысли, легко приспособляемых к весьма широкому кругу ситуаций, но — что гораздо важнее — методом для обогащения новым опытом. Очень глубокое и очень подробное знакомство с мифологией практически всего народа — вот что надо иметь в виду в первую очередь, говоря о духовной культуре древних греков.

Ни в чем, быть может, различие между Афинами и Спартой так не бросалось в глаза, как в воспитании и образовании. Во всяком случае, Перикл, касаясь этой темы, от скрытой полемики переходит к открытой:

Что до воспитания, то они (лакедемоняне. — *III. М.*) с самого начала, с детства приучают себя к мужеству изнурительными упражнениями, мы же ни к чему себя не принуждаем и, однако, ничуть не меньше их готовы встретить любую опасность... И если мы без колебаний идем навстречу опасностям — скорее из умения смотреть на вещи легко, чем по привычке к трудностям, с отвагой, внушенной скорее всем образом нашей жизни, чем одним лишь уважением к закону, — то преимущество, безусловно, на нашей стороне: мы не изнуряем себя заранее тревогами о будущих бедствиях, когда же час испытания настает, оказываемся не трусливее тех, кто изнемогал в заботах бесперывно. Стало быть, и по этой

причине наше государство тоже заслуживает восхищения. Да, ибо мы любим красоту, сопряженную с простотой, и мудрость, свободную от бессилия...

Эта выдержка из Периклова эпитафия принадлежит к числу цитируемых наиболее часто. И по заслугам: она объясняет многое в мировосприятии классической эпохи.

Цель воспитания в любом греческом полисе, независимо от политического устройства, — это воспитание гражданина. Довольно, государство не может оставаться в стороне, более того, оно не может доверить это дело каждому из своих членов в отдельности, как бы ни было развито чувство взаимного рвения, заботы об общем благе, ответственности перед коллективом. Воспитание будущих граждан — одна из важнейших задач и забот государства. Именно так судили Платон и тот же Платон, первые античные теоретики государства (правда, они жили уже в следующем, IV веке, но, скорее всего, в основе их взглядов лежит устойчивая традиция). Оба требовали строго образного, обязательного, а в случае надобности и принудительного воспитания. Но практика, как всегда, не совпадала с теорией.

Государством, стоявшим всего ближе к идеальному — с этой сугубо теоретической точки зрения — полисному воспитанию, была Спарта. Та самая Спарта, о которой тот же Аристотель, как упоминалось, говорил, что в Лакедемоне воспитывают скорее волков, чем людей. Соглашаясь с этим, нельзя, однако же, не согласиться и с другим: спартанское воспитание было в высшей степени целесообразным и целеустремленным. Все в нем было подчинено одной-единственной задаче — формированию идеального воина. А так как понятия гражданина и воина в Спарте совпадали, выходит, что «воспитание волков» — для лакедемонян не укор, а похвала (хотя, конечно, Аристотель и не думал их хвалить).

Оно начиналось задолго до «школьного периода», практически — с самого рождения, когда, как гласит предание, старики

осматривали новорожденного и решали, оставить ли его в живых или предать смерти: всякий, кто появлялся на свет с каким-либо телесным изъяном или просто слишком слабым, не мог рассчитывать на успехи в ратном искусстве, а потому заведомо был не нужен государству, а потому оказывался для него обузой, а потому, разумеется, никакого права на жизнь не имел.

Еще младенцем будущий спартиат приучался не бояться темноты и одиночества и не капризничать попусту, есть все подряд, что ни дадут. Его никогда не пеленали — чтобы не стеснять свободы движений. Спартанское воспитание в семье, продолжавшееся до семилетнего возраста, обладало, по-видимому (поскольку никакие подробности не известны), многими достоинствами — недаром афиняне и другие греки считали удачею найти няньку из Спарты. Но в семь лет детство кончалось и начиналось, говоря высоким стилем, служение государству или «общему благу», длившееся уже до конца жизни. Детей объединяли в отряды, которыми командовали юноши от 16 до 20 лет; отряды делились на «звенья», и в каждом верховодил самый сильный и храбрый из мальчиков. Иными словами, главенство доставалось с бою. Вообще драки среди детей происходили беспрерывно — воспитатели умышленно их провоцировали, считая одним из лучших способов закалки — и физической и духовной. (Вот какое неожиданное обличье приняла в Лакедемонне греческая любовь к соревнованию.) Юные воспитанники лакедемонского государства проводили в обществе друг друга круглые сутки: они ночевали в общих спальнях, на камышовых подстилках, которые приготовляли для себя сами. Режим был крайне суровым. Зимой и летом дети ходили босые и полуголые. Баню посещали не чаще нескольких раз в году, по самым большим праздникам. Что касается рациона, то скудность его или обилие зависели только от самих воспитуемых: их почти не кормили, внушая при этом, что единственный путь к сытости — ловкая кража. Большинство, надо полагать, нередко голодало, зато все учились незаметно подкрадываться, обманывать бдительность



сторожей, координировать свои действия, наконец: такое предприятие, например, как похищение готовых кушаний со стола взрослых, собравшихся на общую трапезу, требовало не просто ловкости, как ограбление сада или огорода, но дальновидного стратегического плана и дружных совместных усилий.

Крали все, что попадалось под руку. Каждому известен анекдот, иллюстрирующий спартанскую выдержку: мальчик крадет лисенка, прячет за пазухой и погибает, потому что зверек рвет ему когтями и зубами живот, а он молчит, не желая выдать себя. Но если отвлечься от хрестоматийного восхищения хрестоматийною доблестью маленького вора, возникают два любопытных вопроса: зачем голодному мальчишке лисенок? И почему он так упорно молчал, прижимая свою злополучную добычу к растерзанному животу? Если диапазон ответов на первый из них очень широк: «детское любопытство сильнее голода», «надеялся выменять лисенка на что-нибудь съедобное», «хотел полакомиться лисьим мясом» и т. д. и т. п. — то на второй можно ответить без колебаний и безошибочно: он просто-напросто боялся, потому что старшие рекомендовали младшим лишь УДАЧНУЮ кражу, а пойманного и уличенного воришку драли без всякой пощады.

Впрочем, жестокие наказания ждали малолетних лаконцев за любую провинность: страх был одним из столпов спартанского воспитания.

В чем же, однако, состояла спартанская наука, кроме как в умении терпеливо переносить боль и всевозможные лишения, повиноваться старшим, ловко подкрадываться? Да именно в этом и была самая ее суть — в искусстве побеждать врага и собственную слабость. Гимнастическая и военная тренировка была ее основным содержанием. Все «общее образование» сводилось к начаткам чтения, письма и музыки, да и музыки-то, так сказать, строевой: хорошо слаженная хоровая песня помогала держать равнение в рядах.

Необходимо, однако, заметить особо, что именно в годы этого своеобразного учения приобретал маленький лаконец особое искусство выражать свои мысли предельно сжато, выразительно и афористично, искусство, которое и по сей день на всех языках зовется лаконичностью. Мальчики выучивались ему, присутствуя, в качестве безмолвных зрителей, за трапезами взрослых. «Их приводили туда, точно в школу здравого смысла, где они слушали разговоры о государственных делах, были свидетелями забав, достойных свободного человека, приучались шутить и смеяться без пошлого кривляния и встречать шутки без обиды» (Плутарх). И еще из того же Плутарха:

Детей учили говорить так, чтобы в их словах едкая острота смешивалась с изяществом, чтобы краткие речи вызвали пространные размышления. Как уже сказано, Ликург придал железной монете огромный вес и ничтожную ценность. Как раз наоборот поступил он со «словесной монетою: ...ведь подобно тому, как семя людей, безмерно жадных до соитий, большею частью бесплодно, так и несдержанность языка порождает речи пустые и глупые.

Между 16 и 20 годами спартанские юноши проходили через серию особых испытаний, отчасти напоминающих те обряды, которые у первобытных народов превращают подростка в равноправного мужчину (обряды инициации). Некоторые исследователи предполагают, что к их числу надо отнести и печально знаменитые криптии — упоминавшиеся раньше тайные убийства илотов. Действительно, то, что о них известно (молодой человек уединялся, прятался в необитаемых местах, бродил по ночам, а днем спал в каком-нибудь укрытии, и так до тех пор, пока не прольет кровь илота), заставляет предполагать, что этот обычай восходит к самой глубокой древности. Не только жестокость криптий (бессмысленная лишь с точки зрения цивилизации, но полная величайшего смысла с дикарской точки

зрения), но и их глубокая архаичность одинаково характерны для «спартанской ветви» греческой культуры.

Поклонники спартанского воспитания (а таковые были не только в древности, они существуют и поныне) могут возразить, что мы слишком мало знаем о конкретном содержании спартанской системы, чтобы осуждать ее. Действительно, наши сведения скудны, но и у современных лаконофилов они нисколько не полнее. Речь идет только об одном: какой из двух древнейших в Европе культурных традиций отдать предпочтение, какую считать более близкой насущным проблемам сегодняшнего дня? Да, ибо отнюдь не строго научная бесстрастность водит пером тех, кто восхваляет лаконскую суровость или афинскую гуманность: первые желают покончить с «разболтанностью и разгильдяйством», битничеством и хиппиизмом любой ценой, для вторых спартанская суровость — лишь благозвучный синоним тоталитарного оболванивания молодежи, идеал «гитлерюгенд», цена совершенно несуразная и невозможная, потому что уплатить ее означало бы обанкротиться самым катастрофическим образом. И компромисс не только невозможен, он и не нужен, потому что афинское воспитание, известное несравненно более полно и подробно, чем спартанское, совсем не равнозначно «разгильдяйству», или изнеженности, или капризной педократии (власти детей).

В Афинах воспитание и образование ребенка было частным, семейным делом, и никто не мог в это дело вмешаться или же потребовать отчета от главы семьи. И однако лишь в редчайших случаях оставался сын афинского гражданина или метека полным неучем: обычай, основывающийся на полисном чувстве ответственности, был властелином еще более взыскательным, чем закон.

До шести лет мальчик оставался под женскою опекой, на женской половине дома.

У него было много игрушек, главным образом глиняных: тележки, кони, свинки, петушки, голуби. Не чувствовали себя

обделенными и девочки: археологи находят в раскопках массу осколков глиняных куколок. Были у детей и живые игрушки — щенята, утята, разные ручные зверьки и птицы. Любопытно, что, в отличие от современных ребятишек, повозиться с кошкой или котенком маленькие греки не могли: кошка была заморским животным, экзотическим обитателем Египта.

Как и всем малышам во все времена, матери и няньки пели им песни, рассказывали сказки, пугали бабой ягой (естественно, греческой и по-гречески называвшейся), волком. И если про песни, которые звучали над колыбелями и детскими постельками в Афинах, ничего определенного сообщить невозможно, то о сказках кое-что известно. В частности — и это особенно существенно, — сказка вплотную примыкала к мифу, хотя и никогда с ним не сливалась. Если миф — непоколебимая и несомненная истина, то сказка — столь же несомненный вымысел, забава, средство скоротать долгий зимний вечер. Граница между сказочным и реальным (а мифическое — такая же реальность, как осязаемое собственными пальцами!) была вполне четкой, и хотя один и тот же персонаж, например хитроумный скиталец Одиссей, мог быть героем и сказки и мифа, одни его приключения считались подлинными событиями, другие — веселыми, или жуткими, или поучительными выдумками. Но все равно Одиссей остается Одиссеем, и стало быть, знакомство с мифологией начиналось чуть ли не с пеленок. Конечно, были в репертуаре рассказчиц и сказки о животных, и скорее всего, они были похожи на басни, известные под именем Эзоповых: короткая, суховатая история с моралью в заключение.

Шести лет от роду мальчик поступал под надзор «педагога». Это слово буквально означает «проводящий ребенка» (то есть раб, провожающий его в школу и обратно). Афинский «педагог» состоял практически безотлучно при молодом господине целых двенадцать лет, пока тот не становился эфебом и не уходил служить в войско. Рано поутру «педагог» будил своего питомца и отводил в школу. Однако это понятие для Афин

времен Пелопоннесской войны сильно отличается от современного.

Прежде всего, классов не существовало, занятия были только индивидуальные. «Педагог» приводил мальчика на урок и садился подле него, так что позже, дома, мог исполнить роль репетитора и проследить, насколько добросовестно выполнено домашнее задание. Далее, предметы «программы» проходились не параллельно, а последовательно; соответственно, сменяли один другого и учителя. Первым был так называемый «грамматист». Сначала он обучал новичка чтению, что занимало немало времени, поскольку методика была самая примитивная: сперва буквы, потом двухбуквенные слоги, потом трехбуквенные, потом четырехбуквенные. И все вытверживалось наизусть. Когда со словами было покончено, принимались за беглое чтение — тоже дело не из простых, поскольку в тогдашних книгах (папирусных свитках, написанных очиненною и расщепленною на конце тростинкой) не было не только знаков препинания, но даже промежутков между словами. Читали только вслух; чтение про себя показалось бы греку чудом.

Выучившись читать, переходили к письму. Начинали с навощенных табличек, на которых учитель тонкой линией намечал очертания буквы, а ученик обводил. Писали «стилем» — заостренной палочкой. Другой конец, противоположный острию, имел форму лопатки, им стирали (а точнее — заглаживали) написанное. Потом наступала очередь папируса, чернил и тростникового пера.

Читать и писать учились не меньше (а нередко и много больше) трех лет. Затем следовали начатки арифметики. У греков не было цифр, числа обозначались буквами, каждое число из разряда единиц, десятков и сотен — своим знаком (т. е. 24 буквы греческого алфавита плюс еще три старинные, вышедшие из употребления буквы). Особого обозначения для нуля не было; таким образом, и запись чисел и самые несложные действия над ними составляли существенную трудность. Скорее

всего, вершиною премудрости для школьника была таблица умножения и элементарные сведения о дробях, совершенно необходимые как при денежных, так и при всех прочих практических расчетах, поскольку основой и денежной системы, и системы мер и весов были простые дроби. Например, стадий (ок. 185 м) был равен 100 сажням (название чисто условное, по-гречески — *orgyia*, т. е. «размах рук»). сажень — 4 локтям (*pechys*), локоть — полутора футам (по-гречески *rous*, «стопа», то же, что английское *foot*). Высшая денежная единица, талант, делился на 60 мин, мина — на 100 драхм, драхма — на 6 обол, обол — на 8 халкусов («медяков»).

Но все это лишь приготовительные ступени к образованию в собственном смысле слова. Само же образование начинается с чтения поэтов, точнее — с чтения Гомера. Многие ученые предполагают, что Гомера дети изучали под руководством уже следующего учителя — кифариста, преподавателя музыки, так как стихи у греков не читались, но пелись под аккомпанемент кифары, семи-, восьми- или девятиструнного инструмента. Некоторые считают, что с первыми поэтическими текстами ученик знакомился еще у грамматиста. Так или иначе, учитель преподносил детям Гомера не только (и не столько) как образец художественного совершенства, но как величайшего мудреца, знатока и наставника жизни, источник всех без исключения необходимых сведений и познаний. По Гомеру учились верить в богов (и получали твердое о них представление) и почитать старших, узнавали, как управлять государством и пристойно вести себя в обществе, узнавали, что прекрасно и что дурно, что такое воинская храбрость и гражданский долг; даже в медицине, естественной истории, ремеслах наставлял все тот же Гомер. Не знающий Гомера не вправе считать себя не только что образованным человеком — но и греком-то считать себя не вправе. И напротив, знание Гомера (а многие знали наизусть обе поэмы целиком или хотя бы одну из них), безусловно, приобщает человека к греческой культуре. Поэтому с полным

основанием можно говорить об уникальном значении гомеровских поэм для духовного мира греков; оно совершенно сопоставимо со значением Библии для средневековой Европы.

Гомер был главным и универсальным для всех греческих городов «стабильным учебником», но не единственным. То, что учитель музыки включал в свой курс помимо Гомера, от места к месту менялось. Спартанцы отдавали решительное предпочтение Тиртею (VII век до н. э.), автору патриотических и воинственных стихотворений, воспевающих не сравнимое ни с чем счастье — храбрую смерть в бою за отечество. (Следует заметить, кстати, что эта тема гражданской лирики, занимающая такое важное место в истории европейской поэзии вплоть до нынешнего, XX-го столетия, впервые появляется именно у Тиртея.) Эти стихотворения пели не только подростки, но и взрослые: в походах, после ужина у костра. Лучший исполнитель немедленно получал премию — кусок мяса. Вот как отзывался Плутарх о спартанских песнях, входивших, так сказать, в обязательную учебную программу: в них «было заключено своего рода жало, будившее мужество, нечто, увлекавшее душу восторженным порывом к действию. Слова их были просты и безыскусны, предмет — величав и нравоучителен. То были в основном прославления счастливой участи павших за Спарту и укоры трусам, обреченным влачить жизнь в ничтожестве, обещания доказать свою храбрость или <...>. похвальба ею». Что и говорить, в самом деле, весьма возвышенно и поучительно, но чересчур однообразно, пожалуй.

Афиняне любили Солона, который был не только великим законодателем, но и прекрасным поэтом. Политические и гражданские мотивы занимают важное место и у него, но они не единственные, как у Тиртея: Солон размышляет о нравственных ценностях, о счастье, о лучшем пути в жизни, о высшем назначении, целях и обязанностях человека. Характерно афинский, условно говоря, «гуманистический» дух отличает его от товарищей по жанру — элегиков, к числу которых принадлежит и

Тиртей. Слово «элегия» в применении к тем временам имеет совсем иной смысл, чем ныне. Оно указывает не на содержание стихотворения, а на его форму — так называемый элегический дистих (двустихие).

Первая строка дистиха — гекзаметр, «шестимерник», шесть дактилических, в основном, стоп, традиционный размер эпоса, вторая — пентаметр, «пяtimerник», повторенный дважды трехстопный дактиль с усеченной на два слога последнею стопой.

Древнегреческое стихосложение основано на регулярном чередовании долгот и краткостей. Долгий слог по времени произнесения был равен двум кратким, а потому мог и замещаться двумя краткими почти во всех случаях; и напротив, два кратких слога легко замещались долгим. Уже эта особенность сама по себе предполагает распевную декламацию, иначе говоря — неразрывную связь стиха с песней, с музыкою. Практически всякий поэт был в то же время и музыкантом — композитором, исполнителем. Разделение музыки и поэзии относится уже ко временам после Пелопоннесской войны. Сами термины «лирика», «лирический» относятся, собственно, к искусству игры на лире и пения под ее аккомпанемент.

Что же касается слова *mousike*, то оно означало первоначально искусство Муз вообще, то есть всю совокупность духовной культуры, процесс и плоды деятельности как научной, так и художественной; истинно образованный, культурный и просвещенный человек звался *mousikos*. Впрочем, и музыкальному образованию в нынешнем смысле этого слова придавалось чрезвычайно важное значение. Древние считали, что музыка не только возвышает и просветляет человека, но даже врачует душевные недуги. Хорошая музыка укрепляет (а быть может, и созидает) должную гармонию в человеческой душе, скверная — разрушает ее. То же самое относится и к обществу в целом: Платон утверждал, что введение нового рода музыки способно разрушить существующий государственный строй.



Занятия у кифариста мальчик начинал между 11 и 13 годами. Учился ли он только игре и пению или же и нотным записям (до крайности сложным), неизвестно; в любом случае на изучение начатков музыки уходило около 3 лет. Есть предположение, что кифара формой и конструкцией несколько напоминала нынешнюю гитару (которая и унаследовала ее имя), тогда как струны лиры (от трех до девяти) натягивались на открытую четырехугольную (приблизительно говоря) раму; впрочем, изображение лиры известно достаточно широко. Струны изготовлялись из овечьих кишок; по ним ударяли плектром — палочкой из дерева, металла или слоновой кости — или перебирали их пальцами; смычка греки не знали. Из духовых инструментов школьники знакомились с авлом — флейтой, как обычно переводят это слово, но переводят неверно: по расположению мундштука авл скорее можно было бы назвать гобоем или свирелью. Как правило, играли на двух авлах разом, держа во рту оба мундштука. К авлу относились с известным предубеждением, предполагая, что его резкие звуки расстраивают внутреннее равновесие, и ставя его намного ниже струнных инструментов. Плутарх рассказывает об Алкивиаде:

Приступив к учению, он внимательно и прилежно слушал всех своих наставников и только играть на авле отказался, считая это искусство низменным и жалким: плектр и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, приличествующего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия авлов, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом и песней, авл же замыкает рот, заграждает путь голосу и речи.

Курс музыки включал в себя и элементы пляски. Танец, музыка и слово сливались вместе в том виде греческой поэзии, который назывался мелосом и получил широкое развитие. Мелиский поэт, писавший для хора, выступал в роли не только

композитора и автора текста, но и хореографа-постановщика. Хоровая мелика занимала важное место в религиозных (а следовательно, и официальных, государственных) празднествах, поскольку торжественные гимны в честь богов всего больше были схожи с хороводами, причем каждому божеству подобали свои танцы и песни, носившие особое название: Аполлону — гипорхемы, Аресу — пиррихи, Дионису — дифирамбы... Создавались мелические произведения и чисто светского характера, например хоры, прославляющие победителя на общегреческих играх. Сплошь и рядом в празднествах принимали участие и мальчики, составлявшие особые хоры.

Танец столько же относится к воспитанию духовному, сколько к физическому, начинавшемуся, быть может, и очень рано, но становившемуся главным лишь после музыки или в последний год занятий с кифаристом. Учитель гимнастики назывался педотрибом («тренирующим мальчиков»). Он был владельцем палестры («школы борьбы»), представлявшей собою обнесенный стеною двор с несколькими постройками — для гардеробов, комнат отдыха, бани и т. д. В палестре занятия были уже групповыми: обычно педотриб делил своих учеников на две возрастные группы — до 15 лет и с 15 до 18 лет. Основной частью учебной программы было пятиборье (пентатл): бег, прыжки в длину, борьба, метание диска, метание копья. Все упражнения проводились в палестре, кроме бега, для которого требовался стадион.

Перед началом урока раздевались донага и, вымывшись, натирали все тело маслом. И то и другое — характерные особенности греческой гимнастики; само это слово — производное от *gymnos* — «нагой». Третьей особенностью был непрерывный аккомпанемент авла: музыкой сопровождалась не только обстоятельная «разминка» (как и в сегодняшнем спорте), но все занятие, до последней минуты.

Бегали на различные дистанции — от 1 до 24 стадиев, т. е. от 185 метров до 4 с лишним километров — и очень помногу: это

упражнение считалось особенно полезным для мальчишеского возраста. Прыгали, держа в обеих руках своего рода грузила — от 1 до 5 килограмм — для равновесия; рекордные прыжки достигали 6 метров. Борящиеся осыпали себя тонким песком — без этого рука не могла удержаться на скользкой умащенной коже. Целью борьбы было бросить противника на землю, употребляя любые силовые приемы, любые обманы и «подножки»; только удары были запрещены. Победа присуждалась тому, кто свалил противника трижды. Техника метания диска была примерно такая же, как сейчас; масса диска колебалась от 1 до 4 кг, в зависимости от возраста метателя. Копье метали в цель и на дальность; в длину оно было около 2 м.

У старших к пятиборью прибавлялись кулачный бой и панкратий. В противоположность современным боксерам, кулачные бойцы обвивали ладони и предплечья ремнями с металлическими бляхами — цветами; неудивительно, что их нередко уносили из палестры замертво, а то и мертвыми. Панкратий (всеборье) сочетал приемы борьбы и кулачного боя (но без цветов), а точнее, разрешал противникам все, за единственным исключением: нельзя было выдавливать и выбивать глаза. Зрелище было, по-видимому, в точности такое же гнусное, как сегодняшней кэтч. Любопытно, что в Спарте оба эти вида состязаний категорически не одобрялись и не практиковались, ибо тот, кто признавал себя побежденным, должен был поднять вверх руки, а спартавец сдаться не может, во всяком случае — по официальному идеологическому стереотипу.

Впрочем, и кулачный бой, и особенно панкратий едва ли были характерны для «гимнастического класса» — скорее они принадлежали к жестоким забавам взрослых.

Закончив занятия, ученики педотриба особыми скребками соскребали с себя смешавшийся с маслом и потом песок и снова мылись.

Интересно заметить, что плавание не упоминается ни среди состязаний, ни среди школьных предметов. У греков была

поговорка: «он даже плавать не умеет» — так говорили о полном тупице, невежде, почти идиоте. Для морского народа это вполне естественно. Скорее всего, плавать выучивались задолго до того, как поступали под начало к педотрибу, и умение держаться на воде считали чем-то само собою разумеющимся, вроде умения стоять или ходить. Точно такое же «само собой разумеется» составляет основу всего взгляда на физическое воспитание у афинян. Если Спарта растила воинов, сильных телом и духом (иначе говоря, на первом плане были утилитарные цели), то Афины заботились не столько о силе мышц, наносящих или отражающих удар, сколько о красоте тела, ибо внешнее безобразие просто неспособно служить вместилищем для ценностей духа, для «доблестей»; урод или нескладный недотепа не могут быть ни истинно образованны, ни вообще истинно «хороши». Так общий принцип калокагатии, о котором упоминалось выше, оборачивается системой гармонического воспитания, которое можно было бы назвать также бескорыстно-гуманистическим по сравнению со специализированно-военным спартанским. Отчасти так оно и есть, но необходимо помнить историческую уникальность полисной культуры и обманчивую двусмысленность (если не много-смысленность) терминов: при всей своей привлекательности афинский воспитательный идеал безраздельно принадлежит прошлому, и уже Сократ признавал его обреченность и боролся против него — с позиций и в защиту будущего. Речь об этом — дальше, в заключительной главе.

Вполне понятно, что обучение у частных учителей было платным (за сирот, чьи отцы погибли на войне, платило государство). Насколько обременителен для рядового афинянина был этот расход, узнать невозможно, тем более что хорошему (или, по крайней мере, пользующемуся доброй славой) учителю, бесспорно, платили больше, чем рядовому деятелю народного просвещения, который, к сожалению, и в те отдаленные времена пользовался не большим почетом, чем в любую из

последующих эпох. Ситуация изменилась с первыми начатками высшего образования, которые относятся как раз к годам Пелопоннесской войны.

Строго говоря, первыми «университетами» Европы были пифагорейские общины, возникшие в последней трети VI века до н. э. в различных городах Великой Греции (колонизированной греками Южной Италии) и существовавшие по меньшей мере полтора столетия. Но, хотя пифагорейцы старательно изучали математику, философию и музыку, объединяла их все же не любовь к знанию, но вера: пифагорейство — это, в первую очередь, религиозное движение, науке в нем принадлежит лишь подчиненная, служебная роль. Вот почему основателями высшей школы надо признать софистов.

Первоначально это слово означало знатока какого-нибудь искусства — все равно какого: плотницкого, врачебного или искусства мыслить; затем оно стало обозначать мудреца, а во второй половине V века — платного учителя мудрости. В этом последнем (или в производном от него) значении оно и перешло в новые языки. Мудрость, которой учили молодых людей софисты, была не отвлеченным умствованием (которому вскоре даст имя Платон, назвав его философией, «любовью к мудрости»), а набором знаний, необходимым в практической жизни, уже и точнее — в общественной жизни полиса. Молодежь получала у софистов оружие, открывавшее ей путь к политической карьере; таким оружием в ту пору было красноречие, завоевывавшее сердца с трибуны Народного собрания или судебной трибуны. Итак, главное место в курсе мудрости занимало ораторское искусство, все остальные сведения (из истории, мифологии, грамматики, космографии, права и т. п.) предлагались лишь постольку, поскольку они могли понадобиться в политических дебатах, усиливая аргументацию или, по ядовитому истолкованию противников новой образованности, «делая слабый довод сильным». Язвительность небезосновательная: большинство софистов отвергало вечные истины и

непреходящие ценности, а стало быть — в принципе, — и незаблемые устои полисного существования: веру в богов, любовь к отечеству, солидарность сограждан, святую справедливость и т. д. и т. п. Скептическое недоверие ко всяческим устоям и релятивизм — вот что объединяло весьма неоднородную в политическом и философском отношении софистику, и это же определяет отношение к ней как полисных консерваторов, так и радикалов, как «отцов», так и «детей», чувявших неизбежность перемен и спешивших им навстречу.

Молодежь окружала софистов почетом и обожанием, ловила каждое слово учителя и охотно платила очень большие деньги за софистический курс наук. (До софистов философы принимали учеников лишь в качестве друзей и никакой платы с них, разумеется, не принимали; для софистов занятия с учениками впервые стали профессией.) Граждане солидные и рассудительные, хранители традиций, «почвы» и «корней» глядели на них исподлобья, с неизменным подозрением и неодобрением и никогда не упускали случая расправиться с ними самым беспощадным образом. Так, в 411 году, после сицилийского поражения, общественное мнение возложило ответственность за национальную катастрофу на безбожников, разгневавших небожителей, — и афиняне осудили на смерть самого крупного и даровитого среди софистов, Протагора, вменив ему в вину одно из сочинений, где он объявил: «О богах нельзя сказать, существуют они или нет». Спасаясь от казни, Протагор бежал в Сицилию и по пути погиб в кораблекрушении. Можно не сомневаться, что благочестивые судьи торжествовали и злорадствовали, усмотрев в этом справедливую кару бессмертных.

Излишне объяснять, что в Спарте ни о каком высшем образовании не было и речи. В Афинах абсолютное большинство наемных «учителей науки и добродетели» (как иронически именует их Платон) составляли чужеземцы. Преподавали они либо в домах богатых учеников и поклонников, либо в гимназиях — общественных палестрах для взрослых, бывших

непременную принадлежностью греческого города. Хотя гимнасий принадлежал государству, тренерам приходилось платить, поэтому всегда здесь относились к кругу людей обеспеченных — к тому самому кругу, из которого вербовались слушатели софистов. Беднякам или мастеровым, кормившимся собственными трудами, учиться было и некогда, и не на что; это дополнительно отчуждало и отгораживало широкую массу граждан от пришлых подрывателей основ и обостряло вражду к ним.

Тем не менее гимнасии были истинными центрами общественной жизни и очагами «послешкольного воспитания». Если не все могли позволить себе удовольствие (или роскошь) здесь заниматься, то все без исключения могли прийти полюбоваться на упражняющихся и послушать разговоры отдыхающих от упражнений, а не то и принять в них участие. Такие разговоры очень часто и без софистов принимали серьезное, даже ученое, направление, превращались в своего рода лекции или дискуссии и развивали ум не хуже, чем предшествовавшая им тренировка — тело. Очень характерно, что само слово «школа» (греческое *schole*) означает первоначально «досуг», т. е. отдых от физического напряжения, посвященный умственным занятиям. Вернее всего, имелись в виду именно эти беседы в гимнасиях, точнее — в портиках, окружавших двор для упражнений и нарочно отведенных для подобных бесед.

Разумеется, главной целью посетителей гимнасией были все же не «досуги», а подготовка к состязаниям, столь многочисленным и игравшим столь важную роль во всех празднествах, больших и малых, внутренних и межполисных, панэллинских. И подготовка, и сами состязания исполняли весьма существенную воспитательную функцию, укрепляя и развивая многие стороны полисного мировосприятия, от патриотизма до эстетического чувства.

У греков было четыре общенациональных праздника — в честь Зевса Олимпийского, Аполлона Пифийского, Зевса Немейского и Посейдона Истмийского.

Среди них наибольшею славой и наибольшим авторитетом пользовались Олимпийские игры. Олимпия находилась в северо-западной части Пелопоннесского полуострова и представляла собою сложный комплекс храмов, алтарей, сокровищниц (выстроенных отдельными государствами для надежного хранения казны), общественных зданий и, конечно, спортивных сооружений — нескольких гимнасиев, стадиона, ипподрома. Игры устраивались раз в четыре года, летом (по современному календарю — в первых числах июля) и длились пять дней. Учреждение их теряется в потемках мифической истории, но счет лет в Греции велся по олимпиадам, и первая, с которой этот счет начинается (иначе говоря, первый мало-мальски достоверный исторически олимпийский праздник), приходится на 776 год до н.э. С тех пор они справлялись 293 раза и были прекращены окончательно в 394 году н. э., в правление императора Феодосия Великого, как бесовское наследие языческого прошлого. На время праздника объявлялось священное перемирие, нарушение которого считалось тяжким кощунством. Состязания распадалась на три разряда — гимнастические, конные и мусические. К первым принадлежали: бег, прыжки, метание копья, метание диска, борьба (тот же пентатл, что у педотриба), а также кулачный бой и панкратий. Ко вторым — бега на различного типа колесницах и скачки. Участниками мусических конкурсов были не только музыканты и поэты, но и прозаики. Здесь, на олимпийском стадионе, читал отрывки из своего труда «отец истории» Геродот, и в течение почти двух тысячелетий бытовал трогательный рассказ, как среди слушателей сидел подросток Фукидид и проливал слезы волнения и восторга. К сожалению, ученые нового времени почти единодушно отказывают этому рассказу в достоверности.



Награды победителям были чисто символические: пальмовая ветвь и венок из ветвей священной маслины — дикого оливкового дерева, росшего в ограде святилища рядом с главным входом. В последний день игр, когда судейская коллегия увенчивала победителей, особо выбранный мальчик влезал на дерево и золотым ножом срезал ветви для венков. Но в тот миг, когда глашатай громогласно объявлял имя, отчество и отчество чемпиона, он становился предметом величайшей гордости сограждан, а это было уже нечто вполне осязаемое: его чествовали на пирах и в песнях, освобождали от всех повинностей, ставили ему статую — и дома и в Олимпии, — а случилось, что и кормили за общественный счет чуть ли не всю жизнь. Писатели обозначали ту или иную олимпиаду не порядковым номером, а именем прославленного чемпиона. Фукидид пишет: «В это лето происходили Олимпийские празднества, на которых аркадянин Андросфен одержал свою первую победу в панкратии». Обстоятельства, в которых протекала эта олимпиада военного времени (420 год), достаточно характерны и заслуживают того, чтобы о них рассказать.

Распорядителями на играх искони были элидяне, жители той области Пелопоннеса, где находилось святилище. Они были в большой обиде на спартанцев, которые приняли под защиту их возмущившихся данников. Когда настал срок праздника, элидяне объявили, что Лакедемон не может приносить жертвы на алтаре Зевса Олимпийского и участвовать в состязаниях, поскольку он нарушил священное перемирие, выслав вооруженных воинов в Лепрей (так звался городок на границе Элиды, попросивший помощи у спартанцев). Элидяне требовали, чтобы спартанцы уплатили большой штраф и очистили Лепрей, — те отказались, утверждая, что гарнизон в Лепрей они отправили еще до объявления о перемирии. Тогда элидяне предложили им поклясться, что они уплатят штраф впоследствии, — спартанцы не согласились и на это. Таким образом, девятая по счету олимпиада началась с участием всех полисов, и собственно

греческих, и заморских, кроме Спарты и, разумеется, Лепрея, виновника распри. Распорядители опасались, однако, что лакедемоняне силою прорвутся к жертвеннику, и расставили вооруженные караулы, на помощь к которым быстро явилась тысяча гоплитов из Аргоса, еще тысяча из Мантиней (Восточный и Центральный Пелопоннес), да еще отряд афинских всадников. И все же без скандала не обошлось. Несмотря на запрещение, спартанские колесницы все же участвовали в бегах, и среди запряжек парю первенство выиграла кони, принадлежавшие знатному лакедемонянину Лиху. Узнав об этом, судьи присудили победу запряжке, которая пришла второй. Тогда Лих спустился на беговую дорожку и собственноручно возложил венок на голову своему возничему, что воспрещалось строжайше и безусловно. Тогда особые блюстители порядка (своего рода туристская полиция) набросились на него и как следует избili палками. Теперь уже не только устроители, но все участники в ужасе ждали, что спартанцы устроят набег и учинят массовое кощунство на священной земле. К счастью, общие страхи не оправдались.

Не менее важной и не менее массовой «школой для взрослых» был театр. Возникновение греческой драмы — которое было предметом недоумений и споров уже для самих древних и продолжает служить тем же предметом для сегодняшних исследователей, — относится к эпохе более ранней; для целей этой книги важно отметить лишь несколько вполне бесспорных черт театрального искусства древних греков. Прежде всего — его связь с культом Диониса, божества плодородия, умирающего и воскресающего бога. Театральное представление было религиозным действием, священным обрядом своего рода. Посреди игровой площадки находился алтарь Диониса, почетнейшее в «зрительном зале» место принадлежало жрецу Диониса, все представления устраивались только в празднества Диониса. Вторая особенность, на которую следует обратить внимание, — то, что театральное зрелище находит свое место в специфически

греческой системе агона-соревнования, признанной определить лучшего посредством честной борьбы и нелицеприятного суда. В Афинах авторы и исполнители драматических произведений состязались четырежды в год; главным театральным фестивалем был праздник Великих (или Городских) Дионисий (конец марта — начало апреля), продолжавшийся шесть дней, из которых два отводились для состязаний хоров, исполнявших дифирамбы, а три — для трагических и комических спектаклей.

Но обе эти особенности относятся скорее к числу формальных. По существу же всего важнее то, как — в отличие от нынешнего — воспринимал сценическое действие тогдашний зритель.

Начать с того, что сегодняшней зрительный зал резко делится на две категории — завсегдатаев и случайных посетителей. Если исключить премьеры и специальные просмотры, последних всегда неизмеримо больше, чем первых. В Древней Греции соотношение было как раз обратным. Огромные по сравнению с числом жителей театры вмещали если и не все взрослое население города, то очень значительную его часть. Если афинский театр состоял из 17 000 зрительных мест, это означает, что только на спектаклях большого фестиваля могли побывать все афиняне — и граждане, и метеки, и даже рабы. Так оно и бывало на самом деле, причем доступ в театр был открыт и женщинам.

Далее, для сегодняшнего зрителя (по крайней мере, в основном и в целом) спектакль — это развлечение, и только. Он идет в театр так же, как в цирк или на концерт модного певца, ценит в театральном зрелище по преимуществу занимательность, увлекательность («ох как интересно было!», «чудо как смешно!»), иначе говоря — искусно построенный сюжет или остроумие. Оставляя пока в стороне комедию и рассматривая только трагедию, можно положительно утверждать, что для афинянина все обстояло совсем по-иному. Сюжет драмы заимствовался исключительно из мифологии, которая, как уже

говорилося, была известна каждому не хуже, чем нынешнему абитуриенту — набор стихов и рассказов из школьной хрестоматии. Стало быть, древний театрал не рассчитывал увидеть что-либо «интересное» в нынешнем смысле слова. Например, на «Царе Эдипе» Софокла он знал с самого начала, что гордый царь Фив напрасно с таким упорством отыскивает виновника бедствий, которые постигли его город, что, сам того не ведая, Эдип убил родного отца и женился на родной матери. Сегодняшний зритель смотрит ту же трагедию как напряженнейший детектив, и когда истина, наконец, обнаруживается, он потрясен лишь немногим менее, чем невольный отцеубийца и кровосмеситель: по зрительному залу проносится шелест неопишемого изумления и ужаса. «Вот это закручено! Здорово!»

Отсюда с неизбежностью следует, что древняя трагедия не развлекала, а наставляла и поучала, что ее герои, оставаясь живыми, жизненными, вполне убедительными художественно персонажами древнего предания, были в то же время символами, олицетворяющими типические ситуации, важные для каждого из зрителей непосредственно. Символичность греческой драмы означает, с одной стороны, сочетание рационального воздействия с эмоциональным (поскольку мифологический сюжет был задан лишь в виде контура и от поэта зависело, чтобы «плоть», наполняющая контур, была как можно более упруга и правдоподобна), призыв, обращенный разом и к интеллекту, и к чувству, и к воображению, а с другой — очень высокую степень художественного обобщения. Аристотель недаром ставил поэта выше историка на том именно основании, что последний говорит о единичном, а первый — об общем.

Действительно, проблемы, которые стоят за ситуациями греческой трагедии, предельно общи. Жизнь и смерть, страдания, их неизбежность, их смысл или бессмысленность, право и насилие, правда и кривда, божественное воздаяние... Сами древние, пытаясь определить жанр трагедии, никогда не упускали из виду двух черт — обобщенности и воспитательной

силы. В одном из таких определений говорится, что предмет трагедии — страдания и гибель героев древности, а также погребальный плач по ним; трагический поэт учит зрителя воздерживаться от ошибок и заблуждений и примиряет его с собственными страданиями, чем и приносит существенную пользу обществу. Непосредственно связано с воспитательным воздействием греческой трагедии и то ее свойство, которое Аристотель называл «катарсисом», т. е. очищением.

Катарсис — тот камень преткновения, о который с особым упорством и особой охотой спотыкаются исследователи античности. Дело в том, что «Поэтика» Аристотеля — это, скорее всего, не законченное сочинение, а схематический конспект лекций, сделанный либо самим автором, либо даже кем-то из слушателей. Неудивительно, что в ней много неясностей, но ни одна из них не привлекала столько внимания, сколько пресловутый катарсис. Больше четырех столетий о нем рассуждают и пишут историки и теоретики литературы и искусства — и все никак не могут согласиться друг с другом. В самом деле, «Поэтика» высказывается кратко и непонятно: «Посредством сострадания и страха трагедия совершает очищение подобных чувствований». Но какому бы толкованию ни отдать предпочтение, почти все они согласны в одном: трагедия возвышает зрителя — над неведением ли, над темными ли подсознательными страхами, над порочностью ли — и тем самым оказывается наставницей жизни. Эсхил в «Агамемноне» возглашает:

*Через муки, через боль  
Зевс ведет людей к уму,  
К разумению ведет.*  
(Перевод С. Апта)

Так и трагедия: поднимая над повседневностью, она помогала найти если не смысл, то хоть подобие его в «жизни мышьяй беготне», и если не всегда могла ответить на вопросы,

то хотя бы ставила их со всею остротой и определенностью великого искусства.

Символичность и обобщенность греческой трагедии означают развитую, изоощренную драматургическую технику и возвышенный до предела стиль, местами чрезвычайно сложный для понимания. Об этом можно судить непосредственно, по сохранившимся текстам; по косвенным приметам можно судить о высоком уровне актерского мастерства. И зритель — рядовой, повседневный, «непремьерный» — был способен все понять и все оценить, был чуток к нюансам, самым тонким и сложным, к намекам, самым отдаленным. Интеллигентность и восприимчивость публики — и необходимая предпосылка мифологического символизма древней трагедии, и ее следствие. Едва ли еще какой-нибудь театр — где бы то ни было, когда бы то ни было — может похвастаться такой аудиторией.

Комедия была противоположностью трагедии чуть ли не во всем начиная от истоков: хотя обе сопряжены с культом Диониса, но трагедия возникает из ритуала ежегодного умирания бога, а комедия — из ритуала его пробуждения из мертвых. Трагедия заставляла задумываться над страданиями и находить им объяснение или даже оправдание. Комедия заставляла смеяться над бедами, отметить их, как говорится, с порога, как нечто несущественное, неспособное поколебать стихийное жизнеутверждение и веселость духа. Трагедия предельно обобщала, комедия предельно конкретизировала: это была инвектива, направленная против определенного лица, хорошо известного в городе. Трагедия черпала сюжеты из мифологии, комедия — из политики, из свежайшей «злобы дня». Трагедия писалась высоким слогом, особым, приподнятым над повседневностью языком, язык комедии — живая обыденная речь (лишь искусно уложенная в стихотворные размеры), речь, полная отчаянной брани, неслыханно забористых (по нынешним понятиям) шуток, невероятных непристойностей. Но и комедия, наряду с трагедией, была школою для взрослых: она и

очищала душу от угнетавшего ее мрака (опять-таки катарсис, только иного рода!), и формировала общественное мнение. За долгими застольями гости по очереди декламировали (а точнее — пели) полюбившиеся им отрывки из трагических и комических монологов, и нередко бывало, что новый спектакль оказывался чуть ли не единственной темой застольной беседы. Вольность речей, выражавшаяся как в персональных нападках на самых знатных, сильных и высокопоставленных, так и в своеобразном богохульстве — осмеивании богов и героев (мифологической травестии), была традиционной и, по-видимому, даже санкционированной религиозно прерогативой комедии. Покуситься на эту священную прерогативу не смел никто и никогда. Единственное исключение — постановление о театральной цензуре, вынесенное Народным собранием в Афинах и запрещавшее комедиографу выводить под собственным именем гражданина, которого он осмеивает. Но это постановление сохраняло силу всего три года (439–437), а затем было отменено. Характерно, что как раз в годы войны, когда, казалось бы, малейшее неуважение и к властям, и к богам-покровителям особенно опасны для полиса, афинская комедия беспрепятственно поносит «вожаков народа» (в первую очередь самого Перикла) и насмехается над бессмертными.

Следует оговориться, что обличительная комедия афинского типа — отнюдь не единственный комедийный жанр Древней Греции. Но для кризисной эпохи, составляющей предмет этой книги, она характерна по преимуществу, на годы Пелопоннесской войны приходится период ее расцвета и деятельность самого блестящего ее представителя — Аристофана.

Другие авторы древней аттической комедии (называемой так в отличие от «средней» и «новой» — более поздних и совсем иных по характеру форм) известны лишь по отрывкам или даже только по именам. От Аристофана сохранились полностью одиннадцать пьес, и, хотя это только четверть всего им

написанного, и о поэте, и о его жанре можно судить с достаточной уверенностью.

Общественная позиция древней комедии — последовательный консерватизм. Она защищает классический полис, его идеи и институты от всех и всяческих «разрушителей». Она ненавидит войну — войну вообще, потому что та разоряет крестьянство, социальную основу полиса, и Пелопоннесскую войну в особенности, потому что чует в ней, условно говоря, «империалистическую авантюру», которая, независимо от исхода, разрушит старый порядок вещей. Она презирует город с его изнеженностью, коварством, развращенностью и противопоставляет ему деревню, честную и нравственно крепкую в своей простодушной патриархальности. Она заступает за союзников, угнетаемых хищной метрополией. Она поносит и обливает грязью новую образованность, растлевающую молодежь духом неверия, скептицизма, безбрежного релятивизма, дискредитирующую традиционную полисную шкалу ценностей. Предмет ее постоянных нападок — издержки демократии (авантюризм демагогов, легкомыслие и безответственность народа в Собрании, в Совете, в судах), но ни в коем случае не сама демократия: времена Марафона и Саламина, иначе говоря, афинская рабовладельческая демократия на подъеме, перед «пиком» (но не самый «пик»; движение, а не свершение — это очень важно!) всегда была у комедиографов образцом и меркою для сравнения. Как ни привлекателен казался, а отчасти и ныне кажется, такой идеал, он целиком принадлежал прошлому; защита изжившей себя полисной демократии была делом безнадежным, а в историческом аспекте — реакционным.

Не следует думать, однако, будто единственный интерес комедии для зрителя заключался в остроте нападок, намеков, а очень часто и прямых инсинуаций, политических сплетен (вроде того, например, что Пелопоннесская война изображалась следствием мелочной обиды Перикла: двое парней из Мегар якобы похитили в Афинах двух девиц легкого поведения, одна



из которых якобы приглянулась Периклу, и тот, в отместку, закрыл мегарянам доступ на афинские рынки, что послужило одним из ближайших поводов к войне). Комедийный спектакль представлял собою зрелище необыкновенно яркое, живое и увлекательное. В сюжете, как правило, элементы фантастического гротеска, гротесковой утопии, мифологической трагедии смешивались со строго достоверными бытовыми подробностями. Два старика из Афин основывают птичий город между небом и землей, угрожая и богам, и людям разом, потому что без их разрешения ни одна молитва, ни один жертвенный дымок не могут подняться от смертных ввысь, к бессмертным. Крестьянин, которому опостылела война, решает свести на землю богиню мира и, чтобы взлететь за нею на Олимп, раскармливает навозного жука до исполинских размеров. Женщины из разных городов сговариваются не исполнять супружеских обязанностей до тех пор, пока мужья не откажутся от злополучной страсти к войне, — и вся Греция вкушает, наконец, долгожданный мир. Бог Дионис, тот самый, в честь которого устраивали театральный фестиваль, изображался жалким трусом и, наслушавшись страшных рассказов, взывал о защите к своему собственному жрецу, сидевшему на почетном месте в первом ряду. Вообще, нарушение сценической иллюзии в комедии было обязательным правилом. Только обычно к зрителям обращались не актеры, а хор, состоявший из 24 человек и часто распадавшийся на два «враждующих» полухория. Хоревты не только произносили «речи от себя», но и активно участвовали в действии пьесы, а с другой стороны — исполняли вставные номера, вокальные и хореографические. Комедии Аристофана — бесконечный фейерверк шуток, озорства, балагурства, безудержного веселья. Даже сегодня это абсолютно современный автор, доставляющий непосредственное, не обусловленное ни комментариями, ни классическим образованием наслаждение. Между тем современники веселились и наслаждались еще намного больше, чутко, на лету улавливая все

намеки, сейчас уже вовсе непонятные или требующие подробных объяснений, слыша музыку и песни (комедиограф был одновременно и композитором, и древнюю комедию можно сравнить с опереттой, от которой, увы, уцелело только либретто). И все же задачу свою (как и вообще искусства драмы) Аристофан видел не в развлечении аудитории, не в усаждении слуха и зрения. На вопрос: чем приобретает поэт уважение? — он отвечает: тем, что делает граждан лучше. Если же поэт не только не делает их лучше, но, напротив, развращает, он заслуживает смерти. Об этом говорится в «Лягушках», написанных в 405 году, год спустя после смерти Софокла и Еврипида, ушедших почти одновременно. Афинская трагедия осиротела, и бог Дионис, опасаясь, что его празднества утратят весь свой блеск, спускается в царство мертвых, чтобы вернуть на землю Еврипида, которого ценит всех выше. Но в ходе диспута между Еврипидом и Эсхилом, умершим на 50 лет раньше, он убеждается, что Еврипид был развратителем граждан, а Эсхил — истинным их наставником, и уводит с собою Эсхила, который оставляет кресло первого трагика в подземном царстве Софоклу, Еврипид же впадает в ничтожество. Приговор Аристофана вполне понятен: трагедия Эсхила — это искусство марафонских бойцов, Еврипид — сеятель подрывных идей в новейшем вкусе.

На протяжении всего V века произведения Эсхила, «отца трагедии», продолжали исполняться наряду с пьесами живых авторов, так сказать — вне конкурса. Афинский зритель имел возможность видеть одновременно и сравнивать всех трех великих мастеров трагедии — Эсхила, Софокла и Еврипида, и можно не сомневаться, что суждение зрительской массы в общем совпадало с аристофановским. Эсхила чтили по традиции, быть может, не столько от души, сколько из уважения к прошлому, тем более что тяжеловесность его слога уже и тогда затрудняла понимание. Софокл был истинным властелином и любимцем театра, на состязаниях он одерживал победу за победой. А Еврипид получил первую награду всего пять раз, нередко

проигрывая поэтам самым ничтожным. Зато в посмертной славе Еврипид далеко обогнал и Софокла, и тем более Эсхила: прекрасное доказательство того, что иногда, действительно, творят для будущего и будущее в силах это оценить.

Идейное различие между Софоклом и Эсхилом гораздо меньшее, чем между ними обоими, с одной стороны, и Еврипидом, с другой. Аристотель сообщает: «Софокл говорил, что изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид — такими, каковы они на самом деле». Но примерно то же можно было бы сказать и об Эсхиле, только образцы, которые он показывает, еще выше, еще ближе к титаническому, божественному. Софокл, как и его герои, обладает устойчивым, уверенным в себе, вполне гармоническим жизнеощущением. Мир устроен богами правильно, как верили предки, так надлежит верить и потомкам; вооруженный такою верою и таким оптимизмом человек способен на самые великие свершения. «Испорченный софистическою премудростью» Еврипид мало в чем твердо уверен. Он сомневается и в благодати богов, и в справедливости государственного и социального устройства полиса, между прочим — и в фундаментальнейшем для античности институте рабства, и в здравомыслии афинских руководителей, и в традиционных семейных порядках, обрекающих жену на полное бесправие и вынужденное затворничество, заставляющих сыновей беспрекословно подчиняться любому капризу отцов... С другой стороны, мало-мальски вразумительной позитивной программы — не считая все того же, что у прочих поэтов, пламенного патриотизма и ненависти к врагам Афин — он предложить не может. Чаще всего он только ставит проблему и сталкивает противоположные точки зрения, но собственной позиции не открывает (весьма возможно — за неимением таковой). Он не только скептик, но и пессимист: место бодрой эсхиловско-софокловской веры в силы человека отчасти занимает убеждение, что капризный, слепой случай сильнее всех и всего. Ясно, что идеализированно цельные

характеры, монументальные, обобщенные, образцовые фигуры у него невозможны; зато впервые появляется личность, индивидуальность, со своими страстями и разладом чувств, впервые появляется и любовная интрига в качестве главного двигателя. Но отсюда уже только шаг до ликвидации героической трагедии: миф становится пустой условностью, его персонажи — небрежно надетыми масками, под которыми легко угадываются современники поэта.

Но как раз современники и земляки относились к этим новшествам весьма неодобрительно. «Медея», столь знаменитая впоследствии, быть может самая прославленная трагедия Еврипида, провалилась на состязании, заняв третье — последнее! — место. Это было в 431 году — в самый канун Пелопоннесской войны.

Зато в мастерстве драматурга Софокл намного ближе к Еврипиду, чем к Эсхилу. Даже самые пламенные поклонники «отца трагедии» не отрицают, что его творения еще достаточно примитивны (чрезмерная прямолинейность характеристик, чрезмерная простота композиции, слабость диалога и т. д.). Софокл завершает построение аттической комедии, последовательно освобождая ее от всех эсхилловских несовершенств, а Еврипид уже принимается разрушать только что достроенное здание (например, необыкновенная четкость и стройность софокловской композиции сменяется у него фрагментарностью, обилием неожиданных, а часто и случайных, перипетий, что, несомненно, отражает общее жизнеощущение поэта).

Об остальных афинских трагиках времен Пелопоннесской войны известно слишком мало, а о неафинских — и того меньше.

Равным образом и организация театральных зрелищ известна, по сути дела, только для Афин.

Трагический поэт, желавший участвовать в состязании, должен был представить на рассмотрение архонта, заведовавшего устройством празднества, текст трех трагедий и одной так

называемой «сатировской драмы» — веселой пьесы с неизменно счастливою развязкой (нечто вроде водевиля). Эта тетралогия была связана сюжетно только у Эсхила; начиная с Софокла, каждая часть представляла собою самостоятельное произведение, никак не связанное с остальными частями. Из числа соискателей архонт выбирал троих. Таким образом, всего на Великих Дионисиях показывали девять новых трагедий и три драмы сатиров; к ним присоединялась одна старая трагедия, как правило — эсхиловская, и пять новых комедий; комедиографы выступали с одной пьесой каждый.

Как уже говорилось, автор исполнял обязанности также и режиссера, и композитора, и балетмейстера; впрочем, Еврипид сам музыку не сочинял. Но всего этого было недостаточно — требовались деньги, и немалые, — и каждому из трех соискателей государство назначало продюсера; по-гречески он звался хорегом; хорегия представляла собою род податного обложения богатых граждан. Хорег оплачивал все расходы, главными из которых было жалование хору и костюмы для него. У Эсхила хору принадлежала чрезвычайно важная, а не то и первенствующая, главнейшая роль. Софокл, увеличивший численность трагического хора с 12 человек до 15, делает эту роль гораздо более скромной: песни хора служат лишь лирическим сопровождением действия. А Еврипиду хор уже только помеха, и связь хоровых партий с действием становится все более косвенной и сомнительной. Еще при жизни Софокла и Еврипида произошел и окончательный разрыв традиции: появились трагедии, где выступления хора уже вовсе не были связаны с остальным текстом и представляли собою вокально-хореографические интермедии между актами.

Кроме хорема, каждому драматургу назначался от властей главный актер, подбиривший себе двух помощников: втроем они должны были исполнить все роли пьесы. Костюмы и маски, необходимые для временной труппы, заказывал все тот же хорег. Нет сомнения, что маска — пережиток древнейшего обрядового

действия, но в греческой драме этот пережиток обрел новые и весьма полезные функции. Маска была необходима, если один актер играл несколько ролей, причем не только мужских, но и женских. При громадных размерах театра мимика от большинства зрителей просто ускользала бы, между тем, меняя маски в одной и той же роли, актер мог показать перемену в душевном состоянии персонажа. В комедиях маскам сообщали портретное сходство, так что объект насмешек не только называли, но и показывали. Впрочем, иногда мастера боялись изготовить нужную маску. Так случилось, когда Аристофан поставил «Всадников», осмеивавших Клеона, в ту пору всесильного (он только что одержал победу на Сфактерии), — и Аристофан прямо сообщает об этом публике. Маска покрывала не только лицо, но и голову, и стало быть, служила одновременно париком. Костюмы комических актеров и хоревтов отличались большой причудливостью и нарочитым уродством и часто дополнялись громадным бутафорским фаллосом, свешивавшимся или торчавшим из-под хитона. Скорее всего, это тоже реликт древнего культа плодородия, к обрядам которого восходила комедия генетически; сегодня трудно представить себе такого гномообразного уродца с головой Сократа, или Перикла, или Еврипида на плечах, греки же, по-видимому, находили это вполне естественным.

Театральное сооружение до самого конца V века оставалось предельно простым. Основным его элементом была орхестра, т. е. «место для пляски», где выступал хор (драматический или исполнявший дифирамбы — безразлично). Там же, на орхестре, играли актеры. Орхестра представляла собою круглую площадку (в афинском театре диаметр круга равнялся 24 метрам), хорошо утоптанную или вымощенную камнем. Посреди нее стоял алтарь Диониса, а позади — здание актерской уборной, где меняли маски и костюмы. Первоначально это была палатка, которую ставили на скорую руку вне поля зрения публики; отсюда ее название — скена, т. е. шатер, палатка. Передняя стена

постоянной, каменной сцены украшалась колоннадой и служила декорацией, изображавшей фасад храма или дворца. Между колоннами вставлялись деревянные доски с рисунками, помогавшими уточнить место действия.

Существовали и театральные машины для различных эффектов. Так, было в употреблении нечто вроде нынешней фурки — площадка на колесах, которую выкатывали через двери сцены; на ней помещались либо актеры, либо куклы (если надо было показать трупы убитых). Зато остается неизвестным устройство самой знаменитой театральной машины древности, той, с помощью которой в воздухе над игровой площадкой внезапно являлся бог и разрубал слишком туго затянувшийся узел интриги (у римлян этот прием звался *deus ex machina* — выражение, ставшее метафорическим и усвоенное, по-видимому, всеми европейскими языками).

Орchestra устраивалась у подошвы холма, а «зрительный зал» располагался на склоне, охватывая игровую площадку. Это и был в собственном смысле слова театр (*theatron*), т. е. «место для смотрения». Концентрические полукружья деревянных скамеек складывались в «подкову», которую пересекали на клинья радиальные проходы. Каменные сиденья в Афинах начали появляться еще в V веке, но закончилось это переоборудование лишь в следующем, IV веке.

Публика, как уже упоминалось, была весьма пестрая. Во время представления зрители украшали голову венком. Те, кто сидел на каменных скамьях, подкладывали под себя принесенные из дому подушки. Приносили в театр и еду, поскольку спектакль состоял из нескольких пьес и тянулся чуть не целый день. Впрочем, Аристотель замечает: «В театре закусывают преимущественно тогда, когда актеры плохи». Вход был платный, но малоимущие со времен Перикла получали особые «зрелищные деньги» на покупку билетов. Были и билеты — с обозначением места. Первые ряды отводились почетным лицам — жрецам богов (прежде всего, разумеется, жрецу Диониса),

высшим властям, чужеземным послам и т. п. Афинская аудитория отличалась не только пылким южным темпераментом, но и несносным самодурством. Она не раз останавливала спектакль и требовала от автора переделок на ходу, главным образом — купюр. Рассказывали, будто Еврипид в ответ на такое требование однажды объявил с достоинством: «Я пишу, чтобы учить народ, а не учиться у народа». Если это и правда, все же гораздо чаще поэт умолял капризную публику потерпеть немного, уверяя, что в конце концов она останется довольна.

Судила театральные состязания особая коллегия, выбиравшаяся по жребию. Насколько справедливы были ее решения, определить трудно, но есть основания сомневаться в полном нелицеприятии афинских судей. Награды получали все три состязавшихся поэта и главных актера — побежденных на празднике быть не могло, — и это был их гонорар. Однако «победить третьим» означало потерпеть поражение.

Драматургия была, без всякого сомнения, ведущим литературным жанром в ту эпоху, и сказанное о драме может быть отнесено к литературе в целом. Следует только добавить, что место и роль художника в обществе определялись не столько учительской функцией искусства, сколько его постоянным и последовательным участием во всех сторонах жизни города, в повседневности и в горестях не меньше, чем в празднествах и триумфах. Художник — это пророк, служитель божества, вдохновляемый божеством. Но вместе с тем художник — это умелец, мастер своего дела, «работник на народ» (демиург). Открывая читателю, слушателю, зрителю божественную красоту и полноту бытия, он был, вместе с тем, гражданином в ряду других граждан, частицею целого, и исполнял свои обязанности столь же естественно, как дельный колесничий, или кузнец, или плотник. Целому, всему обществу, а не ему одному дарованы и его постижения, и искусство в «век Перикла» лучше рассматривать не как одновременный расцвет известного числа талантов, но суммарно — как раскрытие цивилизации. Лишь в



этом ограниченном, обусловленном специфическими обстоятельствами смысле можно говорить об особой эстетической одаренности древних греков.

Изобразительные искусства и архитектура, подчиняясь в целом тем же закономерностям, что искусство слова, отразили кризис полиса более опосредствованно, но вполне определенно. Уже одно то, что рубеж V и IV веков единодушно признается искусствоведами концом периода греческой классики, достаточно симптоматично.

Как и в литературе, центральной, можно сказать, единственной темой в искусстве был человек в его отношении к божеству. Отсюда следует не только абсурдность для грека чистого искусства, но и такие вполне конкретные особенности, как полная неразработанность пейзажа или решительное преобладание скульптуры среди видов изобразительного искусства. И точно так же, как литература, греческая классика не отражала, но обобщала, решительно типизировала действительность, создавала не портреты, но примеры для подражания, не воспроизводила натуру, но старалась превзойти ее. О живописце Зевксиде Аристотель сказал: «Если и невозможно, чтобы люди были такими, какими их написал Зевксид, все же хорошо, что он написал их именно так, ибо образец должен превосходить то, для чего он служит образцом». Зевксид работал уже в самом конце V и начале IV века; но примерно так же говорили и о картинах Полигнота, и о статуях Поликлита (из которых первый считается крупнейшим художником ранней классики, а второй — основоположником зрелой классики, предтечей Фидия) — что они изображают людей лучшими, чем на самом деле. Более того, принцип идеализации природы отлично виден уже в скульптуре предыдущего периода (поздней архаики). Мужские фигуры в полный рост, нагие, руки вытянуты вдоль туловища, левая нога выдвинута вперед и ступни твердо прижаты к земле, на губах бессмысленно-загадочная улыбка — это так называемые «куросы», т. е. юноши. Время их рождения

— VI век. Быть может, это боги или герои, быть может, смертные (атлеты, воины), важно другое: их счастливая улыбка, мощный торс и твердая походка — это юность, запечатленная в камне. Но юность, как уже отмечалось раньше, для грека божественна сама по себе, потому что юношеская полнота сил всего вернее приближает человека к божеству. Изображение юного нагого тела было поистине «радостью для взора», *agalma* — так называлось у древних греков изваяние вообще, изваяние же бога в особенности.

Но если тело прекрасно, то созерцание его не только радует взор, но и ведет к добру: в изобразительном искусстве принцип калокагатии обладает особенной силой. Нравственное содержание и воспитательный смысл античного искусства не подлежат сомнению.

Важнейшее качество греческого ваяния, живописи, архитектуры — безукоризненный ритм. Чувство ритма, симметрии, пропорциональности в высшей степени характерно для древнего грека во всех сферах его деятельности, какие только доступны сегодняшнему наблюдению. Это чувство принято связывать с особенностями пейзажа Греции. Горы и острова на фоне идеально чистого неба и идеально синего моря запечатлеваются в глубине сознания как эталон застывшего ритма; такого эталона не могут дать ни степи, ни джунгли, ни нагромождение скал. Грек непосредственно ощущает и дает ощутить зрителю прелесть отдельного контура, важность ритмообразующих пустых промежутков, что поучительно сопоставить со сплошными переплетениями фигур в искусстве другой великой цивилизации древности — в индийском искусстве. В отличие от грека, перед глазами индийца была, прежде всего, теснота непроходимой лесной чащи.

Для архаики, не исключая и поздней, характерна застылость, которая, правда, может быть весьма величественной и глубокомысленной, но неизбежно оставляет впечатление скованности. Классика вносит в пластику движение, меняя весь

характер скульптуры с той стремительностью, какая вообще свойственна V веку. Между работами начала и конца этого века лежит будто не сотня лет, а непроходимая пропасть.

Здесь следует сделать одну существенную оговорку, напомнить об одном важном обстоятельстве, которое чаще всего упускается из виду. Хотя музеи мира полны памятниками греческой скульптуры, фактически мы знакомы с нею из вторых, третьих и т. д. рук, а то и вовсе понаслышке. От V века не дошло ни одного подлинного произведения круглой скульптуры, принадлежащего кому бы то ни было из известных нам по имени великих мастеров. Для следующего, IV века существует лишь одно исключение — «Гермес» Праксителя. Все прочее — более или менее поздние копии весьма различного достоинства, а главное, сомнительной точности. Напротив, монументально-декоративные произведения, украшавшие памятники архитектуры, как правило, сохранились в оригинале (разумеется, пострадавшем от времени). Но здесь другая беда: мастер обычно лишь руководил исполнением декоративных рельефов, исполняли же их либо ученики, либо просто каменотесы. Даже фронтоны и фриз Парфенона, признаваемые за шедевры мировой пластики, нельзя считать принадлежащими резцу Фидия: кто их сделал — неизвестно. Во всяком случае, сами древние ценили их куда ниже, чем статую Афины работы Фидия, стоящую внутри храма. Но от нее не осталось ничего, кроме пятна на полу, обозначающего контуры цоколя.

Далее, и копии, и оригиналы производят сегодня не совсем то (или, вернее, совсем не то) впечатление, что два с половиной тысячелетия назад. Ослепительно белый мрамор пожелтел, выцвел, изрыт лишаями, и что еще существеннее — начисто стерлась яркая раскраска волос, глаз, губ, одежды, резко контрастировавшая с белизной камня. Античные бронзы горели золотым или красновато-медным отливом, гравировка отчетливо выделялась темными линиями на блестящей поверхности, глаза, губы, ногти были вставные. Теперешний зритель видит

зеленоватую или голубоватую патину или же коричнево-шоколадную расчистку, гравировка же либо вообще не видна, либо эффект в точности противоположен оригинальному: светлые линии (металл натерт белым порошком) на темном фоне.

Уже первая четверть V века приносит удивительные перемены. Рельефы так называемого «Трона Лудовизи», бронзовый Посейдон (или Зевс), извлеченный из моря и ныне хранящийся в Национальном музее древностей в Афинах, дельфийский «Возничий», «Тираноубийцы» скульпторов Крития и Несиота — работы достаточно разные и одна с другою несхожие. Но не только свободная постановка ног и вольный размах рук Посейдона, мечущего трезубец, или стремительность шага тираноубийц, или виртуозное исполнение складок на рельефе «Афродита, выходящая из моря» (а может быть, это и Персефона, возвращающаяся из царства мертвых) означают разрыв с прошлым. Не менее замечательна трактовка лиц, казалось бы, еще таких близких к позднеархаическим курсам и корам (девам), но уже совсем иных — не улыбающихся, полных серьезности и решимости. Они еще и безмятежны, и неколебимо уверены в себе, но блаженная улыбка юности (не вернее ли сказать — «детства»?) стерта навсегда. К середине века Поликлит и Мирон (первый с Пелопоннеса, второй из Аттики) приводят классику от раннего, «строного» стиля к зрелому. Мирон — виртуоз динамики (всем знаком его «Дискобол»), Поликлит — создатель «Канона», теории пропорций человеческого тела, подчиняющей скульптуру нормативно-неизменному ритму. (В этой жесткой нормативности была угроза будущего окостенения и деградации, осуществившаяся, однако, не в античные, а в гораздо более поздние времена.) Воплощением теории Поликлита был «Дорифор», также известный каждому по бесчисленным репродукциям.

Бесспорно, первым скульптором Греции сами греки считали афинянина Фидия (ок. 500 — ок. 432 гг.), чьи работы, однако, не сохранились даже в виде копий. Между тем именно эти

работы больше, чем какая бы то ни было иная пластика, воздействовали на духовный мир греков времен Пелопоннесской войны. Кроме упомянутой выше статуи Афины-Девы, стоявшей в Парфеноне, Фидий исполнил еще более знаменитую Афину-Воительницу, исполинскую бронзовую фигуру, возвышавшуюся над холмом афинского Акрополя на 9 метров, и статую Зевса для Олимпийского святилища. «Афина-Дева» и «Зевс Олимпийский» были выполнены из золота и слоновой кости (так наз. хрисоэлефантинная техника). Даже пятьсот лет спустя «Зевсу» Фидия посвящались такие слова изумления и восторга: «Это самая прекрасная статуя на земле и самая угодная богам... Если кто испил до дна чашу горечи и не смыкает глаз по ночам, пусть непременно постоит перед этою статуей, ибо, глядя на нее, он забудет обо всех своих бедах и печалях». Можно себе представить, как замирали и немели перед творениями Фидия его современники.

Хотя и Фидий принадлежит еще эпохе, предшествовавшей великой войне, между ним и его прямыми учениками и последователями едва ли была существенная разница, кроме, конечно, разницы в таланте. Если конец V века приносит с собою нечто новое, то новизну эту надо искать не в культовой, сугубо монументальной, парадной пластике, а в иных областях, которые скульптура лишь начинает осваивать. Если Пэоний в «Нике Олимпийской» (ок. 425 г.) смело обнажает женское тело и как, может быть, никто до него передает складки и драпировку, то здесь отличие от предыдущих десятилетий все же лишь количественное, а не качественное. Но когда в афинском Национальном музее древностей посетитель от статуй богов, героев и атлетов, от первых портретных бюстов, лишь немногим менее обобщенных и репрезентативных, чем нагие атлеты, герои и боги, переходит к надгробным памятникам, собранным на древнем кладбище квартала Керамик, он действительно попадает в иной мир. Безвестные и безымянные авторы этих стел не могут, разумеется, состязаться в мастерстве с создателями

рельефов Парфенона, но потрясающая человечность их искусства едва ли не ближе сегодняшним людям, чем «Дискобол» и «Дорифор», вместе взятые. Как в трагедиях Еврипида, обобщенность отступает здесь перед индивидуальностью, и кажется, что любой из этих ушедших неповторим — так же, как это казалось его родным, заказавшим и поставившим стелу. И однако же, весь этот некрополь, собранный в музейных залах и двориках, объединяется неким общим настроением, общей житейской философией — тщательно сдерживаемым, словно стыдливым, страданием, силою жизнелюбия, которое кончина близкого не разрушает, но, напротив, усугубляет, полной безнадежностью, абсолютною окончательностью утраты и разлуки... Эти надгробия — чисто афинский, аттический вклад в греческое искусство; из Аттики они распространятся впоследствии по всему греческому миру.

На V век приходится и апогей греческой архитектуры. Окончательно сложились два архитектурных стиля: дорический (западный) — более массивный, тяжелый, монументальный — и отличавшийся большею легкостью, большим изяществом пропорций ионический (восточный). Это нашло отражение в точных правилах ордеров, т. е. определенных систем опор и перекрытий, и художественной обработки элементов системы. В конце VI века города Ионии оказались под владычеством Персии, и это определило преобладание дорического стиля в течение всего следующего столетия. С другой стороны, победа в персидских войнах послужила толчком к невиданно широкому по тем временам строительству храмов и общественных зданий. И шире всего строили Афины. Вполне естественно: во-первых, от персидского нашествия 480 года они пострадали больше других городов — практически были стерты с лица земли.

Во-вторых, честь и слава победы над персами принадлежала в первую очередь им, и стало быть, преимущественное право на триумфальный убор победителя было за ними. Но что всего важнее — у них были деньги: в 449 году Афины подписали

мир с Персией и с тех пор дань, взимавшуюся с союзников, обращали преимущественно на строительство. Общий замысел принадлежал Периклу, а «генеральным директором проекта» стал Фидий. Это был проект застройки афинского Акрополя, превратившегося за полстолетия в один из самых совершенных архитектурных ансамблей, какие только удавалось создавать человеку. Нигде греческое чувство меры и ритма не проявило себя с такою наглядностью, как на каменистой вершине афинского крепостного холма.

Центральный объект ансамбля, Парфенон, т. е. храм Афины-Девы, был построен в 447–438 гг. до н. э. годах по проекту архитекторов Иктина и Калликрата (разумеется, утвержденному Фидием). Скульптурная отделка храма, которой Фидий руководил непосредственно, закончилась как раз за год до начала Пелопоннесской войны. Храм стоял практически нетронутым до середины V века н. э., когда хрисоэлефантинную статую богини (превратившуюся к этому времени в дьявольского идола) увезли неведомо куда, а здание превратили в церковь — сперва Святой Софии — Премудрости Божией, а спустя век — Богородицы Приснодевы; тогда же началась и его перестройка. Турки, захватившие Афины в 1458 году, переделали церковь в мечеть и пристроили к ней минарет.

Это понять легко; но почему 200 лет спустя, во время осады Афин венецианцами, правоверные мусульмане отвели мечеть под пороховой склад, объяснить гораздо труднее. Так или иначе, в 1687 году венецианское ядро угодило в турецкий пороховой погреб, и в результате лучшее — или, по меньшей мере, одно из лучших — созданий греческой архитектуры было разрушено на добрую треть. Уцелевшие скульптурные украшения были впоследствии проданы турками англичанам.

Парфенон представлял собою дорический периптер, т. е. прямоугольник, отовсюду окруженный колоннадой; вдоль длинных сторон (69, 54 м) стояло по 17 колонн, вдоль коротких (30, 89 м) — по 8. Святилище со статуей богини (целла, или

наос) разделялось на части П-образной двухъярусной колоннадой, огибавшей статую сзади. Свет проникал через двери и, быть может, просачивался через мраморные плиты крыши и потолка. В этот дорический храм архитекторы внесли некоторые «поправки», которые, ничего не отняв от импозантности целого, сообщили ему исключительную стройность и соразмерность. Эти поправки основаны на точном знании оптических эффектов, материала, освещения и корректируют ошибки человеческого глаза. Так, к примеру, колонны были поставлены не строго вертикально, а несколько наклонены внутрь (продолжения их осей встречаются где-то на высоте примерно двух километров), что создавало иллюзию большей устойчивости. Скульптура декорировала храм и снаружи, и изнутри. Фриз внешней колоннады был убран горельефными метопами (отдельными прямоугольными группами) на темы битвы богов и гигантов и сражений греков с кентаврами и с амазонками. Внутри стены украшала непрерывная лента барельефного фриза (такой фриз характерен уже для ионического ордера), изображавшего шествие на празднике Великих Панафиней. Многофигурные круглые скульптуры фронтонов — «Рождение Афины» (восточный фронтоны), «Спор Афины с Посейдоном из-за Аттики» (западный фронтоны). Художественные достоинства сохранившихся фрагментов весьма неодинаковы.

Парфенон стоял просторно, окруженный широкой площадью, которая была необходима для толпы, заливавшей Акрополь во время празднеств. Но едва ли чисто утилитарные цели преследовали планировщики, едва ли можно сомневаться, что они предвидели эстетический эффект — четкие, величавые контуры на свободном, ничем не стесненном фоне — и добивались его.

Вслед за Парфеноном были выстроены Пропилеи («Предвратие») — вход на Акрополь (437–432 гг.). Их автором был Мнесикл. Смещение ордеров, заметное уже в Парфеноне, здесь намного сильнее. Высказывается догадка, что это связано с



ростом антиспартанских настроений и «ионического национализма» в предвоенные годы. Правда, это не более чем догадка, но оба здания, сооруженные на Акрополе во время войны — храм Победы Бескрылой Калликрата и Эрехтейон (двойной храм Афины и Посейдона — Эрехтея) неизвестного архитектора, — исполнены в чисто ионическом стиле. Вполне разумной представляется и другая гипотеза — что война, тяжелый урон, ею нанесенный, и громадные расходы внесли свои коррективы в первоначальный план застройки Акрополя. Быть может, без этих коррективов весь комплекс был бы еще совершеннее, хотя, судя по безудержности похвал, звучащих вот уже более двух тысячелетий, это невозможно.

ПроPILEI и Эрехтейон замечательны, кроме всего прочего, мастерством композиции: различные элементы сооружения, расположенные асимметрично на различных уровнях (неизбежный результат неровностей почвы на вершине и отчасти на склоне холма), различного характера портики, разных пропорций колонны — все соединяется в единое целое, связанное единством ритма и гармонией пропорций. Таким же гармоническим единством предстает взгляду и афинский Акрополь в целом. То же стремление к единству обнаруживает себя и в первых проектах планомерной застройки городов. Один из них был осуществлен в Пирее (возможно, также по инициативе Перикла).

От греческой монументальной живописи V века не осталось ничего. Известны лишь имена художников и описания картин; но этого слишком мало. Только одно можно сказать с уверенностью: в первой половине века перспектива была либо вовсе неизвестна, либо существовала лишь в самом зачатке, тогда как на исходе столетия живописцы успешно осваивали и законы перспективы, и светотень, и колористическое единство, достигая такого сходства с натурой, которое современникам казалось чудом, чуть ли не волшебством.

Зато вазопись дает материал столь обильный, как ни одна форма древнего искусства. Следует подчеркнуть — именно

искусства, а не ремесла: во-первых, потому, что сами греки не различали эти два понятия, обозначая оба словом *techné* (умение); во-вторых же потому, что начиная с VII века авторы (и художники, и гончары) очень часто подписывали свои вазы, словно желая сказать, что это не просто кувшин, бутылка или чашка, но произведение искусства, созданное для того, чтобы радовать глаз.

Керамическое искусство V века было отмечено безраздельным господством афинской школы. Все лучшее, что дошло от этого столетия, создано либо афинянами, либо выходцами из Аттики. Отчасти это было связано с новой техникой, появившейся в конце предыдущего столетия все в той же Аттике. Прежде изображение наносилось на глину черным силуэтом (чернофигурные вазы), теперь черной поливой покрывается фон, а фигуры остаются незакрашенными и имеют красноватый оттенок глины; детали исполняются пером или кистью, главным образом черной глазурью, иногда коричневой или желтой; применялись и другие краски и оттенки. Краснофигурная техника доставляла возможность более детального изображения, чем чернофигурная, и вытеснила последнюю совершенно. Выиграв в детальности, изображение потеряло в декоративности; мастерство рисовальщиков неизмеримо возросло, но это сопровождалось разрывом с орнаментальностью, которая не только позволяла использовать кривую поверхность сосуда, но превращала ее в преимущество. Для чисто сюжетной сцены выпуклость вазы была лишь помехой. Сюжеты очень разнообразны, от возвышенно-религиозных до низменно-бытовых, вызывающе-непристойных; любопытно, что почти каждый среди известных мастеров имеет свой круг сюжетов.

Особое место в аттической керамике V века принадлежит лекифам. Эти высокие вазы с узким горлом первоначально служили сосудами для масла, а затем приобрели декоративное назначение — стали частью надгробного памятника. Лекифы отличались белым грунтом, бледною, как бы прозрачной,

цветовой гаммой и особой тематикой, сближающей их с намогильными стелами. Впрочем, не только тематика их объединяет, но, в первую очередь, та же человечность, та же сила чувства и настроения, о которых говорилось немного выше. Именно потому аттические лекифы — одна из самых высоких вершин греческого керамического искусства.

Но конец века и здесь ознаменован необратимыми переменами. Художественные качества сосудов и росписей резко ухудшаются, рисунок делается то чересчур небрежным, то, напротив, непомерно тщательным, манерным, и монопольное положение афинских гончаров на греческом рынке уходит в прошлое. Вполне возможно, однако, что потеря монополии (она устанавливается данными археологии) была вызвана и военным поражением. В любом случае эта потеря была очень чувствительной: гончары составляли значительную часть ремесленного населения — недаром один из больших кварталов в Афинах звался Керамик.

Но если были вазы, которые только радовали взор и душу, все же основная часть керамической продукции находилась в повседневном употреблении (тем более что из глины делали не одни чашки и кувшины, но сосуды всевозможных форм и размеров и всевозможного назначения, от остродонных пифосов высотой до 2 метров, служивших для хранения вина, воды, зерна, до крохотных светильен). Редкостное благородство форм этого «ширпотреба», изящество украшающих его орнаментов и рисунков свидетельствует не только о высоте среднего (или даже нижнего?) уровня, но и о непрерывном, неприметном, а главное, ненарочитом эстетическом воспитании в масштабах целого народа.

Еще более массовым средством такого воспитания были деньги. Чеканка монеты становится в Греции искусством как раз на протяжении V века и достигает полного расцвета к концу столетия. Афинские монеты, пользовавшиеся доброй славой за свою полновесность и высокопробность серебра (серебро было у

греков основным монетным металлом), особой красотой похвастаться не могли. Самые прекрасные монеты античного мира, а по суждениям иных нумизматов, самые прекрасные монеты, какие вообще когда-либо видел мир, чеканились, начиная с середины V века, в Сицилии, прежде всего — в Сиракузах; второе место принадлежит городам Великой Греции (Южной Италии).

Общий тип монеты, сложившийся в этот период, таков: на аверсе, обычно очень высоким рельефом, чеканилась голова божества — покровителя города или вообще как-то связанного с городом, т. е. принадлежащего к местному кругу мифов, на реверсе — символ города и начальные буквы его имени. Афиняне, которые первыми ввели в употребление этот тип, чеканили Афины в шлеме, а на обороте — сову, священную птицу все той же Афины, и буквы АΘΕ. У сиракузян на аверсе была голова Персефоны или нимфы-ретусы, а на реверсе — колесница. Быть может, лучшие образцы сиракузских монет были отчеканены в 412 году, в честь и в память победы над Афинами. Еще в середине столетия вошло в обычай, что резчик, изготовлявший штемпель для чеканки, помечал монету своим именем. Сиракузские шедевры принадлежат Кимону и Евенету (Эвайнету). О них неизвестно ничего, кроме того, что они великие художники. Не самая ли завидная слава из всех возможных?

Резчик штемпелей работал для наиболее широкого круга, резчик гемм — для наиболее узкого: драгоценный резной камень тщательно хранили от чужих завистливых глаз и рук. Тем не менее это почти одно и то же искусство, и для греческой глиптики вторая половина V и первая половина IV веков тоже были временем расцвета. Благодаря твердости камня и особо бережному обращению геммы сохранились гораздо лучше, чем другие произведения изобразительного искусства, и сегодня в Петербургском Эрмитаже можно любоваться знаменитыми на весь мир цаплями Дексамена Хиосского в том же самом виде, в каком художник, современник Пелопоннесской войны, передал

их заказчику. Но в медальерном деле греки — зачинатели и чемпионы, а в глиптике — продолжатели (пусть даже и гениальные, как Дексамен) того, что было начато на Востоке и в Египте.

Вот примерно, в самых общих чертах, то, что скрывается за словами Перикла о красоте, сопряженной с простотою. Что же до мудрости, свободной от бессилия, разговор об этом был начат отчасти в связи с софистикой и отношением к ней афинян. Продолжая его, следует в первую очередь напомнить о нерасчлененности научного знания: естествоиспытатели, врачи, математики, астрономы были в то же время философами, и наоборот, любой философ занимался не только отвлеченными, но и вполне конкретными проблемами естественных и общественных наук. Однако и эти проблемы, и чисто философские теории великих современников Сократа (Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита), и замечательные научные прозрения (вроде того, например, что Солнце — раскаленная каменная масса, а Луна светит отраженным солнечным светом) уместнее излагать в более специальных сочинениях. Здесь важно лишь одно — какое место отводил грек своей нерасчлененной науке («мудрости») среди прочих духовных ценностей и чего ждал от нее.

В какой мере совпадает эта «мудрость» с одною из четырех традиционных добродетелей («разумностью» или «мудростью»), сказать невозможно, прежде всего по той причине, что и древние теоретики судили по-разному. Но едва ли можно сомневаться, что древние практики смотрели на совокупность специальных знаний иначе, чем на природный ум, или здравомыслие, или рассудительность, или силу интеллекта. Древние практики, составлявшие основную массу общества (в противоположность считанным единицам-теоретикам), готовы были принять дельный совет от владельца специальных знаний и воспользоваться его услугами, иногда совершенно необходимыми, как в случае врачебной помощи. Но чтобы специалисты изменили налаженный и освященный вековыми обычаями порядок вещей — ни в коем случае! Ответом на такую претензию науки и

ее носителей может быть только ненависть практиков. Между тем вся наука, независимо от направления, «справа» или «слева», вольно или невольно, прямо или косвенно угрожала существованию полиса в целом и, в частности, рабовладельческой демократии. Если «тоталитарная» Спарта игнорировала научную мысль, просто не допуская ее существования, то в Афинах она была сложной проблемой и для народа, и для вождей, и для «элиты», и для «массы». На разрушительное влияние научной мысли, скорее всего, и намекает Перикл, говоря о свободной от бессилия мудрости. Во всяком случае, спартанцы считали любовь к знанию несовместимой с мужеством и по сему случаю отождествляли любознательность афинян с трусостью и бабьей изнеженностью.

Тем специфически новым, что внесла последняя треть V столетия в науку, было начало специализации. Сведения о жизни и трудах величайшего врача древности Гиппократов до крайности скудны, ему нельзя с достоверностью приписать ни единого из сочинений, дошедших под его именем (так называемого «Гиппократова собрания»); но одно сообщение о Гиппократе не вызывает сомнения: «Он первый отделил медицину от философии» (Корнелий Цельс, римский врач I века н. э.). Он наблюдал и делал выводы без предвзятых убеждений, философских или религиозных, без общей концепции бытия, он был ТОЛЬКО медик, именно поэтому он стал «отцом медицины». И потому же он принципиально устраняет богов из сферы своих интересов и наблюдений (тем самым проповедуя «атеизм» не менее подрывного свойства, чем «безбожье» Протагора). В одной из книг «Гиппократова собрания» говорится: «Нет нужды делать различие между человеческим и божественным, ибо все в природе одинаково божественное или все одинаково человеческое. Все имеет свои причины, которые могут быть обнаружены пытливым исследователем». Кому бы ни принадлежали эти строки, они достойны отца медицины. И точно так же достойна его сентенция из другой книги «Собрания»:

«Заключения, полученные чисто словесным путем, бесплодны. Лишь те заключения приносят плоды, которые основаны на очевидных фактах». Ныне это звучит оставшимся втуне предупреждением средневековью, которое сделало «словесный метод» единственным, эксперимент же и наблюдение предало не только осмеянию, но фактически и запрету.

А старшим современником Гиппократ-врача (Гиппократ Косского) был Гиппократ-математик (Гиппократ Хиосский), автор первого специального сочинения по геометрии. Выходит, что медицина не была одинока в своей эмансипации от «знания вообще».

О повседневной, обыденной жизни Перикл практически не говорит вовсе — только вскользь замечает, что она благополучна и благопристойна и потому доставляет душе отдых от трудов и гонит прочь уныние. Вполне естественно: в рамках торжественной надгробной речи нет места такому скучному и общеизвестному предмету, как будни. Но за минувшие столетия положение изменилось самым кардинальным образом: будни современников Перикла интересны сегодняшнему человеку не меньше, чем их празднества; то, что ел, что носил и на чем спал Аристофан и его герои, — не меньше, чем их судебные учреждения и политические нравы. Пусть все это в отдельности — мелочи, в совокупности они образуют и фон, и питательную среду культуры.

Жилища горожан в целом мало чем отличались от крестьянского дома: каменный фундамент, стены из необожженного кирпича (воры ломали не засовы на дверях, а стены — это было гораздо проще), черепичная крыша, маленькие оконца под потолком, земляной пол, удобств, как правило, никаких. Здания были одноэтажные, иногда двухэтажные, и тогда на второй этаж вела наружная деревянная лестница (может быть, и приставная, без перил), не только неудобная, но прямо-таки небезопасная для жизни; во всяком случае, любящий отец и муж не разрешал жене с грудным младенцем жить наверху. Все

помещения выходили во внутренний двор, чаще всего — с подобием крытой галереи, нередко с бассейном для сбора дождевой воды. Одна комната была больше остальных; там помещалась спальня хозяина дома с супругой, там же принимали и почетных гостей.

Конечно, встречались дома и совсем убогие, и несколько более комфортабельные (с зачатками ванной комнаты и уборной), но главное различие между жилищем богатым и заурядным было чисто количественное: богатые жили не удобнее, но просторнее. Зато бедняк мог жить во сто крат хуже рядового гражданина, например — в пещерах, естественных или выдолбленных в скале, под каким-нибудь временным навесом, а то и просто на улице: благо большую часть года в Греции достаточно тепло. Зимой бездомные находили приют в общественных банях.

Двери дома открывались наружу, и, в противоположность всем более поздним временам, приходилось стучаться не только приходя, но и уходя: иначе с силою распахнувшаяся дверь могла зашибить замечтавшегося прохожего.

Конец V века завершает эпоху и в этом отношении. С одной стороны, археологические находки, относящиеся к следующему столетию, показывают стремительный прогресс домашнего благоустройства, с другой — растет число «многоквартирных» домов, принадлежащих нескольким хозяевам или же сдаваемых по частям внаем. Как интерес к личному, семейному благополучию, так и равнодушие к собственному дому на собственной земле — обветшавшему символу гражданского полноправия — одинаково симптоматичны для распада полисной психологии.

Скудостью внутреннего убранства греческий дом, даже вполне зажиточный, походил, вероятно, на традиционный японский интерьер. Мебель была только самая необходимая: кровати, столы, несколько табуретов. Кровать служила не только для ночного отдыха — за столом тоже лежали, обычно на тех же кроватях (или, если угодно, ложах). Основной тип



греческой кровати — массивная деревянная рама с натянутыми на нее веревками или кожаными ремнями, на массивных же ножках, высотой около полуметра; на раму клали нечто вроде матраца. Ножки, прямоугольные или выгнутые, часто украшались резьбой (например, заканчивались изображением копыта или когтистой лапы). Столы ниже кроватей на 15–20 см, невелики, портативны, овальной или прямоугольной формы, на четырех, чаще на трех, ножках. Поскольку за едой обходились без стульев, число их в доме было невелико, причем в наибольшем употреблении были низкие скамейки без спинки. Шкафов не существовало вообще, их роль исполняли всевозможные сундуки и шкатулки. Меблировка дополнялась вазами (отчасти, как уже говорилось, чисто декоративными).

Кроме матраца (правильнее было бы сказать — «подстилки»), постельные принадлежности состояли из подушки и одеяла; о постельном белье, разумеется, и речи не было. От духоты, несмотря на очень маленькие комнаты и крохотные оконца, скорее всего, страдать не приходилось: поскольку внутри дома двери, за редким исключением, заменялись занавесками, а оконные проемы оставались вообще пустыми, аэрация была вполне удовлетворительная. Зато от блох и клопов страдали жестоко, хотя, по-видимому, считали это в порядке вещей.

Пищу стряпали на открытых жаровнях, либо во дворе, либо в кухонной камерке, выпуская дым в дверь. Так же — «по-черному» — и отапливались в холодные дни: разводили огонь в жаровне и сдвигали одну черепицу на крыше. Появляются, однако, уже и первые дымоходы в виде керамических труб. Впрочем, топили очень редко; это считалось недостойной изнеженностью.

Освещались не лучше, чем обогревались. Основным «осветительным прибором» служила масляная лампа с одним или несколькими фитилями. Она горела тускло, а позволить себе зажечь много ламп разом могло очень небольшое число людей:

масло стоило дорого. (Нелишне напомнить еще раз: многое в жизни древних объясняется нуждой, нехваткой самых привычных и общедоступных для нас вещей.) Работать при искусственном освещении было вообще не принято; но даже застолья при свете ламп, восковых свечей или факелов очень скверно влияли на зрение.

Едва ли нужно оговариваться, что в лачуге бедняка могло не быть и самой нехитрой обстановки — ничего, кроме голых стен и грязного пола. Но вот как описывает свое жилище зажиточный афинянин Исхомах в сочинении Ксенофонта под названием «Хозяин»:

Красотою и изяществом он, правда, не блещет, но все помещения задуманы и построены так, чтобы служить наилучшим вместилищем для того, для чего они предназначены, и каждое будто приглашает подходящего ему жильца и гостя. К примеру, опочивальня надежно укрыта от любых покушений и потому зовет все самое дорогое, и покрывала и утварь, сухие кладовые — хлеб в зерне, холодные — вино, светлые — такие вещи и предметы, которым нужен свет. Показал я ей (молодой жене. — *Ш. М.*) и жилые комнаты, хорошо прибранные, прохладные летом, теплые зимою. Я обратил ее внимание на то, что весь дом обращен к югу, — и оттого зимой он солнечный, а летом тенистый. Я показал ей, что женская половина отделяется от мужской дверью с запором, чтобы нельзя было ничего вынести без спросу и чтобы слуги не спали со служанками без нашего ведома и согласия.

Отсюда следует, что и в зажиточном доме было не больше двух внутренних дверей: одни — в хозяйской спальне, другие — между женской и мужской половинами, составлявшими непременно принадлежность любого дома.

Одежда древних отличается от нынешней прежде всего тем, что ее не шили и практически даже не подгоняли по размеру тела; это не платье в сегодняшнем смысле слова, но драпировка,

достаточно свободная, чтобы не стеснять движений, и достаточно надежно закрепленная, чтобы не соскользнуть окончательно.

Рубашку (нижнюю и верхнюю одновременно) греку заменял хитон — прямоугольный кусок ткани, либо сметанный наподобие мешка без дна и тогда окружавший туловище со всех сторон, либо оставлявший один бок открытым. Сверху ткань закреплялась (завязывалась узлом, скальвалась брошью или булавкой) над обоими плечами. Короткий хитон (до колен и даже несколько выше) назывался дорическим; его изготавливали из шерсти и иногда красили (главным образом в красный или зеленый цвет).

Ионический хитон спадал до пят, изготавливался из льняного полотна и был в гораздо меньшем употреблении, чем короткий: его надевали только по особо торжественным случаям. Хитоны бывали и с рукавами, короткими и длинными, — все зависело от того, как сложить и сметать полотнище. Хитон подпоясывали, собирая ткань в обильные, нависающие складки. Мало чем отличалась от короткого хитона эксомида; ее скрепляли только на левом плече, оставляя правую половину тела совсем свободной; это была одежда рабочих людей (и свободных, и рабов) и солдат.

Хитон считался сам по себе вполне достаточной одеждою, не требовавшей никакой другой. Действительно, в жаркие месяцы все прочее было бы только обузой. В хитоне и спали; иначе говоря, на ночь не раздевались, а только распоясывались. Однако поздней осенью и зимой второе платье, верхнее, было отнюдь не лишним, и поверх хитона носили плащ — гиматий. Это был тоже прямоугольный кусок шерстяной ткани, но более жесткой и колючей, чем та, что шла на хитон. В гиматий можно было закутаться целиком, даже прикрыть голову и спрятать руки, но чаще его накидывали на спину и, придерживая верхний левый угол левой рукой, тянули поверх правого плеча и снова перебрасывали за спину через левое. Надетый таким образом, гиматий оставлял отчасти свободной правую руку,

которая при этом оказывалась согнутой в локте под прямым углом, и обнажал при ходьбе левую ногу до колена. Впрочем, и виды плащей, и способы драпировки были достаточно разнообразны. Например, в Спарте носили короткий плащ на голом теле, и поклонники лаконских нравов подражали этому обычаю. Другая разновидность короткого плаща звалась хламидой и была обязательной формой афинских эфебов; ее скрепляли на плече или на груди застежкой или булавкой. Хламида была по преимуществу солдатской одеждой; пользовались ею и путешественники.

Женское платье, в принципе, не отличалось от мужского: те же хитон и гиматий, в нескольких разновидностях. Случалось, что муж с женою по бедности носили одну и ту же одежду по очереди. Конечно, известные различия существовали, но они касались главным образом цвета и качества материи и умения носить платье с большим изяществом или кокетством. Что более существенно — это зачаток белья: многие женщины носили грудные повязки, поддерживавшие грудь.

Женщины любили особые сорта шерсти и полотна — особенно тонкие и мягкие, охотно украшали платье тканой и вышитой каймой, цвета предпочитали белый, желтый, темно-красный. Выделывались ткани сплошь узорчатые и совсем прозрачные. Меха почти не носили, если не считать крестьянского овчинного кожуха, надевавшегося на голое тело. Встречались кожаные хитоны.

Голову покрывали только в дороге или работая целый день под открытым небом. Моряки и городские мастеровые носили высокую войлочную шапку без козырька, крестьяне, и особенно рабы, — маленькую шерстяную или войлочную шапочку на манер среднеазиатской или татарской тубетейки. Путникам нужна была шляпа с полями для защиты от солнца и дождя; ее тоже валяли из войлока и снабжали завязками — чтобы не сдуло ветром. Женщины прикрывали волосы краем плаща или хитона.

Обувь была распространена намного меньше, чем в новейшее время, и не только по причине теплого климата и пресловутой «эллинской воздержности» и «суровой простоты нравов», но и потому же, почему ходил босиком русский крестьянин, — по бедности. Во всяком случае, дома разувались безусловно, да и на улице босые ноги никого не смущали. Тем не менее ассортимент обуви был достаточно широкий — от подошвы, крепившейся к стопе ремнем, который проходил между большим и указательным пальцами (точную копию таких простейших сандалий делают нынешние фабрики, называя их «пляжными туфлями»), до настоящих сапог с голенищами на шнуровке. Один из типов древних сапог звался «котурнами»; они отличались высокой подошвой и той странной особенностью, что их можно было обувать на правую или левую ногу, безразлично. Утверждали, будто Эсхил приспособил котурны для нужд трагедии — дабы придать роста актерам, изображавшим богов и героев. По-видимому, это предание, хотя и древнее, но ошибочное. Зато известно, что одному политику, слишком проворно менявшему свои убеждения и ориентацию, афиняне дали прозвище «Котурн».

Дамская обувь отличалась большим изяществом и разнообразием оттенков; она бывала и черная, и желтая, и красная, и белая, между тем как мужчины довольствовались двумя цветами — натуральным цветом выделанной кожи и черным. Подошва могла быть не только кожаная, но и деревянная, и пробковая. Каблуков древние сапожники не знали, но женщины подкладывали под пятки пробковые пластинки.

Как и во все времена, существовали знаменитые мастерские — текстильные, одежные, обувные, шляпные, — и женщины мечтали об аморгосском хитоне, о милетской вышивке, о сикионских сандалиях...

Украшения, дополняющие наряд, были в ту пору чисто женской привилегией; единственное, что мог позволить себе мужчина не рискуя подвергнуться насмешкам, — это перстень с

печаткой. Женщины носили кольца, серьги, браслеты (ниже и выше локтя), ожерелья, кулоны, одним словом — то же, что носят сейчас. И формами тогдашние ювелирные изделия не слишком отличались от нынешних — не чересчур массивны, не слишком вычурны или экзотичны. Но главным украшением женщины служила прическа, которой уделялось много внимания. Волосы не заплетали в косу и не распускали по плечам, но обычно собирали в узел на темени или на затылке или искусно укладывали вокруг головы, поддерживая с помощью головных повязок или особых сеток. Гребни частые и редкие, деревянные, костяные, черепаховые, бронзовые — были во всеобщем употреблении. Модницы красили волосы, стараясь придать им светлый оттенок, пользовались париками, шиньонами. Коротко стригли рабынь, а свободная женщина обрезала волосы только в знак траура. Зато непрошенную растительность на щеках и на верхней губе удаляли регулярно и очень старательно — выщипывали, опалили, брили бритвою. Напротив, мужчины не нуждались в бритве — борода и усы были не модою, но общим правилом — и постоянно нуждались в услугах цирюльника, потому что незадолго до Пелопоннесской войны исчезли последние ретрограды, упорно не желавшие расстаться со старинными прическами (длинные волосы, собранные в толстый жгут на макушке и спускающиеся на лоб). Цирюльник стриг, причесывал, поправлял бороду и усы, обрезал ногти на руках и ногах. Цирюльни служили своего рода клубами: здесь собирались завсегда, обменивались новостями, обсуждали всевозможные проблемы. Душою общества был сам мастер: греки полагали, что ремесло парикмахера предрасполагает к болтливости больше, чем всякое иное.

Спартанцы ухаживали за волосами не менее старательно, но по-другому: стригли только подростков, мужчины отпускали волосы — в том убеждении, что красивому это придает еще больше красоты, а уroda сделает еще безобразнее, а стало быть,

и еще страшнее для врага в бою. Спартанскому обычаю подражали лаконофилы во всех городах Греции.

Главной пищей древних греков был хлеб, больше ячменный, меньше — оттого что дороже — пшеничный. Возможно, что дрожжевого хлеба в V веке еще не знали. Делали из муки и похлебку на воде, вроде болтушки. Основной добавкою к хлебу служили овощи, соленая рыба, сыр. Горожанин среднего и малого достатка мог лакомиться вволю только бобами и чечевицей, всего прочего — салата, капусты, лука, чеснока, различных приправ вроде тмина и мальвы — не хватало. Война многократно усилила эту нехватку. Мясом угощались главным образом по случаю празднеств, неизменно сопровождавшихся жертвоприношениями. Крестьянин в этом отношении имел бесспорное преимущество: мало того, что свиньи, козы и овцы хрюкали и блеяли на дворе, — всякий, кто хотел, мог расставить силки на зайцев и мелких птичек, а кто умел, мог поохотиться и на более крупную дичь. Война лишила крестьян всех преимуществ, в том числе и этого. Питаясь, в силу необходимости, соленой рыбой, греки не потеряли вкуса к свежей. Мелкая рыбка, ловившаяся у берегов, была любимым кушаньем, и афиняне с величайшим беспокойством следили: не вздорожает ли? Охотно ели и прочую морскую живность: ракушек, крабов, кальмаров, осьминогов. Десерт составляли свежие и сушеные фрукты, орехи, миндаль, мед, медовые печенья. Не было еще ни персиков, т. е. «персидских яблок» — они появились после походов Александра Македонского, — ни вишен, ни абрикосов, ни тем более цитрусовых. Из оливок давили масло (единственное, известное грекам), засаливали их, свежими ели редко. Молока, по-видимому, пили немного, больше готовили сыр; при этом следует иметь в виду, что молоком греков снабжала по преимуществу коза. Пили и мед, смешанный с водой, но больше всего — просто воду, которую умели ценить, в которой знали и вкус, и толк. Вино завершало главную трапезу дня и день в целом; как правило, еду не запивали вином и пили не

закусывая, но утоляли голод и жажду порознь. Почти во всех случаях вино смешивали с водой (либо горячей, либо очень холодной, остуженной на льду) в пропорции 2:3 или даже 1:3. Иногда в смесь добавляли мед или пряности. Пить цельное вино не было принято, считалось дурным тоном. Выше всего ценились вина с островов — хиосское, лесбосское, кипрское, родосское. По цвету различали белое, рыжее, кровавое и черное. Старое вино предпочитали молодому, но выдерживать и хранить умели плохо.

Об афинянах шла молва, что они очень умеренны в еде, о беотийцах было известно, что они любители и умельцы вкусно покушать, спартанцы побивали якобы все рекорды умеренности и воздержности. Но в целом, в среднем, — греки ели просто и мало. Персы недаром говорили про них, что они всегда поднимаются из-за стола голодными. Это верно, что пища была и очень калорийная, и богатая витаминами, верно, что сама по себестряпня представляла немалую трудность из-за дороговизны дров и угля, и все же главное — неоднократно упоминавшаяся бедность и скудость земли. Без постоянного импорта продовольствия Афины просто погибли бы от голода еще в самом начале V века. Стало быть, война с Персией, грозившей закрыть доступ к причерноморским степям, главной афинской житнице, была борьбою не на живот, а на смерть в самом прямом смысле слова. Соленую рыбу — в основном громадных, до полутонны массой, тунцов — везли тоже с Черного моря, козий сыр — из Сицилии. Жизненной необходимостью, делом государственной важности был не только импорт, но и создание запасов на зимние месяцы, когда навигация прекращалась.

Греческие врачи советовали есть один раз в день, особенно в зимние месяцы, когда многие виды работ (например, полевые, мореходные) невозможны и затраты энергии сравнительно невелики. На практике так оно и выходило: по-настоящему ели только вечером, на закате или уже в сумерках. (Этот вечерний стол принято называть «обедом», хотя было бы правильнее



переводить греческое слово *deipnon* как «ужин».) Рано утром (все труды и занятия начинались с восходом солнца), перед тем как выйти из дому, проглатывали несколько кусочков хлеба, смоченных в несмешанном вине, и среди дня перекусывали еще раз, так же скупно и небрежно. Пищу для ужина готовила хозяйка или рабыни под ее присмотром. Вполне разумно предположить, что не только «завтрак» и «полдник», но даже обычный ужин проходили запросто и ничем не напоминали те «пиры», которые у эллиноманов прошлого и позапрошлого столетий слыли неотъемлемою и каждодневною принадлежностью Эллады. Вероятно, вся семья — мужчины и женщины, чада и домочадцы (т. е. рабы) — усаживалась вокруг одного стола и отдыхала от дневных забот за едой, питьем и беседою. Особенно долго тянуться эти беседы не могли — утром надо было снова подниматься ни свет ни заря.

Парадный ужин выглядел совсем по-другому. Греки любили угоститься и повеселиться в складчину и не упускали случая пригласить гостей (таких случаев было не меньше, чем сейчас: различные семейные празднества, успехи на состязаниях, приезд друга, сборы в дальнюю дорогу, новоселье и прочее, тому подобное). Кроме званых гостей, сплошь да рядом являлись и незваные: одних приводили, не предупредив хозяина, другие приходили сами. Отказа не было никому. Такое беспредельное гостеприимство породило профессиональных умельцев поесть за чужой счет; их называли параситами, буквально — «разделяющими хлеб», «сотрапезниками» (первоначально в этом слове не было ничего обидного). Впрочем, парасит разделял хлеб-соль с настоящими гостями не совсем безвозмездно: он был обязан увеселять общество шутками (а в худшем случае — шутовством) и безропотно сносить любые насмешки, часто в высшей степени унижительные.

Входя в дом, гости разувались, и раб мыл им ноги, после чего они могли «возлечь» — глагол, употребляемый в этом случае постоянно, но непомерно и несообразно пышный: греки

выражались куда более обыденно. Ложились по двое (редко по трое) на одну кровать; точнее сказать, не лежали, а полусидели, опираясь левым локтем на большую подушку. Чем ближе к хозяину — тем почетнее место. Когда все займут свои места (по указанию ли хозяина или по собственному почину и усмотрению), раб приносит рукомойник и полотенце — чистоплотность тем более полезная, что вилкой служили собственные пальцы. Гурманы нарочно приучали руки к жару или надевали перчатки — чтобы наслаждаться кушаньем в самом горячем виде. Салфеток, конечно, тоже не было; руки вытирали хлебным мякишем, который, вместе с костями и другими объедками, бросали на пол — собакам, непременным участникам веселья. Само собой разумеется, что еда была и обильнее, и вкуснее, чем в обычные дни: готовили много мяса, нанимали повара (пальму первенства в кулинарном искусстве греки отдавали сицилийцам). Женщинам в дружное мужское общество доступа не было, вернее, «порядочным женщинам»: танцовщиц, флейтисток и просто веселых девиц встречали с распростертыми объятями в прямом смысле слова.

Утолив голод, снова мыли руки. Рабы уносили столы, подметали пол, и начиналась вторая и, по мнению многих, главная часть застолья. По-гречески она именовалась *symposion*, и это слово известно ныне не только специалистам, но всем читателям газет, правда, в латинизированной форме — «симпозиум». Буквально оно означает «совместное выпивание». Случалось, что совместное выпивание заканчивалось совместным же поголовным одурением, но это и не общее правило, и не цель симпозия. Ели досыта, чтобы подготовить желудок к вину, пили — чтобы рассеять дурные мысли, прогнать стеснительность, развязать язык, создать атмосферу праздника, в которой только и возможна подлинно откровенная, сердечная, возвышающая и просветляющая душу беседа. Так утверждают ученые, и если их схема и небезупречна, если она и отдает традиционными

восторгами перед «эллинскими доблестями», все же она не так далека от истины.

Симпосий начинался с того, что гости заново прихорашивались. Идя на пир, полагалось приодеться, надушиться (натереться после купания благовонным маслом), и даже люди, столь безразличные к собственной внешности, как Сократ, не пренебрегали этим обычаем; перед едой все украшали голову венками. Теперь каждый оправлял на себе платье, менял венок. Затем совершали возлияние богам, в особенности Дионису, пели гимн в честь божества. Затем, если пирушка была складчинная, выбирали главу застолья — симпосиарха, и он распоряжался, в каких пропорциях смешивать вино, кому и сколько подносить. На званом ужине роль симпосиарха исполнял хозяин. Пили за здоровье всех присутствующих по очереди, пили и «сепаратные тосты». За неповиновение симпосиарху полагались штрафы, вроде «фантов», например раздеться догола и в таком виде плясать. Любили петь, не только хором, как на теперешних вечеринках, а по очереди, любили загадывать загадки. Пели все подряд, передавая друг другу кифару или ветку мирта или лавра (если решено было петь без аккомпанемента), по несколько стихов из старых и любимых поэтов или из новой, только что поставленной пьесы. Если хозяин был богат, он нанимал уже упомянутых выше артисток, а не то и целые небольшие труппы. Ксенофонт рассказывает о такой труппе, состоявшей из фокусника, флейтистки, танцовщицы-акробатки и танцовщика, одновременно игравшего на кифаре. Они развлекали собравшихся музыкой, цирковыми номерами, пляской, пением и, наконец, пантомимой.

Популярнейшей забавой была игра, называвшаяся «коттаб». Она имела много разновидностей, и более простых, и более сложных, но суть ее заключалась в том, что последними каплями вина, оставшимися в чаше, надо было плеснуть в цель — в глубокий сосуд или плоское блюдо. При этом, бывало, проносили имя любимой женщины или имя любимого юноши и,

если попадали в цель, видели в этом доброе предзнаменование для своей любви. Во время террора Тридцати тиранов осужденный на смерть Ферамен весело выпил поднесенную ему чашу с ядом, остатки же выплеснул со словами: «За здоровье прекрасного Крития!». Критий был главою Тридцати, потребовавшим смертного приговора для Ферамена. Эта зловещая пародия на коттаб не только свидетельствовала о мужестве смертника и намекала на беспутную юность Крития, но и вправду обладала силою «доброто» предзнаменования: в скором времени Критий последовал за своими жертвами.

Жена не могла разделить с мужем не только мало-мальски праздничное застолье — женщина вообще не участвовала ни в социальной, ни в государственной жизни полиса, за редкими исключениями, когда этого требовали старинные религиозные обряды. Перикл в эпитафии заявляет: «Коль скоро нужно упомянуть и о женских доблестях, ...я выражу все в одном кратком увещании: велика ваша слава, если вы не хуже того, чем должны быть по женской своей природе, велика слава женщины, о которой меньше всего разговоров между мужчинами, хвалят ли ее или порицают — безразлично». Стало быть, Фукидид видит в женском бесправии важную черту афинского общественного строя. В Спарте женщина пользовалась большей свободой (понятно, не из «либеральных принципов», но в силу большей архаичности общества, сохранившего следы древнейшего матриархата): девушки получали хорошее спортивное воспитание, упражнялись в беге, метании диска и копья, даже в борьбе, они участвовали во многих религиозных церемониях наряду с юношами, пели и плясали нагие у них на глазах, умели метко ответить и солоно пошутить. Отсюда и известная свобода выбора в любовных и брачных отношениях. Сами греки полагали, что и физическая закалка молодых женщин, и некоторая свобода в общении с противоположным полом преследовали у спартанцев евгенические цели. Действительно, если государство — все, а гражданин — ничто, то важен лишь полезный для

государства результат — «производство» сильных и здоровых детей, будущих гоплитов. Плутарх приводит такой анекдот:

Часто вспоминают <...> ответ спартамца Герада <...> одному чужеземцу. Тот спросил, какое наказание несут у них прелюбодеи. «Чужеземец, у нас нет прелюбодеев», — возразил Герад. «А если все-таки объявятся?» — не уступал собеседник. «Виновный даст в возмещение быка такой величины, что, вытянув шею из-за Тайгета (горный кряж на границе Лаконики. — *Ш. М.*), он напьется в Евроте» (река в Спарте. — *Ш. М.*) <...> — «Откуда же возьмется такой бык?» — «А откуда возьмется в Спарте прелюбодей?» — откликнулся, засмеявшись, Герад.

Но у того же Плутарха изображается весьма занятный обычай:

Муж молодой жены, если был у него на примете порядочный и красивый юноша, внушавший старику уважение и любовь, мог ввести его в свою опочивальню, а родившегося от его семени ребенка признать своим. С другой стороны, если честному человеку приходилась по сердцу чужая жена, плодовитая и целомудренная, он мог попросить ее у мужа, дабы, словно совершив посев в тучной почве, дать жизнь добрым детям, которые будут кровными родичами добрых граждан.

Чистота и целомудрие спартанки, так горячо восхвалявшиеся лаконофилами, оказываются несколько схожими с промискуитетом. К тому же напрашивается предположение, что и эпизодический сеятель, желавший засеять тучную почву, не всегда спрашивался у законного хозяина, и сама почва не всегда оставалась абсолютно пассивной, не видя в подобной агрономии ничего дурного. Но раз промискуитет служит «благу отечества», он имеет право называться целомудрием.

Афинская девушка, напротив, была затворницей в доме отца, пленницей гинекея, женской половины дома. Ей полагалось, говорит Ксенофонт в «Хозяине», «видеть как можно меньше, слышать как можно меньше, задавать как можно меньше вопросов». Если она чему и училась помимо домашних обязанностей, так только самым элементарным начаткам чтения, счета и музыки — от матери или от кого-нибудь из служанок. Она выходила замуж по выбору родителей или опекуна, не зная жениха и не видя его, по крайней мере до помолвки. Обычным брачным возрастом для девушки было 14–15 лет, для юноши — 18–20 лет. В Афинах помолвка сопровождалась вручением жениху приданого, а затем (как правило, вскорости) устраивали и свадьбу, продолжительность и пышность которой зависели от благосостояния молодых (или их родителей). Цели брака и здесь были сверхличными, только афинян томила забота несколько менее общего свойства: не благо отечества, но благо семьи, дома, рода. Сыновья необходимы не ради того, чтобы заботиться об отце в старости, но, прежде всего, чтобы не прекратился культ предков, не пресекся и не угас род. Холостяцкая свобода осуждалась в Спарте и законом и общественным мнением; афиняне обходились без юридических санкций, но обычай действовал не менее эффективно, чем закон. Грек женился, исполняя религиозный и социальный долг; жена была необходимым средством, чтобы этот долг исполнить.

Такова социально-психологическая схема греческого брака. В ней нет места ни супружеским чувствам, ни взаимной привязанности, ни тем более любви. Высказывается догадка, что муж, постоянно занятый вне дома, почти что и не видел и, по сути дела, не знал жену, постоянно запертую в гинекее, и что нерастраченный запас чувств расходовал на мальчиков и веселых девиц. Но гораздо более разумной и психологически обоснованной представляется другая гипотеза, показывающая старую схему в новом свете. Греки были способны любить своих жен не

меньше всех прочих людей во все прочие эпохи и с потаскушками забавлялись не больше прочих иных, но полисная идеология, прямая наследница героического идеала, несовместима с открытым проявлением нежности к женщине — ни к жене, ни к возлюбленной. Подобные чувства относились к сфере сутобо частной, приватной и огласке не подлежали. Но это не мешало им существовать; в противном случае невозможно объяснить их внезапное появление в комедии меньше века спустя после Пелопонесской войны, где они мало чем отличаются от изображения соответствующих эмоций в более поздние времена, вплоть до нынешних. Просто с падением полиса пала и его идеология.

Сходным образом объясняется устойчивое мнение об особом пристрастии греков к распутству. Конечно, рабство и хорошо организованная проституция создавали «благоприятную атмосферу», но главное — что сексуальные подвиги мужчин (и женатых, и холостых — одинаково) принадлежали к темам вполне пристойным, тогда как доброй хозяйке дома и матери семейства подобает, по суждению Перикла, только одно: атмосфера глухого молчания.

Сложнее обстоит дело с педерастией. Она тоже была наследием героической эпохи с ее мужским по преимуществу укладом жизни и мужской культурой. Дружба, и особенно дружба старшего с младшим, была для той эпохи высочайшею из ценностей. Младший гордился и восхищался доблестью и силой старшего, в котором видел не только защитника и покровителя, но и образец для подражания; старший ценил в младшем не только телесную красоту, но всестороннюю одаренность, скрытые возможности, которым он, старший, помогал раскрыться и потому гордился ими, словно собственными. Иногда говорят, что чувственность в греческой педерастии занимала подчиненное место, иногда — что старший возлюбленный был, собственно, воспитателем младшего, приводятся и другие сообщения в пользу и в украшение однополой любви у древних.

Но древним не нужны оправдания. Как бы ни выглядели их нравы с точки зрения сегодняшней морали и уголовного кодекса, звать мертвых к ответу нелепо. Следует лишь помнить, во-первых, что педерастия имела чрезвычайно широкое распространение, но при этом не препятствовала браку, так что можно говорить об определенной амбисексуальности греков, а во-вторых, что без педерастии облик всей греческой культуры был бы иным.

Выходя замуж, девушка меняла неограниченную власть отца на почти такую же неограниченную подчиненность мужу. Муж мог держать ее взаперти, мог отдать замуж за другого при своей жизни, мог назначить ей будущего супруга в завещании. Но практика была гораздо мягче. Жена становилась хозяйкою и правительницею дома, госпожою над рабами и, в знак своих полномочий, получала ключи от всех дверей. (Правда, обжорство, пьянство или мотовство супруги лишало ее права «ходить в ключах».) Даже если муж предпочитал, чтобы она оставалась побольше дома, она задавала уроки рабам, принимала всяческие поступления, решала, что употребить в дело, что отложить про запас, следила, чтобы шерсть не лежала попусту, но рабыни ткали бы прилежно, чтобы хлеб в зерне не отсырел, следила за нравственностью рабов и за их здоровьем. Впрочем, только зажиточный горожанин мог позволить себе роскошь иметь жену-затворницу. Жены бедняков сами ходили и по воду, и на рынок — и не только за покупками, но и сами торговали чем придется, зарабатывая на жизнь вместе с мужем.

Так было до войны, война же если и не разрушила стены афинских гинекеев, то высадила в них двери. Многие жены подолгу не видели своих мужей и волей-неволей вели все дела сами. То, что из одиннадцати комедий Аристофана три посвящены «женскому вопросу», говорит об уровне женской эмансипации. Это относится и к хозяйству, и к свободе суждений обо всем, не исключая и политики, и, наконец, к свободе нравов.



В отличие от лакедемонян, афиняне не утверждали, что у них нет прелюбодеев. Выше уже упоминалось, что в Афинах существовал закон, позволявший обманутому супругу убить своего обидчика, если тот будет застигнут на месте преступления. Впрочем, своим правом рогоносцы пользовались лишь в исключительных случаях, но с женою, уличенной в неверности, разводились неукоснительно: это было уже не правом, но обязанностью, и снисходительность грозила потерей гражданских прав. Если верить Лисию, толкующему древний закон, соблазнитель заслуживал кары более жестокой, чем насильник: насильника жертва ненавидит, соблазнитель же растлеивает женскую душу до такой степени, что может тайком забрать в свои руки и чужой дом, и чужих детей, да и вообще уже неизвестно, чьи это дети, законного мужа или распутника. Но неверность мужа не могла служить поводом ни для развода, ни даже для обиды, причем удачливой соперницей бывала не только свободная гражданка, связь с которой грозила серьезными неприятностями, но и рабыня. Речь идет не о случайной интрижке, не об утолении минутной похоти, а о подлинной страсти. На этот случай сохранилось замечательное свидетельство — речь Лисия, числящаяся под номером IV («О преднамеренном ранении»). Двое приятелей купили «пополам» рабыню, для каких целей, в точности сказать нельзя, скорее всего — и для услуг по хозяйству, и для удовольствий разом. Но один из покупателей влюбляется — так же точно, как влюблялись и десять, и двадцать, и двадцать пять веков спустя. Приятельство сменяется ревностью, враждой, ненавистью наконец, поскольку второй не желает уступить свою «половину» безвозмездно, тем более что рабыня, по его словам, обнаруживает больше привязанности то к одному, то к другому попеременно. Любопытно было бы узнать, как относилась ко всему происходившему супруга и хозяйка дома, однако об этом Лисий умалчивает: мнение жены никого не интересовало.

Муж мог оставить жену и без всякого повода, закон этому не препятствовал; единственным требованием закона был возврат приданого. Неизвестно, насколько чаще меняли бы афиняне своих жен без такого ограничения, но фактически главной причиной разводов служило, по-видимому, бесплодие жены, что вполне понятно. Женщина, юридически бесправная во всех отношениях, не могла и ТРЕБОВАТЬ развода; она могла лишь просить архонта о защите, и тот, если находил ее доводы вескими, обязывал мужа вернуть жене свободу и приданое. Насколько можно судить, вескими доводами признавались только систематические побои и вообще дурное и жестокое обращение. Но общественное мнение было в любом случае против жены, расставшейся с мужем, как бы муж с нею ни обращался.

Греки различали обыкновенных проституток (по-гречески *pornoi*, корень этот вошел в международный обиход самым прочным образом) и птиц высокого полета, которые и стоили намного дороже, и назывались пристойно — «подругами» (по-гречески *hetairai*, гетеры, слово не менее международного звучания). Главное различие, однако, видят не в цене и не в названии, а в высоком интеллектуальном уровне гетер и в доказательство приводят ряд имен, не слишком длинный, всегда один и тот же и всегда начинающийся с Аспасии из Милета, второй жены Перикла. Действительно, Аспасия была замечательно талантливая и образованная женщина, имевшая большое влияние на мужа и, через него, на всю политическую и культурную жизнь Афин. Но из этого едва ли можно сделать вывод, что теми же достоинствами обладали многочисленные флейтистки, арфистки и танцовщицы, содержащиеся в веселых домах, под надзором хозяина, или промышлявшие на свой страх и риск. Более основательным представляется мнение, что их образование носило специфический характер. Аспасия же была скорее гениальным исключением, какое способно объявиться в любом социальном или профессиональном кругу.

Законным брак признавался лишь в том случае, если оба супруга принадлежали к числу граждан одного полиса или если между полисами существовало соглашение о смешанных браках (эпигамия); только такой брак давал детям гражданское полноправие. В Афинах Перикл провел закон, отменяющий всякую эпигамию (451 год). Но стремительная убыль населения, вызванная войною и, в еще большей мере, эпидемией, заставила изменить законодательство: права гражданства получили все родившиеся от постоянного сожителства афинянина с иностранкою. (Разумеется, речь шла исключительно о свободных женщинах греческого происхождения — рабыня и варварка ни при каких условиях не могла родить афинянина.)

Рост народонаселения замедлялся искусственно, и ко времени Пелопоннесской войны семейное планирование давно стало обычным делом. Еще в VII веке Гесиод поучал: если хочешь достатка и боишься обеднеть, рожай не больше одного сына. И Платон вторит ему: в идеальном государстве больше двух детей — одного сына и одной дочери — в семье быть не должно. Насколько последовательно исполнялись эти рекомендации, никто, конечно, сказать не может, но аборты и детоубийства практиковались широко. Все решал хозяин будущего ребенка — его отец или же владелец беременной рабыни, и мотивы решения были по преимуществу экономические. Если новорожденного не умерщвляли собственными руками, но бросали на произвол судьбы (в поле, в лесу или на перекрестке — безразлично), то и это трудно назвать иначе, чем детоубийством. Особенно часто подкидывали незаконных детей — как, вероятно, во все века.

Сын был обязан отцу послушанием и уважением. Закон предусматривал смертную казнь за побои, нанесенные родному отцу, и если Аристофан в «Облаках» изображает сына, который, поколотив отца, хладнокровно доказывает, что имеет на это полное право — в согласии с «новым просвещением» и наставлениями Сократа, — афинский зритель, даже сознавая все

буффонство комедийной ситуации, ужасался и негодовал гораздо сильнее, чем сегодняшний читатель. Смерть угрожала и тому, кто отказывался содержать престарелого родителя или каким бы то ни было образом отнимал имущество у приемного отца. Едва ли на бытовом, семейном уровне конфликт между отцами и детьми, неизбежный в пору развала традиционной идеологии, ощущался сколько-нибудь отчетливо, но в политике он был достаточно заметен. Отговаривая сограждан от Сицилийской экспедиции, Никий у Фукидида не случайно противопоставляет легкомысленную и авантюристически настроенную молодежь старшим и просит последних защитить государство от опасности. Но «молодежь» — это ровесники Алкивиада, люди между 30 и 40, и Алкивиад совершенно справедливо возражает Никию, что и в прежние времена (неизбежная и неременная ссылка на традицию!) было не иначе: молодые советовались со старыми — и действовали и побеждали. Верно, мог бы возразить в свою очередь Никий, только прежде, во времена Марафона и Саламина, нельзя было даже и представить себе раздора между поколениями, и не только в силу авторитета старших и дисциплинированности младших, но по органическому единству полисного целого.

Среди сыновних обязанностей была, конечно, и забота о здоровье стариков. Кого приглашали к заболевшему — настоящего лекаря или шарлатана, — зависело от удачи и цены визита, но даже и знаток врачебного искусства мог натворить немало бед в доме. Очень поучительно взглянуть под этим углом зрения на знаменитую Гиппократову клятву (которая, правда, почти наверняка Гиппократу не принадлежит):

Лечение, которое я назначу в меру своего разумения, будет на пользу больному, а не во вред и не в ущерб ему. Я не дам и не присоветую никому смертоносного лекарства, хотя бы меня и просили об этом; я не стану помогать женщине вызвать выкидыш. В какой бы дом я

ни вошел, я вступлю туда единственно ради помощи больному и воздержусь от всякого скверного поступка, в особенности же — не стану соблазнять ни женщину, ни мальчика, ни рабов, ни свободных. Что бы я ни увидел или ни услышал, выхаживая больного, <...> я буду хранить молчание, словно о священных таинствах.

Бедняки обращались за помощью к общественному врачу, какие были если и не повсюду, то в очень многих городах. В Афинах городского врача избирало Народное собрание, выслушав рекомендации и аттестации, представлявшиеся каждым из соискателей. Город не только платил врачу жалование, но и отводил место для амбулатории и стационара, и возмещал стоимость всех лекарств.

Но, пожалуй, самой главной обязанностью сына было достойно, с соблюдением всех обрядов похоронить родителей.

Когда умирающий испускал последний вздох, ему прежде всего вкладывали в рот медную монету — плату за перевоз через реки в царстве мертвых. (Рот служил греку кошельком не только после кончины, но и при жизни.) Затем тело обмывали, натирали благовониями, одевали и укладывали на кровать в ближайшем к входной двери помещении. Лицо оставляли открытым, на голову надевали венок. Начиналось прощание, в котором могли участвовать все мужчины без ограничения, но из женщин только родственницы. Траур обозначался темным платьем (в некоторых местах, напротив, белым) и остриженными волосами; женщины били себя в грудь, царапали щеки, посыпали голову пеплом. Над трупом голосили нанятые за плату профессиональные плакальщики и плакальщицы.

Прощание длилось не больше двух дней. Похороны (по крайней мере, в Афинах) устраивали ночью, чтобы не осквернять солнечный свет. Тело либо хоронили (богатые — в каменных саркофагах, бедные — в керамических гробах), либо сжигали; но и после сожжения собранные в урну останки зарывали в землю. Над могилой совершали возлияния вином и маслом —

первая поминальная жертва умершему. Затем возвращались домой и с величайшей скрупулезностью очищали и дом, и самих себя от осквернения, причиненного мертвым телом.

Только на фоне этого погребального усердия, неумного и разорительного (существовали специальные законы, ограничивавшие как похоронные расходы, так и проявления скорби), можно понять, что означало вольнодумство Сократа в последний час перед казнью. Один из друзей спрашивает:

— Как нам тебя похоронить?

— Как угодно, — отвечал Сократ <...> — Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я — это только тот Сократ, который сейчас беседует с вами и пока еще распоряжается каждым своим словом. Он воображает, будто я — это тот, кого он вскорости увидит мертвым <...> Поручитесь же за меня перед Критоном, что я удалюсь отсюда, как только умру. Тогда Критону будет легче, и, видя, как мое тело сжигают или зарывают в землю, он уже не станет негодовать и убиваться, воображая, будто я терплю что-то ужасное, и не будет говорить на похоронах, что кладет Сократа на погребальное ложе, или выносит, или зарывает <...> Хорони, как тебе заблагорассудится и как, по твоему мнению, требует обычай.

(Платон «Федон»).

Домашние дела и семейные заботы отнимали у грека немного времени. Жизнь свободного гражданина протекала преимущественно на людях, вне дома: кто победнее, трудился, кто посостоятельнее, был занят общественными делами, или спортом, или предавался «досугу» (в греческом смысле слова) в обществе друзей. Как и поныне в южных городах, улицы и площади были горожанам милее, чем четыре стены. Тем более что сколько-нибудь пристойных жилищ в Афинах было очень мало; еще и полвека спустя один очевидец говорил, что, глядя на убогие афинские домишки, глинобитные, приземистые, без

окоп, чужеземец не может поверить, что попал в Афины. Впрочем, улицы были едва ли пригляднее. Воздвигнув великолепные храмы небожителям, превратив свой Акрополь в чудо света, афиняне с полным равнодушием относились к убожеству и невероятной грязи, которые их встречали за порогом. Кривые, проложенные наобум, пыльные улочки исполняли одновременно роль сточных канав и мусорных ящичков. Единственными ассенизаторами были голодные, полуодичавшие псы. Зеленые лужайки, купы деревьев, которые были сперва в городской черте, быстро исчезли: афиняне строились, а приток сельских жителей в город после начала военных действий многократно ускорил это строительство. Летом на улицах бушевали пыльные смерчи, осенью и зимой наползал густой, вредный туман с малярийных болот. Трудно сказать, как относились афиняне к этим весьма существенным, по нынешним понятиям, изъянам, но вполне вероятно, что просто не замечали их, в том убеждении, что иначе и не бывает.

Уличная толпа тоже, вернее всего, напоминала южный город сегодня — и в целом, и даже отдельными характерными черточками. Известно, например, что иностранцы неизменно дивятся, видя, как болгары в знак отрицания не мотают головой, а напротив, качают ею. Но и древний грек поступал точно так же: он вскидывал подбородок вверх, потом опускал на грудь. Жестикулировали при разговоре достаточно энергично, хотя, возможно, и не столь оживленно, как в сегодняшних Афинах, или Тбилиси, или Неаполе. Аристофана возмущала вульгарная разнузданность движений его современников; он напоминал им, что при Солоне оратор говорил с трибуны, не выпрастывая рук из-под плаща. Некоторые из жестов известны достоверно. Радость, например, выражали, вытянув вверх руки и щелкая пальцами. Дразнили и поносили, показывая кулак с вытянутым вперед средним пальцем, — это вполне соответствовало кукишу и стертой уже непристойностью, и по значению. Рукопожатиями обменивались редко — в особо торжественных

случаях, в знак клятвенного обещания или прощания надолго, навсегда (на могильном камне умерший нередко изображался пожимающим руку кому-то из оставшихся в живых). Очень типичным движением было закутывание головы краем плаща: так поступали, желая скрыть слезы или вообще признаки страдания на лице, так поступали, в частности, чувствуя приближение смерти. Плакали, впрочем, охотно, и слезы считали признаком благородства.

На улицах стоял оглушительный шум. Ржали лошади, ревели ослы, верещали и хрюкали свиньи, заливались во всю мочь и на все голоса певчие птицы, стрекотали не исчислимые цикады. Стук, скрип, визг, грохот рвались из всевозможных мастерских — оружейных, кузнечных, колесных, столярных, каретных, ювелирных, сапожных. Но главным источником шума были сами афиняне. Они говорили всегда громко, и гостю из далеких краев наверняка казалось, что они непрерывно ссорятся, что любой разговор вот-вот превратится в драку. По-видимому, некоторое представление об этих разговорах могут дать мирные беседы на тбилисских дворах и углах. Греки любили перекликаться издали, наслаждаясь силой и звучностью своего и чужого голоса, и терпеть не могли тишины.

Еще шумнее был рынок. Надо иметь в виду, что покупки на рынке были исключительно мужским делом, и стало быть, облик рыночной толпы был иным, нежели сейчас. С восхода солнца до полудня рыночная площадь кипела и волновалась не переставая. Крики и зазывания торговцев составляли не только часть их ремесла, но и своего рода предмет искусства. Переорать соседа, придумать что-нибудь особенно занятное, особенно соленое и похабное — в этом деле первенство держали рыбаки, и рыбные ряды (всякому товару отводилось свое определенное место) были самыми веселыми и громкими. Дела о надувательствах и взаимных оскорблениях словом и действием разбирали тут же, на месте, агораномы (т. е. «смотрители рынка»); они же следили за правильностью мер и весов и взимали торговые



сборы. Ремесло рыночного торговца пользовалось недоброй славою: Аристофан, желая уязвить Фукидида, кстати и некстати поминает, что его мать продавала на рынке зелень.

Столь же сомнительной была репутация банщиков. Ответственные бани, как и лавки цирюльников, парфюмеров или сапожников, собирали множество праздных посетителей, которые сплетничали и судачили о чем придется, проводя в тепле и в приятном обществе целые дни. Спартанцы купались в реке — ежедневно и круглый год. В Афинах этому правилу подражали только закоренелые лаконофилы, которые и мылись холодной водой под открытым небом. Рядовой же афинянин предпочитал понежиться в подогретой воде, тем более что плата в банях взималась ничтожная. Были и женские отделения, но их посещали только особы, не дорожившие добрым именем, — гетеры, беднячки, рабыни. Уважающая себя мать семейства мылась дома.

В заключение — несколько слов о том, что можно было бы, на нынешний лад, назвать отличиями в национальном характере афинян и их противников. Об этих отличиях не раз и по разным поводам говорит Фукидид. «Оба народа, — утверждает он например, — сильно разнятся по характеру: один — стремительный и предприимчивый, другой — медлительный и нерешительный». Афиняне падки на всякие новшества, дерзки до безрассудства, отваживаются на то, что заведомо превышает их силы, прирожденные оптимисты, не теряющие надежды даже в самых трудных обстоятельствах. «Они словно рождены для того, чтобы самим не знать покоя и не давать покоя другим». Они капризны, легко возбудимы, непостоянны, и вожаки, не обладавшие твердостью и силой Перикла, жалуются постоянно, что ими трудно управлять. Они обожают шутку, острое слово («аттическая соль» вошла у греков в пословицу), но эта страсть приводит и к словоблудию, и к самообману с помощью красивых и приятных словес.

Спартанцы отлично видели собственную инертность и неповоротливость на фоне афинского неуемного динамизма, но видели в этом не порок, а достоинство: основательность, устойчивость, разумную сдержанность, — и были довольны собою в еще большей мере, чем афиняне.

ДВЕ СМЕРТИ,  
или ДЕНЬ МИНУВШИЙ — ДЕНЬ НАСТУПАЮЩИЙ

**К**артина величайшего довольства собой открывается в эпитафии Перикла.

Теперь, познакомившись с жизнью греков в различных ее аспектах, можно утверждать, что эпитафий изображает не реально существовавшее афинское общество, но тот идеал, к которому стремился Перикл, идеальную рабовладельческую демократию, в которой каждый полноправный гражданин способен и управлять государством, и пользоваться всеми благами и богатствами культуры, и не только способен, но и осуществляет свою способность на деле.

В теории древней драмы существует термин — «трагическая ирония». Герои на сцене тревожатся, мучатся сомнениями и надеждами, хлопочут и суетятся, но и автор, и зрители одинаково хорошо знают сюжетную основу мифа и потому со скорбным сочувствием глядят на персонажей трагедии, уже обреченных на неотвратимую гибель и — по неведению — лишь приближающих напрасными хлопотами час смертной муки. Трагической иронией проникнут и эпитафий Перикла. Не только сам Перикл, но и его Афины, величие которых он созидал на протяжении десятков лет, стоят на пороге смерти, а герой знай себе восхваляет незыблемую мощь и неиссякаемую творческую силу афинской демократии. Неизвестно, что именно говорил глава государства над мертвыми телами первых жертв Пелопоннесской войны; известно только, что Фукидид облек панегирик Перикловым Афинам в форму надгробного слова — и это нельзя считать случайностью.

Карьера Перикла очень характерна для «золотого века» демократии. Он родился около 490 года, т. е. был ровесником первой великой победы над персами — Марафонского сражения. Саламин, Платей и Микале он встретил уже подростком, достаточно сознательным, чтобы понять значение этих битв и гордиться своим городом и вообще греческим оружием. Этого мало: в морском сражении при мысе Микале у малоазийского берега командовал отец Перикла, Ксантипп. Любопытно, что Микале — первая наступательная операция греков в персидских войнах. Если верить в символы и предвестья, можно сказать, что успех отца предвещал неукротимый динамизм (чтобы не сказать «агрессивность») сына.

Афинская аристократия, разгромленная политически еще в предыдущем, VI, веке, честно служила новому, демократическому строю, сумевшему доказать свою жизнеспособность в борьбе с персами, которая требовала патриотического сплочения всех сил народа. Многие потомки знатных и богатых родов достигали командного положения среди руководителей демократии. Перикл был не просто одним из них — он принадлежал к самым решительным и твердым в своем лагере. Победоносная война, как это случалось нередко, активизировала отжившие, казалось бы, силы. Аристократия вновь окрепла: по всей Греции духовная гегемония решительно переходит к Спарте, а в Афинах все большее влияние приобретает Ареопаг, судебный и государственный совет, составившийся из бывших архонтов, по тем временам — учреждение сугубо аристократическое. Молодой Перикл во всем поддерживал главу демократов Эфиальта, основной целью которого во внешних делах было ослабить авторитет лакедемонян, во внутренних — Ареопага. Того и другого он успешно достиг в 460 или 461 году, открыв, таким образом, путь к последовательной перестройке Афин в демократическом духе, но вскоре был убит политическими противниками. Его преемником стал Перикл.

Следовательно, два основных принципа своей политики — последовательный демократизм и конфронтацию со Спартой — Перикл получил в готовом виде от Эфиальта. Два других — продолжение борьбы с Персией и гегемония на море — восходят к Фемистоклу, победителю при Саламине. Это значит, что Перикл выступал не новатором, но продолжателем и завершителем дела, начатого его предшественниками.

Важнейшими из внутренних мероприятий Перикла по справедливости считаются плата за исполнение общественных и воинских обязанностей и раздача «зрелищных денег», превращавшие декларации равенства и народоправства если и не в действительность, то, по крайней мере, в реальную возможность. Этой же задаче — воспитанию сознательных граждан — служит и культурная политика Перикла. Он собирал вокруг себя лучших архитекторов, скульпторов, художников, мыслителей — ради того, чтобы украсить и просветить Афины, чтобы приобщить афинян к высшим достижениям цивилизации. И международные дела вершились с той же позиции: «Афины прежде всего». Первые десять лет своей власти, примерно с 457 по 447 год, Перикл действовал и против Персии, и против Спарты одновременно, стремясь присоединить к Афинскому союзу как можно больше земель и в самой Греции, и в заморских колониях, вплоть до Черного моря. В конце 50-х годов он даже предлагал созвать панэллинский конгресс в Афинах, чтобы сообща решить общие для греков проблемы реставрации храмов, разрушенных персами, и безопасности судоходства. Но спартанцы прекрасно понимали, что согласиться на такое собрание означало бы признать афинскую гегемонию надо всю Грецией, и расстроили хитроумный Периклов замысел. Потом удача изменила Периклу, значительная часть новых союзников вернула себе самостоятельность или переметнулась на сторону Спарты, от мысли о гегемонии над материковою Грецией пришлось отказаться (формальное тому свидетельство — тридцатилетний мир со Спартой 445 года). Отныне главное —

укрепление морского могущества, консолидация Союза в прежнем его составе и скрытая экспансия с помощью высылки колонистов куда только возможно. Но и на этом, втором, этапе все направлено к одному — укреплению и возвеличению Афин.

И вот началась война. Перикл не мог не сознавать, что в его преобразовательных планах наступает, в лучшем случае, долгий перерыв. Пришла пора подвести итог всему сделанному, и он подводит этот итог в эпитафии, произнесенном в конце 431 или начале 430 года. И хотя тон его речи олимпийски величав, хотя развернутая им панорама прекрасна и безмятежно ясна, читателю Фукидида ясно, что игра проиграна и похвала демократическим Афинам — либо обман, либо самообман. Об объективных причинах поражения, из которых основной было несоответствие полисных задач и идеалов великодержавной политике, выше говорилось достаточно. Но трудно сомневаться и в том, что сам Перикл понимал всю ненадежность корабля, которым он правил без малого тридцать лет, перед надвинувшеюся бурей. Он не смог воспитать сограждан, не то, чтобы не успел, но именно не смог и не мог. Он, всеобщий благодетель и кормилец, бескорыстный, честнейший, неподкупный, пользовавшийся неограниченным влиянием в народе и проводивший свою линию в согласии с общими интересами, прямо и неуклонно — таковы, по крайней мере, свидетельства древних авторов, от Фукидида и дальше, — за год до начала войны убедился, что положение его так же непрочно, как сорок лет назад, и что вся постройка, возведенная с таким трудом, может рухнуть в один миг. Враги (то ли сторонники олигархии, то ли завистливые соперники из числа демократов, то ли те и другие вместе) пустили пробный шар, натравив просвещенных господ афинян на ближайших к Периклу людей — скульптора Фидия, философа Анаксагора, супругу Перикла Аспасию. И просвещенные сограждане оказались темной толпой, суеверной, злобной, скорой на расправу. Говорят, что Фидий крал золото, из которого делал статую Афины для Парфенона? В тюрьму его! Ах, не крал? Все

равно в тюрьму! Как он смел изобразить на щите богини самого себя и Перикла, сражающихся с амазонками!

И Фидия упрятали под замок и втихомолку отравили, да еще свалили вину на Перикла: он, дескать, хотел избавиться от соучастника своих преступлений.

Аспасию обвинили в безбожии и ... в сводничестве. Обвинению в безбожии тут же придали более общий характер: было внесено предложение, чтобы неверующие в богов и изобретающие всяческие новые учения насчет небесных тел привлекались к суду как государственные преступники. Это метили в Анаксагора, учителя Перикла, а косвенно — и в ученика. Аспасию Перикл отстоял; он защищал ее сам и буквально вымолил ей пощаду, пролив перед судьями море слез. Анаксагора же он тайком выслал из Афин, боясь, что не сумеет его спасти.

В первые же месяцы боевых действий афиняне принялись корить и поносить Перикла. На него нападали и за то, что он начал войну, и за то, что ведет ее слишком вяло, и за то, что допустил неприятеля вторгнуться в Аттику. Раздражением обывателей пользовались и правые, и левые, в частности Клеон, уже тогда мечтавший столкнуть Перикла и занять его место. Пока не вспыхнула эпидемия, врагам не удалось сколько-нибудь серьезно ослабить позицию старого вождя. Мор, однако же, озлобил афинян настолько, что они лишили Перикла звания стратега и оштрафовали его на громадную сумму, признав единственным виновником всех своих горестей. Впрочем, опала длилась недолго. Толпа скоро убедилась, что другого Перикла в Афинах нет, и просила его снова принять на себя управление всеми делами.

К этому времени эпидемия унесла большую часть родни и друзей Перикла, которые были ему важными помощниками в государственных делах, но он сохранял твердость духа, и никто не видел его плачущим на похоронах. Лишь смерть второго и последнего из законных сыновей сломила его: «...возлагая на

умершего венком, он не устоял против горя — разразился рыданиями, залился слезами; ничего подобного с ним не случалось во всю жизнь». Так сообщает Плутарх, забывая, что сам же чуть раньше говорил об обильных слезах Перикла во время суда над Аспасией. Так или иначе, но у Перикла остался только незаконный сын, родившийся не от афинской гражданки, а от милетянки Аспасии, и, едва вступивши вновь в должность стратега, «он потребовал отмены закона о побочных детях, который сам когда-то внес, — иначе... прекратились бы совершенно и род его, и имя». На основании этого закона (он упоминался немного выше) лишилось прав гражданства и было продано в рабство около пяти тысяч афинян, и, хотя казалось странным, «что закон, применявшийся со всею строгостью против стольких лиц, будет отменен как раз по отношению к тому, кто его издал, несчастье Перикла смягчило афинян: они полагали, что он терпит наказание за прежнюю гордость и самодовольство».

Действительно, и по этому случаю и по многим иным Перикл имел повод в последний год жизни (он умер в сентябре 429 года) пересмотреть и оценить заново различные детали своей политической биографии, задуматься о том, что ждет Афины, когда его не станет и начнется неизбежная борьба за власть. И в мыслях у него могло быть что угодно, только не довольство собою и не уверенность в будущем, которыми сияет эпитафий, вложенный в его уста Фукидидом. Как у Перикла не нашлось продолжателя и преемника, так у Перикловых Афин не было будущего. И для Древней Греции, и для времен более поздних они остались чем-то раз и навсегда завершенным, замкнутым в себе, минувшим.

Сократ, этот анти-Перикл во всем, в большом и малом, в главном и в частностях, был недоволен собой и другими всю жизнь — и умер спокойно и счастливо, в сознании правильно прожитой и правильно оконченной жизни. И хотя он не написал ни строки, хотя школа Сократа невозможна, потому что



главным было индивидуальное воздействие учителя на индивидуальность ученика, эффект непосредственного присутствия учителя, все же кончина его — это начало; это рождение нового жизнеощущения, новой культурной традиции, новой шкалы ценностей, живших века и по сей день не изжитых.

Сократ появился на свет примерно через двадцать лет после Перикла, около 470 года. Происхождения он был незнатного, систематического образования у кого-нибудь среди известных ученых или мудрецов не получил, чем занимался в молодые годы, добывая себе пропитание, — неясно, вероятнее всего — ничем определенным, так же как в старости. Он был постоянно беден, но никогда от этого не страдал, потому что никогда и ни в чем не ощущал нужды. Круглый год он ходил в одном плаще (без хитона) и босой и голод переносил с такою же легкостью, как холод. Но в этом не было ни нарочитого аскетизма, ни демонстративного подражания спартанской суровости нравов. «Когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем наслаждаться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным» (Платон «Пир»).

Он был патриотом Афин, но любил свой город совсем не так, как Перикл, — не блеск его, и не славу, и не мощь, но людей, которые его составляли, которых он, Сократ, знал, чуть не всех до последнего, испытывать и исследовать души которых было для него и «несказанным блаженством», и «божьем велением». Впрочем, бился за родной город он не хуже других, трижды на протяжении Пелопоннесской войны бывал в далеких походах (в том числе под Амфиполем, где так неудачно командовал Фукидид), обнаружил храбрость в сражении, хладнокровие во время всеобщего бегства.

Нонконформизм Сократа, противопоставленность традиционному стереотипу, наследственному комплексу представлений и понятий начинается в нем с внешности. Он был некрасив,

более того — безобразен: плешивый, курносый, толстобрюхий, с маленькими глазками и мясистыми губами — настоящий силен, как называет его Алкивиад в Платоновом диалоге «Пир», имея в виду полые изображения уродливого старика, воспитателя и наставника Диониса. «Если отворить такого силену, то внутри оказываются изваяния богов». Так и Сократ: «если его раскрыть, сколько рассудительности... найдете вы у него внутри!» Но уже это само по себе есть вызов калокагатии и разрыв с нею: «доброе» нутро не требует прекрасной оболочки. «Да будет вам известно, — продолжает Алкивиад, — что ему совершенно безразлично, красив человек или нет (вы даже не представляете себе, до какой степени это ему безразлично!), богат ли, обладает ли каким-либо иным преимуществом, которое превозносит толпа». А ведь все знали, что Сократ любит красивых юношей, восхищается ими, ищет их общества. Но внешняя привлекательность была для него лишь намеком на истинную прелесть, прелесть души, призывом, побуждающим к поискам истинного.

Впервые в истории европейской мысли Сократ сообщил понятию «душа» нынешнее содержание. Если по общим, ходячим представлениям «душа» — это дыхание, животворящее тело и прозрачную тенью отлетающее от него в миг смерти, а по учению орфиков и пифагорейцев «душа» — это гость, нашедший временный приют в человеческом теле, пришелец, который спит, пока тело бодрствует, и просыпается, когда тело засыпает, то для Сократа «душа» — это сам человек, его подлинная сущность, то, в силу чего человек зовется дурным или хорошим, умным или глупым.

Подлинный, «внутренний» человек был единственным предметом философствования Сократа, поскольку счастье зависит исключительно и единственно от благополучия души. Все вопросы натурфилософии (точнее — космологии) отступили на второй план: как сказал Цицерон, Сократ был первым, кто свел философию с неба на землю. Зато теории познания

уделяется самое пристальное внимание, поскольку задача человека в том, чтобы УЗНАТЬ, что хорошо для души и что приносит ей вред. Все беды, все грехи — только от незнания; вся добродетель — только в знании добра, потому что никто не предпочтет заведомого несчастья заведомому благополучью. Этот оптимистический тезис основан на вере как в объективность («божественность») добра, так и в силы человека («божественность души»). Сократ выступает основателем универсальной этики, пригодной не для афинян или спартанцев, не для греков или варваров, рабов или свободных, но для человека как такового, и постигаемой не благодаря принадлежности к полисному коллективу, не через социальное окружение, но сугубо индивидуальным усилием, через «заботы о душе», через «стремление сделать душу как можно лучше». В этом отличие Сократа от современных ему оптимистов — с одной стороны, от Софокла с его нерассуждающим восхищением мощью человеческой мысли, с другой стороны — от софистов, смело вызывавшихся научить добродетели, но самое добродетель толковавших как некий навык, «искусство», которое для одних оборачивается благом, для других — злом.

Таково ядро учения Сократа; им определена вся его деятельность, все его взгляды и убеждения. Один из его друзей обратился к дельфийскому оракулу с вопросом, есть ли на свете человек мудрее Сократа, и пифия изрекла: «Нет». Ответ бога поверг Сократа в смущение, но, отнюдь не считая себя мудрейшим из людей, он принялся проверять божественное речение, обращаясь к одному апробированному мудрецу за другим, и оказалось, что никто из них настоящим (то есть необходимым для души) знанием не обладает. И Сократ заключил: «В сущности... бог желает сказать, что человеческая мудрость стоит немного или даже вовсе ничего <...> как если бы он сказал: "Из вас, люди, мудрее всего тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего, по правде, не стоит его мудрость"» (Платон «Апология Сократа»). В этом первая половина сократовской педагогики:

разрушить привычный, освященный веками стереотип мышления, внушить человеку недовольство собою, своим невежеством, и желание познать самого себя, иначе говоря — собственную душу. (Вторая половина, конкретное содержание «знания», строго рассуждая, неизвестно, но достаточно обоснованным, кажется, предположение, что это была теория вечных, умопостигаемых сущностей, по-гречески *ideai*, «видов», примерно в той форме, в какой она изложена у Платона в диалоге «Федон».) Смысл дельфийского прорицания Сократ усматривал в том, чтобы тревожить душу каждого — не всех разом, но каждого в отдельности, — и отказаться от своей миссии не согласился даже под угрозой смерти.

Я вам предан, афиняне, (говорит он в платоновской «Апологии» — Ш. М.) я люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас, и пока я дышу, пока есть во мне силы, я не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом, так не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше? И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану и не уйду от него тотчас же, но буду его расспрашивать, испытывать, уличать, и если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ставит, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами — с вами особенно, жители Афин, потому что вы мне ближе по крови».

Душа дороже жизни, и если предстоит выбор: осквернить душу отказом от добра, поступить вопреки своему знанию добра или умереть — человек, не колеблясь, должен выбрать смерть. Так в точности и поступает Сократ.

Политика, по его мнению, должна быть применением принципа индивидуальной заботы о душе к обществу в целом. Важнейшая обязанность вождя — делать сограждан как можно лучше. Между тем и Фемистокл, и Перикл делали их богаче, могущественнее, сильнее телом, но лучше, справедливее, разумнее не делали. Они были «прислужниками Демоса», а должны были быть его врачевателями, целителями его духа. (Надо ли оговариваться, что этот упрек анахронистичен: для полиса эпохи расцвета противопоставление души и тела вообще не имеет смысла.) Чтобы управлять городом, «знание» необходимо еще во сто крат больше, чем для управления собственной душой, между тем полисная демократия в любом второстепенном деле, будь то строительство судов или покупка коней, обращается к специалистам, а дела najważнейшие из всех доверяет кому придется, на кого падет жребий. Сам Сократ всегда уходил от участия в государственных делах, потому что невозможно уцелеть человеку, если он противится большинству, стараясь «предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве... А я всю свою жизнь... и в общественных делах, насколько в них участвовал, никогда и ни с кем не соглашался вопреки справедливости — ни с теми, кого клеветники называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь». И правда, однажды ему пришлось быть членом Совета и пританом — как раз тогда, когда судили стратегов-победителей при Аргинусах, — и он, единственный из всех пританов, голосовал против незаконного решения судить всех обвиняемых скопом и едва сам не попал за это в тюрьму. А в другой раз, в правление Тридцати тиранов, его и еще четверых послали арестовать полководца Леонта, но четверо остальных отправились исполнять поручение, а он пошел домой — и,

вероятно, лишился бы жизни вслед за Леонтом, если бы тирания Тридцати не пала.

Чуть ли не любая страница этой книги показывает, что все в Сократе противоречит полису — его идеологии, обычаям, нравам, укладу жизни. И не просто противоречит — отрицает, подрывает, угрожает самым основам существования. Потому он и погиб, осужденный на смерть афинским судом, а не по вине Аристофана, четверть века назад оболгавшего его самым бессовестным образом в комедии «Облака» и внушившего толпе мысль, будто Сократ — страшный безбожник и развратитель юношества, и не за вины тех, кого называли его учениками, т. е. Алкивиада и Крития, главы Тридцати тиранов, и не по просчету обвинителей, которые, как полагают некоторые ученые, вовсе не жаждали крови, но были уверены, что до казни не дойдет, что Сократ удалится в изгнание. Не афинская демократия была его врагом, но античный полис, и убил его полис, а не демократия.

Но убийца был уже обречен, а жертва начала путь в будущее.

Классическая Греция, достигшая своей кульминации и завершения в век Перикла, — это, говоря словами Маркса, «детство человечества», которым взрослый любит, но вернуться в которое не может и не хочет, тогда как мысль Сократа оплодотворяла одну последующую эпоху, одну культуру за другой, и — повторим — не исчерпала себя и поныне.



## АПУЛЕЙ

### Предисловие к «Золотому ослу»<sup>3</sup>

**Н**емного достоверных сведений сохранила история об одном из самых замечательных писателей II века н. э. — Апулее. Мы не знаем точных дат его рождения и смерти, не в состоянии установить хронологию его творчества, нам неизвестно полностью даже его имя (Апулей — это только родовое имя, нечто вроде фамилии). И все же мы отчетливо представляем себе этого человека (не только писателя, но и человека!); нам понятны его страсти, его привязанности и антипатии; вся его сложная и противоречивая натура, равно как и отличающееся теми же качествами творчество, поддается истолкованию и объяснению. Двум обстоятельствам обязаны мы этим: яркой индивидуальности писателя, запечатлевшейся к каждой его строчке, и в то же время удивительной типичности характера самого Апулея для его времени. Плоть от плоти своего века, любимый сын его, он впитал в себя всю ту эпоху со всеми ее пороками и достоинствам: старческой мудростью и детской наивностью, жестокостью и сентиментальностью. Нет, он больше, чем сын века, он его близнец — до такой степени схожи они во всем; потому-то и восстанавливаются с такою легкостью в портрете писателя многие стертые временем черты.

---

<sup>3</sup> Вступительная статья и комментарии. // Апулей. Золотой осёл. Пер. М. Кузмина под редакцией С. Маркиша и А. Сыркина. Государственное Издательство Художественной Литературы, М., 1956. С. 3–22.



II век н. э. считается периодом максимального расцвета и могущества Римской империи. Отошли в прошлое кровавые времена императоров Калигулы и Нерона, свирепые репрессии Домициана, покровителя доносчиков и повелителя льстецов, угодливо именовавших его «господином и богом». Пришедшая к власти к 96 году династия Антонинов принесла, наконец, жителям империи долгожданный покой и избавление от праха неожиданно потерять имущество, честь, а то и жизнь. Внутри государства воцарился мир, восстановилось согласие между императором и сенатом, победоносные войны и умелая внешняя политика императоров новой династии вернули Риму его пошатнувшийся было престиж. Возрастает экономическое и политическое значение провинций. Провинциальные города становятся крупными промышленными и торговыми центрами. Развитие обмена связывает самые отдаленные друг от друга уголки империи. Пурпур и ювелирные изделия Сирии можно было купить и в африканском Карфагене, и в испанском Гадесе, и в галльской Массилии; Африка снабжала Рим хлебом и маслом, из Испании вывозились металлы, даже далекая Галлия начинает экспортировать изделия своих ремесленников, успешно конкурирующие с итальянскими товарами. Провинциальная знать и богачи низводятся императорами и сенаторское достоинство, привлекаются к управлению государством. Далее среди самых императоров нередко попадались провинциалы. Огромная империя во всех отношениях консолидируется, отдельные части ее начинают сливаться в единое целое.

Но время Антонинов было одновременно и эпохой начинающегося упадка античного мира, античного рабовладельческого строя. В тревожных симптомах недостатка не было. Все

вместе взятые, они недвусмысленно предвещали новые бури и потрясения — тяжелый кризис начала III века.

Низкая производительность, невыгодность рабского труда становилась все более очевидной в связи с резким уменьшением притока рабов, начавшимся еще в прошлом веке. Развиваются колонатные отношения (колонат — сдача земли в аренду мелкими участками); разорившиеся свободные землевладельцы, арендуя землю у богачей, принуждены платить своим хозяевам «оброк», в чем усматривается зародыш феодальных отношений, складываются в недрах рабовладельческого общества. Параллельно развитию провинции идет оскудение хозяйства самой Италии.

Процесс превращения римских граждан в бесправных рабов императора неуклонно продолжается. Представители старых сенатских родов, носители идей республиканской оппозиции, больше не существовали; политические традиции сенатского сословия доживали свой век. Власть императора становится все более неограниченной, и уже при Адриане наминает складываться та юридическая норма, классическая формула которой возникла несколько позже: воля принцепса — закон. Цезари душат свободу медленно, исподволь, но тяжелая их рука уже чувствуется повсюду: императорские чиновники вмешиваются во все мелочи жизни городов, всемерно ущемляя их автономию, отбивая у граждан всякий интерес к общественной жизни.

Однако, ни в чем признаки надвигающегося кризиса не проявлялись так отчетливо и так угрожающе, как в области идеологии. Консолидация империи привела к оживленному культурному обмену между провинциями. Римская и эллинская образованность, латинский и греческий языки становятся достоянием сравнительно широких слоев общества, причем не только свободных, но, в известной степени, даже рабов. Элементы древних восточных культур просачиваются в греко-римскую цивилизацию. Возникает какой-то причудливый синтез,

какая-то новая цивилизация, отличительными чертами которой были синкретизм и космополитизм. Люди, подобные Апулею, живо и непосредственно ощущали единство империи, нередко утрачивая при этом связь с родной почвой.

Синкретизм сближает и смешивает самые разнообразные, а зачастую и прямо противоположные вещи и явления. Десятки радушно принятых Римом божеств из пантеонов всех племен и народов сливаются в несколько «верховных» богов и богинь, которых все же больше чем достаточно для одного Олимпа, а приверженцы различных учений ожесточенно грызутся друг с другом.

Различия между философскими школами сглаживаются: натурфилософия, теория познания, диалектика единодушно сдаются в архив за ненадобностью, и на почве этики стоик мирно встречается с эпикурейцем. Всеобщая тенденция к слиянию и объединению не обошла и литературу: теперь уже целесообразнее говорить об одной античной литературе, а не разделять ее на греческую и римскую. Процессы, идущие и в той и в другой, едины, и приводят к единым результатам. К тому же и римлянам случается писать по-гречески (Элиан) и грекам по-латыни (Аммиан Мариеллин), а иные писатели (и первый среди них Апулей) одинаково хорошо владели и тем, и другим языками.

Но те черты «новой цивилизации», о которых говорилось выше, лишь в самой общей форме отражают сдвиги и изменения в идеологии античного рабовладельческого общества. Внутри же была разъедающая душу смесь скепсиса с легковерием, цинизма с восторженной религиозной мистикой, смутного страха перед будущим с пышной словесной мишурой. Люди устали от борьбы, боялись ее. Им не нужна была больше свобода, политические права, карьера великого государственного мужа. К чему рваться так высоко? Воздадим кесарево кесарю, достаточно с нас и того, что останется. Постараемся разбогатеть и вволю насладиться благами существования, спокойно наблюдая со своего удобного и надежного места, как страдают и

гибнут наши менее удачливые собратья. Нет, они тоже не Кориоланы и не Катоны, эти неудачники, они — ровня нам, их страсти — это наши страсти, — так рассуждало большинство современников Апулея. В жизни и литературе рождался интерес к обыденному, к маленьким людям, их вкусам, их переживаниям.

Надвигающийся кризис и неизбежность крушения этой временной стабилизации мира и благополучия присоединяли к вызванной ими социальной апатии ощущения глубокой ночи, мучительного в своей неопределенности и видимой беспричинности беспокойства. В этом был источник и переходящего в цинизм ядовитого скепсиса, особенно характерного для образованной верхушки общества, и наивного, легковерного увлечения мистикой во всех видах. Большим успехом пользовались мистические, философские учения неопифагореизм и новорожденный неоплатонизм, огромное число последователей приобретали всевозможные восточные (сирийские, малоазиатские, египетские) культы, отличавшиеся то оргиастическим неистовством, то головоломной символикой сокровенного учения, то таинственными посвящениями (мистериями), к которым допускались лишь немногие избранные. И жрецы всех этих богов (а среди них и проповедники христианства, которое было тогда всего лишь одною из многих подобных ему монотеистических сект) сулили людям избавление от страданий, освобождение из-под власти слепой, безжалостной судьбы и «жизнь вечную».

Предлагаемая ими «пища духовная» шла нарасхват: отчаяние и растерянность царили не только в верхах, но охватили все общество целиком, не исключая и рабов. Не было такой силы, которая могла бы преградить дорогу этой мутной волне мистицизма и грубых суеверий, захлестнувшей античный мир. Те немногие, кто, подобно великому современнику Апулея — греческому сатирику Лукиану, сохранили трезвость мысли и веру в разум, могли только осмеивать тупость и легковерие своего поколения, но им нечего было противопоставить

иррационализму большинства, они сами потеряли почву под ногами и не могли указать пути другим.

Литература шагала о ногу с веком. Она уже давно отказалась от стремлений поучать и наставлять (мы не принимаем здесь о расчет литературу новых религиозно-философских течений и сект), ее делом стало развлекать читателя и слушателя. Пожалуй, слушатель должен быть даже поставлен на первое место, так как публичное выступление было едва ли не основной формой общения писателя со своим читателем. Недаром такую огромную роль играет риторика (теория красноречия) в литературе императорского времени. Риторика лежит в основе важнейшего литературного движения той эпохи — так называемой «второй софистики», родиной которой была Греция.

Название «вторая софистика» отражает претензии приверженцев нового направления в литературе на большую общественную роль воспитателей молодого поколения, формировавших его этические и политические воззрения, — роль, подобную той, что играли некогда Протагор, Горгий, Гиппий и другие софисты V века до н. э. Беспочвенность этих претензий очевидна, но в одном отношении они все же справедливы: ораторы II века продолжили и развили стилистические традиции «первых софистов». Стремясь к максимальной выразительности, к тому, чтобы потрясти слушателя силою своего темперамента и в то же время порадовать его слух безупречным изяществом формы своей речи, ораторы эклектически (в духе века) смешали принципы различных стилистических направлений прошлого. Пышная торжественность, лирическая задушевность тона, любовь к смелым новшествам сочетались с интересом к древности, к архаическому языку и строгой экономности классикой старой литературы. Форма становилась самоцелью: не так уж существенно было, *что* говорит оратор (да и что особенно интересного мог он сказать, если любой намек на злобу дня расценивался императорской злостью как признак неблагонадежности), важно было, *как* он говорит. Речь превращалась в декламацию,

оратор осыпал собравшихся градом изысканных метафор, сравнений и созвучий, точно размеренных параллелизмов, резких антитез других риторических фигур, изумляя их потоком новых, только что придуманных, или, напротив, древних и поэтому торжественно звучащих слов, очаровывал красотой дикции и плавностью движений. Случалось, что речь его переходила от пения, а жестикуляция — в танец. Говорил же такой оратор о чем угодно. Пересказывал анекдоты, вспоминал забытые мифы, описывал дальние и неведомые страны, редких, заморских животных, памятники искусства, восхвалял богов и людей (особенно знатных или богатых), не гнушался и забавными парадоксами вроде похвалы плещи, дыму или перемежающейся лихорадке.

Таковы были создавшая Апулея эпоха и литературная школа, из которой он вышел.

Апулей родился, по-видимому, между 120 и 125 годами (наиболее вероятной датой считается 124 год). Родиной его была римская колония Мадавра, небольшой городок в Северной Африке. Он сам считал себя полунумидийцем-полутетулийцем, но трудно сказать, действительно ли текла в его жилах хоть капля африканской крови. Весьма вероятно, однако, что в детстве он свободно говорил на каком-то местном семитском наречии. Отец его, занимавший высший пост в городском самоуправлении, был человеком зажиточным, и Апулей, начав свое образование и родном городе, продолжил его в Карфагене. Этот город, заново отстроенный по приказу Юлия Цезаря, достиг во II веке полного расцвета и стал центром провинции Африки, резиденцией наместника, местом заседаний провинциального сената. Апулей любил этот город, где прошли его ранние годы, жили его учителя и наметились его философские взгляды, где провел он, по-видимому, и всю вторую половину своей жизни. Он не перестает восхвалять этот город с своих речах и декламациях, прославляет его богатство, его благочестие, образованность его граждан, нередко теряя чувство меры в своем восторге.

Изучив в Карфагене грамматику и основы риторики и философии, Апулей отправился в Афины, которые вновь сделались к тому времени центром эллинской образованности. Здесь, в школах философов и риториков, проводит он несколько лет в усердных занятиях. Именно в Афинах, вероятно, познакомился Апулей с теорией и практикой последователей «второй софистики» и сам к ней примкнул. Можно предполагать, что к тому же времени относятся первые литературные опыты Апулея на греческом языке.

Но вот Афины прискучили ему. Он отправляется путешествовать, посещает все области Греции, по которым позже будет

скитаться его Луций в ослиной шкуре, едет на остров Самос, во Фригию и, наконец, в Рим. Здесь Апулей становится адвокатом. Выступая на форуме, он не только испытывает силу своего красноречия, но и совершенствуется в латинском языке.

Мы не знаем, что побудило молодого провинциала покинуть Рим, но в начале 50-х годов он опять оказался на родине, где прожил, впрочем, недолго. Вскоре он отправился в новое путешествие, но по пути в Александрию заболел и вынужден был остановиться в городе Эя (ныне Триполи). Здесь он встретился со своим младшим товарищем, обучавшимся вместе с ним в Афинах, неким Понтианом, который женил друга на своей матери, пожилой и некрасивой вдове Пудентилле. Впрочем, все недостатки новобрачной искупались ее богатством, что не могло не иметь значения для молодого Апулея, не привыкшего к нужде и уже успевшего истратить значительную часть своего состояния. Но родственники первого мужа Пудентиллы заподозрили Апулея в том, что, невидимому, не приходило ему к голове, в желании лишить сыновей материнского наследства. Они сумели восстановить против него Понтиана, который даже попытался расстроить им же самим подготовленный брак. Но Понтиан вскоре умер, успев перед смертью помириться со своим другом и отчимом. Тогда неутомимые враги писателя воспользовались младшим сыном Пудентиллы, от имени которого была подана в суд жалоба, обвинявшая Апулея в занятиях магией, с помощью которой он будто бы совратил честную вдову Пудентиллу. Ответом на это нападение была знаменитая «Апология», речь Апулея в защиту самого себя от обвинения и магии, произнесенная им и городе Сабрате перед судом наместника Африки, проконсула Клавдия Максима, — важнейший источник биографических сведений о писателе. Процесс происходил между 156 и 158 годами; большинство ученых склонно датировать его 158 годом, и сама эта дата — ключ к хронологии жизни и творчества Апулея.



Апулей был оправдан, но его надежда, что процесс покажет врагам всю бессмысленность их ненависти и пресечет их преследования, вероятно, не сбылась: вскорости он покинул Эю и переехал в Карфаген. Остальные события его жизни нам почти неизвестны; неизвестна и дата смерти. Мы знаем только, что в 70-е годы он был еще жив и пользовался в Карфагене и других городах Африки громкой славой блестящего оратора и выдающегося философа. Жрец бога Эскулапа, покровителя Карфагена, он был избран также на почетную должность верховного жреца провинции, дававшую право председательствовать в провинциальном сенате. Но, кроме этих немногочисленных и слабо связанных друг с другом фактов, мы обладаем еще изумительным автопортретом Апулея, который складывается из многих черточек, разбросанных по всем его произведениям.

### 3

Творческая продукция Апулея была весьма обширной. Известно, что он писал и на латинском и на греческом языках, и очень гордился тою четкостью, с которой умел переходить с одного языка на другой.

Ни одно произведение из написанных Апулеем по-гречески до нас не дошло. Однако и латинские его сочинения известны нам далеко не полностью. Только по незначительным фрагментам, по названиям и даже намекам мы знаем о сборнике его шуточных и любовных стихотворений, сборнике каких-то рассказов (возможно — эротических анекдотов), романе «Гермагор», о значительном количестве произнесенных по разным поводам речей, декламаций и гимнов в честь богов или знатных покровителей писателя. Погибло большинство его переводов с греческого на латинский в прозе и стихах, трактат «О государстве», все естественнонаучные труды Апулея, составляющие предмет его особой гордости. Кроме того, известно, что ему принадлежали книги по истории, математике, музыке, астрономии, сельскому хозяйству. Любознательность Апулея поистине не знает границ, но знания его, насколько можно судить, поверхностны, и его научные сочинения не поднимались выше уровня компиляции.

Все, что сохранилось и дошло до нас из творческого наследия писателя, может быть разделено на три группы: философские сочинения, речи и декламации, роман «Метаморфозы» («Золотой осел»).

Апулей чрезвычайно дорожил званием философа-платоника. Однако как философ он крайне слаб и несамостоятелен. Все же трактаты «О Платоне и его учении», «Об истолковании», «О вселенной» (принадлежность двух последних трактатов Апулею многими оспаривается), а также философская декламация «о божестве Сократа» представляют значительный

интерес для историка философии. Из них можно видеть, как еще за сто лет до Плотина намечается переход от объективного идеализма Платона к мистическому неоплатонизму, который представлял собою, по словам Маркса и Энгельса, «фантастическое сочетание стоического, эпикурейского и скептического учения с содержанием философии Платона и Аристотеля»<sup>4</sup>.

Уже упоминавшаяся выше «Апология» — чуть ли не единственный образец судебного красноречия императорской эпохи, речь, действительно произнесенная перед судьями в защиту собственной жизни. Несомненно, текст речи перед изданием подвергся некоторой переработке, но надо полагать, незначительной, поэтому «Апология» дает представление об ораторской манере Апулея — свободной, кокетливо-декламаторской манере «агорой софистики». Кажется, будто Апулей не защищается, а просто выступает перед публикой, желая доставить удовольствие эрудированным и философски образованным слушателям, взяв темой нелепые нападки своих обвинителей. В своей виртуозно построенной речи Апулей дает бой на нескольких рубежах, причем, переходя с рубежа на рубеж, не отступает, а, напротив, наступает. Он мог бы просто отрицать всё обвинение в целом, так как оно противоречит его безупречному нраву и образу жизни. Однако, он принимает вызов и доказывает несостоятельность каждого пункта обвинения в отдельности. Установив затем, что дело это не имеет ничего общего с магией, Апулей идет дальше: он показывает, что, будь он даже величайшим из магов, все же не было ни малейшего основания привлечь его к суду. Трем главным линиям этой «обороны» соответствуют три составные части, на которые разделяется речь. В первых двадцати пяти главах Апулей рассматривает нападки противников на его внешность, происхождение и образ жизни. Оказывается, что каждый его поступок находится в строгом соответствии с идеалом философа-платоника, а следовательно,

---

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV, С. 122.

безупречен и далек от преступления. Вторая часть (главы 26–65) — опровержение наветов, непосредственно касающихся магии. (Сами наветы чрезвычайно забавны с современной точки зрения: так, например, Апулея подозревали в том, что из двух рыбешек с неприлично звучащими названиями он составляет приворотные зелья.) Конец речи (главы 66–103) особенно интересен. Это «narratio», то есть «повествование», содержащее последовательное изложение событий, предшествовавших процессу; оно должно было убедить судей в том, что не страшные заклинания колдуна, а сама жизнь со своими естественными мотивами, побуждениями и всевозможными случайностями привела Пудентиллу к браку с Апулеем. В этой части, изобилующей яркими реалистическими деталями, разворачивается талант Апулея, неподражаемого мастера яркого картинного описания. Знаменитая апулеевская ирония принимает в «Апологии» разные формы — от тонкой, еле заметной усмешки до пронзительного сарказма. Чего стоит, например, одно только рассуждение о вдовах, прельщающих женихов большим приданым:

Впрочем, какой человек, хоть немножко разбирающийся в жизни, осмелился бы порицать вдову и женщину уже далеко не в расцвете красоты, но еще в расцвете лет, если бы она, пожелав выйти замуж, старалась большим приданым и выгодными условиями привлечь к себе молодого человека безупречной внешности, характера и происхождения? Красивая девушка, будь она даже очень бедна, все же с избытком наделена приданым: она приносит мужу юную тяжесть своей души, обаяние красоты, нетронутый цветок невинности... А женщина, потерявшая супруга, какой вступала и брак, такой и уходит в случае развода. Она не приносит ничего такого, чего нельзя было бы потребовать обратно; ты получаешь цветок, когда-то уже сорванный другим, и уж во всяком случае тому, чего ты от нее желаешь, ей вовсе не приходится учиться. Она смотрит на свой новый дом с таким же недоверием, с каким люди должны смотреть на

нее самое, уже расторгшую однажды узы брака. Либо смерть похитила у нее мужа — и тогда это злое предзнаменование: оно указывает на то, что эта женщина приносит несчастье в браке и лучше не искать ее руки. Либо она получила развод и ушла — и тогда эта женщина повинна в одном из двух пороков: или она настолько невыносима, что муж с ней развелся, или отличается такой дерзостью, что сама развелась с мужем. По этим-то и еще по другим причинам вдовы прельщают женихов большим приданым. Так поступила бы и Пудентилла по отношению ко всякому другому мужу, если бы не встретились с философом, вообще презирающим приданое.

(«Апология», гл. 92).

Рельефностью, силою и убедительностью портретов «Апология» не уступает не только «Золотому ослу», но и лучшим образцам римской литературы вообще. Конечно, те, о ком говорит Апулей в «Апологии», не чета Катилине у Саллюстия. Они обыкновенные люди своей эпохи, но в характере каждого Апулей подмечает такие черты и детали, что их мелкие страстишки и повседневные заботы навсегда запоминаются читателю. Однако самый яркий портрет в «Апологии» — портрет ее автора, который, как живой, встает перед нашими глазами. Молодой философ-платоник скромно, но изящно одетый, прекрасно владеющий собой и без ума влюбленный в самого себя, небрежно и щедро расточает перед слушателями перлы своей учёности, нередко довольно поверхностной. Он хорошо знает цену жизни и умело читает в душах людей. Опытный софист, он силой своего красноречия побивает своих противников, то извращая смысл их обвинений, то, вместо ответа, поднимая врагов на смех.

Из речей, произнесенных после переселения в Карфаген, Апулей составил сборник в четырех книгах. Какой-то неизвестный поклонник его таланта выбрал из этих речей двадцать три отрывка разных размеров — от нескольких строк до нескольких страниц. Сборник этих отрывков дошел до нас под названием

«Флориды» («Цветник»). Несмотря на малые размеры, он сохраняет деление на четыре книги, что ясно указывает на его происхождение от большего по размерам сборника. Время его составления неизвестно, «Флориды» — творчество типичного представителя «второй софистики». Это примеры филигранно отделанных декламаций о чем угодно, а по существу ни о чем. Мы найдем здесь и сведения о попугае, и не совсем приличный анекдот о философе-кинике Кратете, и рассказ о враче, пробудивший мнимого мертвеца от летаргического сна, и описание чудес далекой Индии. Но главный герой «Флорид» опять-таки сам автор. Слово «я» не сходит со страниц сборника. Автор увлечен звуками своей гладко льющейся речи; многословие «Апологии» переходит здесь в пустословие. Тщеславие, жажда почестей, желание постоянно быть на глазах у публики, слышать ее аплодисменты и крики одобрения — все это делает Апулея типичным сыном своего века, пышного и падкого до сенсаций.

Среди сочинений, дошедших до нас под именем Лукиана, есть небольшая повесть «Лукий, или Осел», сюжет которой в основном, а местами и в деталях, совпадает с «Метаморфозами» Апулея. Мы не можем с уверенностью говорить ни об авторстве Лукиана, ни о времени написания повести. Единственное упоминание о ней встречается у константинопольского патриарха IX века Фотия, который не знал латыни и не читал Апулея. Но всё же его сообщение неизменно привлекает внимание всех исследователей творчества Апулея.

Согласно Фотию, Псевдо-лукианов «Лукий» — сокращение первых двух книг неизвестного нам сочинения некоего Лукия Патрского, носившего название «Метаморфозы». Фотий читал эти «Метаморфозы» и хвалит их за ясность и чистоту языка, но, как христианину, ему не по душе была вера автора в языческие «басни» о превращениях людей в животных. Связи между произведениями Лукия Патрского Псевдо-лукиана и Апулея остаются загадкой, решить которую пыталось не одно поколение филологов, выдвигая гипотезу за гипотезой. Неоспоримо одно: Апулей заимствовал свой сюжет у какого-то греческого писателя, о чем он прямо говорит в 1 главе первой книги своего «Осла».

Сюжет этот прост: молодой человек по имени Луций (в греческом произношении Лукий), подсмотрев, как одна колдунья обратилась в птицу, хочет, с помощью своей возлюбленной, служанки этой колдуньи, сам испытать такое же превращение: но служанка ошиблась снадобьями, и Луций становится не птицей, а ослом. Стоит ему пожевать лепестки розы — и он вновь обретет человеческий образ, однако всевозможные превратности судьбы преграждают Луцию путь к спасительному цветку. Наконец, после многочисленных бедствий и приключений,

заполняющих основную часть повествования, Луций сбрасывает с себя ослиную шкуру, и действие заканчивается.

Для греческого Лукия вся история с превращением в осла — лишь эпизод. Из ослиной шкуры он вышел тем же самым Лукием, каким попал в нее. Совсем по-иному переживает свое приключение апулеевский Луций. Любопытство (или, точнее, любознательность), о котором герой греческого рассказа упоминает лишь вскользь, — основное свойство натуры Луция, страсть, до такой степени гипертрофированная, что подчиняет себе все в душе юноши. Девиз его жизни, проникающий всю книгу, — «Хочу знать если не всё, то как можно больше» (кн. первая, гл. 2) Апулей настойчиво, при каждом удобном случае, напоминает читателю о врожденном любопытстве героя. Злосчастное превращение, принесшее герою столько горя и страданий, вызывает у него бесконечные жалобы на жестокость судьбы. Но, став опять человеком и оглядываясь на свои злоключения, Луций понимает, что напрасно жаловался на судьбу — ведь она выполнила его самое заветное желание. «Я сам вспоминаю свое существование в ослином виде с большой благодарностью, так как под прикрытием этой шкуры, испытал превратности судьбы, я сделался если уж не благоразумным, то но крайней мере многоопытным» (кн. девятая, гл. 13). Именно этот опыт, по замыслу Апулея, и просвещает героя высшим знанием — познанием божества, приводит его в стан почитателей Изиды, «зрячей судьбы», освобождающей своих избранников от власти судьбы слепой и безжалостной. Таким образом, одиннадцатая книга романа, являющаяся, несомненно, самостоятельным творчеством Апулея, логически завершает остальные десять, а характер героя претерпевает на протяжении всего романа сложную эволюцию. Мечта Луция сбылась (правда, не совсем так, как он ожидал), но одновременно в его душе происходит кризис, и он становится другим человеком.

Итак, если повествование Псевдо-лукиана не более, чем новелла, то произведение Апулея — роман, и не только



авантюрно-бытовой, но в какой-то мере и психологический. Зарождение жанра психологического романа закономерно для поздней античности, когда окончательное разложение старой полисной идеологии, сопровождавшееся дальнейшим развитием индивидуализма, интереса к отдельной личности, к обыкновенному человеку и его переживаниями, ставило перед писателями задачу раскрыть человека и его развития, показать становление личности. «Золотой осел» Апулея — одна из попыток решить эту задачу. Конкретные же особенности решения (религиозно-мистическая настроенность героя, его покорность судьбе и преодоление ее по воле всемогущей Изиды и т. п.) обусловлены особенностями господствовавшей в то время идеологии.

Но идеология эта, как мы видели, была противоречива. Читатель «Золотого осла» не может не заметить, что если одиннадцатую книгу писал набожный предтеча неоплатонизма, то первые десять принадлежат многоопытному скептику, великому знатоку и любителю жизни. Два этих человека мирно уживались в душе Апулея, уживаются они и в романе. Поэтому пусть не удивляется читатель, если вскоре после недвусмысленной сцены свидания осла с матроной встретит этого легкомысленного любовника на морском берегу погруженным в молитвенный экстаз. Подобные шероховатости и противоречия сглаживаются, делаются незаметными благодаря единству тона рассказчика — тона иронического скепсиса, столь присущего самому Апулею.

Апулей не верит в то, что люди могут быть добродетельными, неподкупными, справедливыми, а потому равнодушен и к пороку; он живо ощущает фальшь и комичность всевозможных высоких чувств, елейной святости даже в минуты религиозной приподнятости, которые переживает вместе со своим героем, не может удержаться, чтобы каким-нибудь одним замечанием не столкнуть с пьедестала им же самим воздвигнутый кумир.

Эта двойственность мироощущений придает фантастический колорит тем широким полотнам жизни, которые

развертываются перед глазами осла-скитальца. Вся Греция, или, точнее, римская провинция Ахайа, проходит перед ним: большие города, поместья с сотнями рабов, домишки ремесленников, крестьянские хижины, храмы богов, театры, а главное, люди — десятки, сотни самых разнообразных людей. Здесь и рабы, и свободные, разбойники, солдаты, крестьяне, жрецы, чиновники, лекари и шарлатаны, и многие, многие другие. Апулей равнодушен к своим героям; их горе, их радости его не трогают. Они — лишь объект изображения, но изображения виртуозного, мастерского.

Античному роману свойственны некоторые общие приемы в создании образов, равно как и сами образы и ситуации, переходящие из романа в роман. Есть эти традиционные образы и у Апулея (разбойники, похищенная девушка, жених, спасающий свою невесту, и др.), но читатель никогда не спутает героев Апулея с персонажами других романов. Два-три штриха — и схема разбойника, раба, юноши оживает, обретая не только имя, но и свой, особый характер. Сразу же запоминаются и простодушный, покладистый Телефрон, которому ведьмы отрезали нос и уши, и бойкая Фотида, ветренная, но, впрочем, искренне любящая Луция, и «доблестный» разбойник Алцим, легкомысленно поверивший словам хитрой старухи и выброшенный ею из окна, и раб Мирмекс, славившийся необычайной преданностью, которую, однако, удалось расщепить «могучему клину» — десятку золотых монет. Картины природы, описания зрелищ и людской толпы не менее хороши в романе, чем портреты, — и, пожалуй, даже превосходят их какой-то воодушевленностью и внутренней теплотой: у Апулея настоящая страсть к описанию (достаточно вспомнить славы 29–32 десятой книги, где рассказывается о пантомиме «Суд Париса»).

В самую гущу жизни, которая так ярко воссоздана Апулеем, местами вкраплены эпизоды, совсем иные по своему звучанию. Это рассказы о колдунах, ведьмах, драконах, привидениях.

В большинстве случаев чувствуется, что Апулей искренне верит в подобные чудеса и сам побаивается привидения вроде той старухи, что сунула в петлю голову бедного мельника, но и здесь неутомная Апулеева ирония нет-нет да и обнаружится в виде каких-нибудь комических деталей или намеков, действующих отрезвляюще на зачарованное страшным рассказом воображение читателя (зловонный душ, которым ужасные ведьмы, погубившие Сократа, угощают насмерть перепуганного Аристомена).

Ирония и скепсис Апулея широки, как сама жизнь, но они скользят по ее поверхности. Социальные проблемы почти совсем не интересуют его. О рабах он пишет с презрением старозаветного римлянина: они лживы, развратны, коварны, легко идут па преступление. Страшная казнь, которой подверг господин своего провинившегося раба (кн. восьмая, гл. 22). вызывает у автора не возмущение, а только отвращение и желание поскорее покинуть место казни. Между тем еще около ста лет назад философ Сенека призывал видеть в рабах своих младших друзей. Противоречие богатства и бедности среди свободного населения тоже не беспокоит Апулея. Только раз говорит он о жестокости и самодурстве богача, разорившего своего бедного соседа и убившего трех братьев, вставших на защиту бедняка, но и в этом случае пересказывает, но всей видимости, популярную новеллу с известным у многих народов сюжетом.

Все же, независимо от намерений автора, в его романе достаточно ярко отражены социальные отношения той эпохи: бесправие простого люда, произвол богачей и знати, грубость и бесчинства римских легионеров, раболепие перед императорской властью, мучения рабов в мельницах, куда хозяева ссылали их за всякие провинности.

Смех Апулея в «Метаморфозах» снисходителен и даже немного равнодушен. Писатель потешается над обманутыми мужьями, неудачливыми любовниками, хитрыми женами, тем не менее попадающими впросак, над человеческой глупостью и

низостью, над самим собою наконец. Действительно, весь роман пропитан элементами литературной пародии, но что пародирует Апулей, как не выперенную риторику «вторых софистов», их пышные декламации, пристрастие к мифологическим сравнениям и образам (11 глава четвертой книги, где приводится рассказ о гибели Ламаха, речь мнимого разбойника Гема в 9 главе седьмой книги, уподобление драки между братьями-рабами боям Этеокла с Полиником в 14 главе десятой книги), и в то же время, найдется ли в римской литературе II века более характерный представитель «второй софистики», чем Апулей? Однако все это не значит, что Апулей разочарован и жизни, презирает свой век. Жизнь он ценит и любит жадною любовью эгоиста, и время, когда живет он, ритор и философ Апулей, когда живут люди, рукоплещущие ему, воздающие должное его таланту, не может представляться ему плохим. Было бы нелепо говорить о какой-то «трагедии Апулея».

«Золотой осел» примерно в восемь-девять раз больше, чем Псевдо-лукианов «Лукий». Это объясняется значительным количеством новых, по сравнению с «Лукием», эпизодов, внесенных Апулеем в роман. Нет возможности установить, заимствованы ли они из греческого оригинала; можно только предполагать, что те из них, которые непосредственно связаны с основной сюжетной линией, идут от греческого образца «Золотого осла» (например, история гибели злого мальчишки-погонщика). остальные же представляют собою так называемые вставные новеллы и созданы самим Апулеем или заимствованы им от других источников. На эти двенадцать новелл, по-видимому, и намекает Апулей, обещая сплести «на милетский манер разные басни». Милетскими рассказами назывались сборники новелл и анекдотов самого разнообразного содержания, пользовавшиеся во времена империи огромной популярностью. Подобные народные рассказы и включил Апулей в роман (основной сюжетный стержень которого — тоже не что иное, как «милетская басня»), и эти веселые, несколько грубоватые

истории о неверных женах, предания о ведьмах и оборотнях, забавные анекдоты о разбойниках-неудачниках, рассказы о преступлениях со многими натуралистическими — сообразно вкусам эпохи — подробностями придают роману особую свежесть, живость, красочность. Несомненно, вставные новеллы нарушают композиционное единство книги, но все они оказываются так или иначе связанными с главным действием романа и его героем. Иные из них предсказывают герою его участь (рассказ о том, какой ценой расплатился Толефрон за свое любопытство); другие обогащают Луция новыми знаниями, приближая перелом в характере юноши и в его судьбе, а некоторые предвосхищают содержание, и, измененные в деталях, повторяются и основном повествовании. Без вставных новелл роман не был бы тем очаровательным «Золотым ослом», которым столько столетий подряд восхищается поколение за поколением. К тому же, не будь этих новелл, погибла бы знаменитая сказка об Амуре и Психее, «жемчужина романа», по единодушному признанию всех друзей и даже врагов Апулея. Эта древняя сказка, находящая себе столько параллелей к фольклору других народов (вспомним хотя бы «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова), дошла до нас только в виде «старушечьей басни», которой служанка разбойников пыталась развлечь похищенную девушку, хотя, по-видимому, в древности были известны и другие ее обработки. К обычной апулеевской иронии и пародии в повествовании об Амуре и Психее примешиваются мистические черты — результаты нового, символического толкования старой сказки в духе неоплатонизма: прошедшая через страдания душа (по-гречески «псюхе») очищается, достигает высшей, божественной любви и высшего блаженства. Впрочем, детальное символическое толкование этой сказки, убив попутно всю ее поэзию, дали философы последующих веков, как язычники, так и христиане. Апулей же, позаимствовав, вероятно, несколько туманных соображений у какого-то более глубокомысленного своего собрата-платоника, гораздо

больше увлекся поэтичностью фольклорного произведения, к которому в целом он отнесся весьма бережно; сохранив всю его яркую реалистичность и прелесть непосредственности, он только сдобрил его своим юмором и украсил блестящим одеянием своего неповторимого языка.

Мы не знаем, когда был написан Апулеем «Золотой осел» — в юности, до процесса в Сабрате, или после него, в зрелые годы. Немало остроумных аргументов было приведено сторонниками обоих предположений, но лишь один из них кажется наиболее убедительным. Трудно себе представить, чтобы эта исполненная знания жизни и скептической иронии книга, своего рода зеркало нравов той эпохи, могла быть написана молодым человеком. Гораздо более вероятно, что она вышла из-под пера зрелого писателя, вспоминающего свою юность, не бог весть какого мудреца, но тонкого наблюдателя, не способного удержаться от смеха при виде всего смешного и нелепого, даже если смешным оказывается он сам.

В основу своего стиля Апулей положил упоминавшиеся выше принцип «вторых софистов», но его языковая практика выходит далеко за установленные современными ему греческими риторамы границы. С необычайной смелостью, с пылкостью и увлечением настоящего африканца он синтезировал архаизмы своего старшего современника, философа и ритора Фронтонна, с достижениями сторонников нового стиля, поклонников пышного красноречия философа Сенеки, охотно и, по-видимому, много учился у великих писателей прошлого. Он окончательно разрушил стену, отделявшую в античной литературе прозу от поэзии, открыв себе доступ ко всем богатствам поэтического языка. Он знал и любил просторечье, разговорный, повседневный язык народа, потому так богата интонационно, так выразительна и образна его речь. Слив воедино все эти элементы, Апулей создал свой, новый стиль, какого еще не знала римская литература. Явление это вполне закономерно: язык классической прозы I века до н. э. устарел вместе с идеалами и страстями своей эпохи. Интересы нового времени требовали литературного языка более живого, пламенного, порывистого, выразительного, более близкого к народной речи — словом, апулеевского языка. Сами его недостатки — пестрота, налет вульгарности, утомительное многословие, сменившее скупую точность классиков — представлялись современникам достоинствами. Доказательство тому — дальнейшее развитие созданного Апулеем стиля. Даже «отцы церкви» не гнушались учиться у эту «погрязшую к заблуждениям» язычника: страстность и живописность его языка были теми самыми качествами, без которых невозможен успех проповеди.

Среди различных особенностей апулеевского стиля обращает на себя внимание злоупотребление риторическими

приемами. Неистощимым потоком льются искусно и математически правильно построенные параллелизмы, резкие антитезы, вычурные перифразы. Требованиям ритма и благозвучия подчинены выбор слов и их расстановки, что нередко затемняет смысл предложения; аллитерации, ассонансы, созвучия встречаются на каждой странице. Пристрастие Апулея к каламбурам не знает пределов.

Но творец словесных хитросплетений нового стиля умел писать просто и прозрачно: мастерство Анулея-стилиста проявляется и в языковом разнообразии его произведения. В зависимости от содержания меняется стиль и внутри одного произведения. В этом легко убедиться, если сравнить хотя бы новеллу о жене бедняка, спрятавшей любовника в бочку, с первыми главами одиннадцатой книги романа.

Вряд ли Апулей предполагал, защищаясь против обвинений в преступных занятиях магией, что процесс в Сабрате станет для него источником несколько необычной, но чрезвычайно широкой известности, которая поможет его имени и искусству пережить века. «Апологии» не удалось развеять подозрений, будто Апулей — маг и чернокнижник, напротив, опубликование речи сделало эти подозрения достоянием всей провинции. Поэтому художественный вымысел в «Золотом осле» был принят суверенными африканцами за чистую монету: они решили, будто Апулей действительно великий колдун, будто он был коротко знаком с фессалийскими ведьмами и в самом деле побывал в ослиной шкуре. После смерти писателя, как это нередко случается, фантастическая легенда постепенно заслонила истинный облик Апулея, превращая философа-платоника в могущественнейшего чародея и, как это ни странно, в антихриста.

Религиозная борьба в Африке была крайне ожесточенной. Христианские епископы и проповедники, начиная с Тертуллиана (конец II века), два столетия подряд непрерывно жалуются на приверженность африканцев к язычеству. Апулей был самой подходящей фигурой для противопоставления его Христу и



ветхозаветным пророкам. Они творили чудеса? Отлично, но вот вам Апулей, африканец, наш земляк, разве его чудеса уступают чудесам Христа? Из писем и сочинений знаменитого церковного писателя IV–V веков Августина, который тоже был африканцем, видно, что и сами христиане верили легенде о колдуне Апулее. Они только возражали против сопоставления его с Христом, уверяя, что Апулею помогал дьявол, и обращая особое внимание верующих на то, что чудеса Христа были заранее предсказаны пророками, чем Апулей похвастаться никак не может.

Ожесточенная борьба вокруг личности Апулея, несомненно, способствовала повышенному интересу к его творчеству. Об этом свидетельствует, в частности, появление в III–IV веках подложных псевдоапулеевых сочинений. Отцы церкви внимательно изучили произведения своего противника и даже, как мы видели, учились у него. Августин неоднократно с уважением отзывался о писательском таланте Апулея. У Августина же впервые встречается название «Золотой осел», заменившее первоначальное греческое «Метаморфозы» («Превращения»). Новое название указывает на высокую оценку книги читателями, так как эпитет «золотой» прилагался только к самым замечательным и знаменитым произведениям.

С годами популярность Апулея не слабеет: в IV–V веках чеканят медали с его изображением, поэт V века Сидоний Аполлинарий учится и многое заимствует у него, среди восьмидесяти статуй, украшавших в IV веке термы и Константинополе, было всего четыре изображения знаменитых римлян: Цезарь, Помпий, Вергилий и Апулей.

Поощадили «волшебника из Мадавы» и средние века: монахи читали и переписывали его книги, толковали на свой лад повествование о любви Психеи к Амуру, старательно изучали трактат «О Платоне и его учении». Раннее Возрождение по достоинству оценило сочность и полнокровность реалистического таланта Апулея — Бокаччо перенес две вставные новеллы

«Золотого села» в свой «Декамерон». Зато ученые-гуманисты не жаловали Апулея, всячески поносили его «игривый и развратный» стиль и сравнивали его язык с ревом осла. Но прав был один французский исследователь, сравнивая литературу с гостиной, где почтительно приветствуют великих людей — бесспорных классиков, но уголком глаза ищут себе веселого собеседника — такого, как Апулей. Несмотря на презрение к Апулею педантичных любителей классической латыни, его с удовольствием читали, переводили и пересказывали. Особенной любовью читателя пользовалась сказка об Амуре и Психее, которая послужила темой для многих замечательных произведений живописи и скульптуры. Сюжет ее был обработан во Франции Лафонтеном, и в России Богдановичем. И «Душеньку» Богдановича и «Любовь Психеи и Купидона» Лафонтена знал Пушкин, который, по его собственным словам, предпочитал Апулея Цицерону и, вероятно, читал «Золотого осла» в великолепном переводе Ермила Кострома, напечатанном в 1780–1781 годах. В блужданиях Людмилы по волшебным садам Черномора всякий услышит отголосок апулеевского рассказа о золотом доме Амура.

Да, Апулей приятный и остроумный собеседник. Но он не только забавляет читателя, он учит его, открывая перед ним картины чужой, далекой от нас жизни. И мы с любовью и благодарностью вспоминаем автора «Золотого осла», имя которого по достоинству стоит рядом с именами крупнейших писателей мировой литературы.



## О ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ АПУЛЕЯ<sup>5</sup>

**В**опрос о языке Апулея, по-видимому, уже перестал быть спорным. Вероятно, каждый согласится сейчас, что это латинский язык II в. н. э., тот же самый латинский язык, на котором писали Светоний, Фронтон, Авл Геллий, а не особый африканский диалект латинского языка (как доказывали некоторые ученые XIX в.). Признавая существование африканской латыни как особого диалекта народного разговорного языка, современная наука считает, что влияние этого диалекта на язык произведений Апулея крайне незначительно и что характерные особенности, отличающие Апулея и других писателей африканского происхождения, носят в огромном большинстве случаев стилистический характер. Стиль этот (его часто называют *tumor Africus* — «африканская напыщенность») есть одно из частных проявлений так называемой «второй софистики» — литературного движения той эпохи, захватившего и греческую и римскую литературы и стремившегося к созданию нового стиля. Вторая софистика эклектически смешала принципы двух основных греческих стилистических направлений прошлого — азианизма, тяготевшего к пышной, блестящей форме (зачастую лишенной содержания) и всевозможным новшествам, и аттицизма, ориентировавшегося на строгий и скупой, уже ставший в какой-то мере архаическим язык классиков аттической прозы. Впрочем, следует отметить, что ведущая роль в этой смеси принадлежит азианизму: он был основой всего здания второй софистики. На римской почве в конце I и начале II в. н. э. процветали эпигоны

---

<sup>5</sup> Впервые: О языке и стиле Апулея. // Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. Издательство АН СССР 1956. С. 373–376.

и азианизма (традиции Сенеки) и аттикизма (школа Фронтонa). Апулей учился и у тех, и у других, равно как и у великих мастеров прошлого, и с уверенностью, свойственной лишь большому таланту, синтезировал архаистические тенденции Фронтонa со смелыми языковыми новшествами, пользовался богатствами поэтического языка и, не задумываясь, черпал из сокровищницы просторечья. И синтез оказался удачным, какой бы анафеме ни предавали «игривый и развратный» стиль Апулея ученые эпохи Возрождения и даже XIX века (так Эд. Норден<sup>6</sup> не сумел удержаться от жестокой брани и сильных эпитетов). Он оказался удачным потому, что живая жизнь II века н. э. была в нем ключом, что маленькому человеку времен империи стала чуждой возвышенная простота лучших писателей прошлого, а для великих под тиранической властью принцепса места не оставалось. И напротив: виртуозность словесного жонглера, его страстность и порывистость, безумная расточительность в средствах языка, даже причудливая пестрота и вульгарный подчас тон — все это импонировало подданным императора. Увлечение Апулеем современников и потомков, дальнейшее развитие и расцвет африканского стиля доказывают это достаточно убедительно. Вот маленький, взятый вне связи с текстом отрывок: «...*in fabulis audienda posuit, verum etiam in theatris spectanda proposuit, ubi crimina plura essent, quam nomina...*» — «Да, это Апулей», — скажут те, кто читал в оригинале «Метаморфозы» или «Флориды», но они ошибутся: это не Апулей, а его враг и подражатель, крупнейший писатель IV–V вв. Аврелий Августин, епископ Гиппонский (Ер. СXXXVIII, 19).

Не приводя примеров (читатель во множестве найдет их в примечаниях), укажем основные особенности апулеевского стиля.

1. Скопления и нагромождения синонимов и синонимических оборотов, направленные к созданию как можно более

---

<sup>6</sup> Die antike Kunstprosa, Bd. II. Leipzig, 1898, S. 600–605.

яркого и выпуклого описания или вызванные стремлением добиться максимальной красоты звучания. Отсюда многочисленные плеоназмы, нередко затрудняющие понимание.

2. Архаизм как в лексике (обветшалые слова), так и в морфологии (вышедшие из употребления формы). Бывает, что торжественно звучащий архаизм употребляется в самом неподобающем контексте, что создает комический эффект.

3. Греческие заимствования во всех частях языка и в таком значительном количестве, что ученые говорят о греческом колорите (*color Graecanicus*) у Апулея. Однако по большей части эти грецизмы не являются нововведением Апулея, а заимствованы им у поэтов эпохи Августа.

4. Обилие неологизмов.

5. Вульгаризмы (элементы разговорной народной речи), придающие языку особую гибкость и живость. С влиянием разговорной речи связано и характерное для Апулея интонационное богатство фразы.

6. Афористичность речи, любовь к пословицам и поговоркам.

7. Частые злоупотребления средствами и приемами риторики (всем арсеналом их Апулей владел в совершенстве). Мысль его нередко тонет в море блестящих антитез, искуснейших параллелизмов (этот прием пользуется у Апулея особым предпочтением), замысловатых перифразов, патетических градаций и т.п. Здесь же уместно вспомнить о пристрастии Апулея к игре слов в самых разнообразных формах (тут и омонимы, и разные значения одного слова, и одно слово в разных формах, и однокоренные слова, и слова, сходно звучащие, и т. д.), к аллитерациям, ассонансам, рифмам (или, точнее, созвучиям). Все это, вместе взятое, равно как и тончайшая шлифовка каждой мелочи, зачастую стирает грань между прозой и стихом, тем более что и ритмизованная проза — не редкость для Апулея.

8. Своеобразный синтаксис, анализ которого является важнейшей составной частью характеристики апулеевского стиля.

Огромный талант и языковое мастерство Апулея проявляются и в стилистическом разнообразии, отличающем его творчество. Еще гуманисты заметили, что в каждом сочинении он пишет иным стилем. И действительно, какой резкий контраст между искусственностью и жеманностью «Метаморфоз» и прозрачною простотою трактата «О вселенной» (*De mundo*), к которому очень близка в стилистическом отношении и «Апология»! Да и внутри одного произведения стиль то и дело меняется. Разве одинаково говорят разбойники и жрец Митра, разве одни и те же интонации звучат в новелле о легкомысленной жене бедняка и в рассказе о страданиях покинутой Психеи? Вот почему «Метаморфозы», несмотря на всю свою искусственность, во многих языковых деталях живет, реалистичнее и ближе к разговорной речи, чем «Апология», примыкающая в какой-то мере к традициям цicerоновской прозы.

Задачей переводчиков было, не впадая в грех буквализма, и не нарушая законов русского языка, отразить эти стилистические особенности оригинала со всею возможной точностью. И если читатель будет иметь это в виду, его, вероятно, не удивит приподнятый и несколько необычный язык перевода «Метаморфоз».

*Дорогой и любимой памяти отца —  
Переца Маркиша — посвящаю свою работу*

## К ЧИТАТЕЛЮ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА<sup>7</sup>

Благосклонный читатель!

**Э**то старомодное обращение, которым мне хочется начать короткое послесловие к Плутарху, — не кокетство и не эстетский изыск: в двух его словах заключена самая суть моего послесловия. Дело в том, что именно тебе, читатель, адресовано новое издание сравнительных биографий, тебе, а не маститым (и еще не совсем маститым) ученым мужам и дамам и даже не любознательным студентам и аспирантам, постигающим тайны исторической и филологической премудрости, ибо они с успехом «проработают» Плутарха по-гречески или, на худой конец, в одном из многочисленных переводов на новые языки, а не то и в одном из прежних русских переводов. Нет, не о них думал переводчик, когда прилежно гнул спину над заваленным книгами столом, а о читателе, который обращается к литературе прошлого не в поисках материала для статьи, или монографии, или же семинарского доклада, но потому, что ищет эстетического наслаждения, ищет мудрого и доброго ответа на вопросы, его тревожащие, ищет острого взгляда и верной руки художника, одним словом — всего того, что дает настоящая литература вне зависимости от своего возраста. Но для такой

---

<sup>7</sup> Впервые: *Плутарх: Сравнительные жизнеописания*, в трех томах. / Подготовка издания, примечания, переводы С. Маркиша. М., Издательство Академии Наук СССР Т. 1–3.: 1961–1964. Т.3. 595–597.



непосредственной встречи читателя с писателем-чужеземцем необходим посредник, во-первых, современный и живой, а во-вторых, заинтересованный в том, чтобы глаза его современника увидели не только резкие и однозначные контуры смысла, но и зыбкий размыв настроения, полихромность интонации, глубину и перспективу чувства. А между тем переводы (за немногими счастливыми исключениями) быстро стареют, более того — мертвеют, и никак не ошибки последнего полного перевода «Сравнительных жизнеописаний», выполненного более 60 лет назад, а именно его омертвление продиктовало необходимость новой работы над Плутархом.

Выше я упомянул о заинтересованности переводчика. Скажем определеннее и резче: переводчику невозможно быть бесстрастным и беспристрастным. Это не значит, что он непременно стремится улучшить свой оригинал или, напротив, старается его ухудшить. Его заинтересованность обнаруживается в том образе переводимого автора, который он для себя создает (точнее — рассказчика, повествователя, создателя литературного произведения, а не реально существовавшего или существующего Плутарха, Томаса Манна или Бёлла), и который во многом определяет фактуру и окраску словесной ткани перевода, сообщает ей необходимое единство, цельность и, вместе с тем, определенность. Для нас, людей XX века, Плутарховы жизнеописания — целая энциклопедия; в своей совокупности они дают огромный запас сведений о древнем мире и богатейшую пищу для размышлений. Переводчик, заново представляющий Плутарха читателю, выступает в роли просветителя. Он сознает важность и ответственность этой роли и гордится ею. Гордится он и своим автором, хотя видит и несамостоятельность его мысли, и неспособность его к критике чужих мнений, и неряшливость слога, и даже болтливость — не только видит сам, но не желает прятать и скрывать от русского читателя. Однако переводчику необыкновенно дорога доброта Плутарха, его отвращение к жестокости, к зверству, к коварству

и несправедливости, его человечность и человеколюбие, его обостренное чувство долга и собственного достоинства, которое он не устает внушать своим читателям, его легкий скепсис трезвого реалиста, понимающего, что совершенства ждать от природы, в том числе и от человеческой природы, нечего и что приходится принимать окружающий мир с этой необходимой поправкой. Я вижу Плутарха добрым, умным (хотя и не мудрым), многоопытным и благожелательным — главное благожелательным! — дедушкой, который охотно, пожалуй, даже слишком охотно, раскрывает перед детьми и внуками неисчерпаемые кладовые своей памяти и эрудиции. Рассказ, сплетение словес доставляет ему самому немалое удовольствие, он часто и с охотой уклоняется от темы, вспоминая лишь косвенно относящиеся к делу обстоятельства, часто грешит монотонностью и многословием, но в целом занятен и глубоко симпатичен. Вот такого-то дедушку-рассказчика я и надеялся познакомить с тобою, благосклонный читатель. В какой мере мои надежды сбылись — судить не мне, а тебе. Впрочем, я твердо уповаю на твою благосклонность, или, говоря современнее, на твою читательскую заинтересованность: без нее ты едва ли осилил бы этот объемистый том — а не то и все три тома — и добрался до послесловия.



## ПУТЬ К ГОМЕРУ<sup>8</sup>

**В**о втором акте шекспировского «Гамлета» появляется бродячая труппа, и один из актеров, по просьбе принца, читает монолог, в котором троянский герой Эней рассказывает о взятии Трои и о жестокостях победителей. Когда рассказ доходит до страданий старой царицы Гекубы — у нее на глазах осатаневший от злобы Пирр, сын Ахиллеса, убил ее супруга Приама и надругался над его телом, — актер бледнеет и заливается слезами. И Гамлет произносит знаменитые, вошедшие в пословицу слова:

*Что он Гекубе? Что ему Гекуба?  
А он рыдает...<sup>9</sup>*

Что современному человеку Гекуба, что ему Ахиллес, Приам, Гектор и прочие герои Гомера; что ему их муки, радости, любовь и ненависть, приключения и битвы, отгремевшие и отгоревшие больше тридцати столетий назад? Что уводит его в древность, почему Троянская война и возвращение на родину многострадального и хитроумного Одиссея трогают нас если и не до слез, как шекспировского актера, то все же достаточно живо и сильно?

Всякое литературное произведение далекого прошлого способно привлечь и увлечь человека нового времени

---

<sup>8</sup> Впервые: Путь к Гомеру. Вступление. // Гомер. Илиада. Одиссея. Перевод Н. Гнедича. Примечания В. Ошерова. М., Художественная литература, 1967. С. 5–20. (*Примечание Ж. Х.*)

<sup>9</sup> Перевод Б. Пастернака.

изображением исчезнувшей жизни, во многом поразительно не схожей с нашей жизнью сегодня. Исторический интерес, свойственный любому человеку, естественное желание узнать, «что было раньше», — начало нашего пути к Гомеру, точнее — одного из путей. Мы спрашиваем: кто он был, этот Гомер? И когда жил? И «сочинил» ли своих героев или в их образах и подвигах отражены подлинные события? И насколько верно (или насколько вольно) они отражены и к какому времени относятся? Мы задаем вопрос за вопросом и ищем ответа в статьях и книгах о Гомере; а к нашим услугам — не сотни и не тысячи, а десятки тысяч книг и статей, целая библиотека, целая литература, которая продолжает расти и сейчас. Ученые не только обнаруживают все новые факты, имеющие отношение к гомеровским поэмам, но и открывают новые точки зрения на поэзию Гомера в целом, новые способы ее оценки. Была пора, когда каждое слово «Илиады» и «Одиссеи» считали непререкаемую истиной — древние греки (во всяком случае, громадное их большинство) видели в Гомере не только великого поэта, но и философа, педагога, естествоиспытателя, одним словом — верховного судью на все случаи жизни. Была и другая пора, когда всё в «Илиаде» и «Одиссее» считали вымыслом, красивой сказкой, или грубоватой басней, или безнравственным анекдотом, оскорбляющим «хороший вкус». Потом пришла пора, когда Гомеровы «басни» одна за другою стали подкрепляться находками археологов: в 1870 году немец Генрих Шлиман нашел Трои, у стен которой сражались и умирали герои «Илиады»; спустя четыре года тот же Шлиман раскопал «обильные золотом» Микены — город Агамемнона, вождя греческого воинства под Троей; в 1900 году англичанин Артур Эванс начал уникальные по богатству находок раскопки на Крите — «стоградном» острове, неоднократно упоминаемом Гомером; в 1939 году американец Блуджен и грек Курониотис разыскали древний Пилос — столицу Нестора, «сладкогласного витии пилосского», неутомимого подателя мудрых советов в обеих поэмах...

Список «гомеровских открытий» чрезвычайно обширен и до сего дня не закрыт — и едва ли закроется в близком будущем. И все же необходимо назвать еще одно из них — самое важное и самое сенсационное в нашем веке. В ходе раскопок на острове Крите, а также в Микенах, в Пилосе и в некоторых других местах южной части Балканского полуострова археологи нашли несколько тысяч глиняных табличек, исписанных неведомыми письменами. Чтобы их прочитать, потребовалось почти полвека, потому что не был известен даже язык этих надписей. Лишь в 1953 году тридцатилетний англичанин Майкл Вентрис решил задачу дешифровки так называемого линейного письма «Б». Этот человек, погибший в автомобильной катастрофе три с половиной года спустя, не был ни историком античности, ни специалистом по древним языкам — он был архитектор. И тем не менее, как писал о Вентрисе замечательный советский ученый С. Лурье, «ему удалось сделать самое крупное и самое поразительное открытие в науке об античности со времен эпохи Возрождения». Его имя должно стоять рядом с именами Шлимана и Шампольона, разгадавшего тайну египетских иероглифов. Его открытие дало в руки исследователей подлинные греческие документы того же примерно времени, что события «Илиады» и «Одиссеи», документы, расширившие, уточнившие, а кое в чем и перевернувшие прежние представления о прообразе того общества и государства, которые изображены у Гомера.

В начале II тысячелетия до н. э. на Балканском полуострове появились племена греков-ахейцев. К середине этого тысячелетия в южной части полуострова сложились рабовладельческие государства. Каждое из них было небольшою крепостью с примыкавшими к ней землями. Во главе каждого стояли, по видимому, два властителя. Властители-цари со своими приближенными жили в крепости, за могучими, циклопической кладки стенами, а у подножья стены возникал поселок, населенный царскими слугами, ремесленниками, купцами.

Сперва города боролись друг с другом за главенство, потом, около XV столетия до н. э., начинается проникновение ахейцев в соседние страны, за море. В числе прочих их завоеваний был и остров Крит — главный центр древнейшей, догреческой культуры юго-восточного района Средиземноморья. Задолго до начала ахейского завоевания на Крите существовали государства с монархической властью и общество, четко разделявшееся на классы свободных и рабов. Критяне были умелыми мореходами и купцами, отличными строителями, гончарами, ювелирами, художниками, знали толк в искусстве, владели письменностью. Ахейцы и прежде испытывали сильное воздействие высокой и утонченной критской культуры; теперь, после покорения Крита, она окончательно стала общим достоянием греков и критян. Ученые называют ее крито-микенской.

Землю, постоянно привлекавшей внимание ахейцев, была Трояда на северо-западе Малой Азии, славившаяся выгодным местоположением и плодородною почвой. К главному городу этой земли — Илиону, или Трое, — не раз снаряжались походы. Один из них, особенно продолжительный, собравший особенно много кораблей и воинов, остался в памяти греков под именем Троянской войны. Древние относили ее к 1200 году до н. э. — в пересчете на нашу хронологию, — и работы археологов, копавших Гиссарлыкский холм вслед за Шлиманом, подтверждают древнюю традицию.

Троянская война оказалась кануном крушения ахейской мощи. Вскоре на Балканах появились новые греческие племена — дорийцы, — такие же дикие, какими тысячу лет назад были их предшественники, ахейцы. Они прошли через весь полуостров, вытесняя и подчиняя ахейцев, и до основания разрушили их общество и культуру. История обратилась вспять: на месте рабовладельческого государства вновь появилась родовая община, морская торговля заглохла, зарастали травой уцелевшие от разрушения царские дворцы, забывались искусства, ремесла, письменность. Забывалось и прошлое; цепь событий

разрывалась, и отдельные звенья обращались в предания — в мифы, как говорили греки. Мифы о героях были для древних такую же непререкаемую истиной, как мифы о богах, и сами герои становились предметом поклонения. Героические предания переплетались друг с другом и с мифами о богах. Возникали круги (циклы) мифов, соединявшихся как последовательностью фактов, лежавших в их основе, так и законами религиозного мышления и поэтической фантазии. Мифы были почвой, на которой вырос греческий героический эпос.

Героический эпос есть у каждого народа. Это повествование о славном минувшем, о событиях первостепенной важности, которые были поворотным пунктом в истории народа. Таким событием (или, по крайней мере, одним из таких событий) оказался великий поход на Трои; сказания о нем сделались важнейшей сюжетной основой греческого эпоса. Но от времени, когда создавался эпос, эти события были отделены тремя, а то и четырьмя веками, и потому к картинам ушедшей жизни, запомнившимся с необыкновенной точностью, присоединялись детали и подробности, заимствованные из жизни, которая окружала неведомых нам творцов эпоса. В самой основе мифа многое оставалось нетронутым, но многое и перетолковывалось на новый лад, в согласии с новыми идеалами и взглядами. Многослойность (а стало быть, и неизбежная противоречивость) изначально была характерной чертой греческого эпоса, а так как он находился в непрестанном движении, число слоев все увеличивалось. Подвижность эта неотделима от самой формы его существования: как и у всех народов, героический эпос у греков был устным творчеством, и письменное его закрепление знаменовало последний этап в истории жанра.

Исполнителями эпических произведений и вместе с тем их со-творцами, соавторами были певцы (по-гречески «азды»). Они знали наизусть десятки тысяч стихотворных строк, перешедших к ним по наследству и бог весть кем и когда сочиненных, они владели набором традиционных средств и приемов,



тоже переходивших от одного поколения поэтов к следующему (сюда относятся и разнообразные формулы-повторы для описания сходных или в точности повторяющихся ситуаций, и постоянные эпитеты, и особый стихотворный размер, и особый язык эпоса, и даже самый круг сюжетов, довольно широкий, но все же ограниченный). Обилие устойчивых, неизменных элементов было необходимым условием для самостоятельного творчества: вольно их комбинируя, переплетая с собственными стихами и полустихьями, аэд всегда импровизировал, всегда творил наново.

Большинство современных ученых считает, что Гомер жил в VIII веке до н. э. в Ионии — на западном побережье Малой Азии или на одном из близлежащих островов. К тому времени аэды успели исчезнуть, и место их заняли декламаторы-рапсоды; они уже не пели, аккомпанируя себе на кифаре, а читали нараспев, и не только собственные произведения, но и чужие. Гомер был одним из них. Но Гомер не только наследник, он и новатор, не только итог, но и начало: в его поэмах лежат истоки духовной жизни всей античности в целом. Византиец Михаил Хониат (XII–XIII вв.) писал: «Подобно тому, как, по словам Гомера, все реки и потоки берут начало из Океана, так всякое словесное искусство исток имеет в Гомере».

Есть предположение, что «Илиада» и «Одиссея» действительно заключают многовековую традицию импровизационного творчества — что они были первыми образцами письменно закрепленного «большого эпоса», с самого начала были литературой в прямом смысле слова. Это не значит, разумеется, что известный нам текст поэм ничем не отличается от исходного, каким он был записан или «выговорен» в конце VIII или начале VII века до н. э. В нем немало позднейших вставок (интерполяций), в иных случаях весьма пространных, до целой песни; немало, вероятно, и сокращений-кушор, и стилистических поправок, которые следовало бы назвать искажениями. Но в таком «искаженном» виде он насчитывает почти две с половиной

тысячи лет, в таком виде был известен древним и принят ими, и пытаться возвращать его к первоначальному состоянию не только невозможно по существу, но и бессмысленно с историко-культурной точки зрения.

«Илиада» повествует об одном эпизоде последнего, десятого, года Троянской войны — гнев Ахиллеса, самого могучего и храброго среди греческих героев, оскорбленного верховным предводителем ахейцев, микенским царем Агамемноном. Ахиллес отказывается участвовать в сражениях, троянцы начинают брать верх, гонят ахейцев до самого лагеря и едва не поджигают их корабли. Тогда Ахиллес разрешает вступить в битву своему любимому другу Патроклу. Патрокл погибает, и Ахиллес, отрекшись наконец от гнева, мстит за смерть друга, сразив Гектора, главного героя и защитника троянцев, сына их царя Приама. Все главное в сюжете поэмы — от мифов, от Троянского цикла. С тем же циклом связана и «Одиссея», рассказывающая о возвращении на родину после падения Трои другого греческого героя — царя острова Итаки Одиссея. Но здесь главное — не миф: оба основных сюжетных компонента «Одиссеи» — возвращение супруга к супруге после долгого отсутствия и удивительные приключения в дальних, заморских краях — восходят к сказке и народной новелле. Различие между обеими поэмами этим не ограничивается, оно заметно и в композиции, и в деталях повествования, и в деталях мироощущения. Уже сами древние не были уверены, принадлежат ли обе поэмы одному автору, немало сторонников такого взгляда и в новые времена. И все же более вероятным — хотя, строго говоря, точно таким же доказуемым — представляется обратное мнение: сходного между «Илиадой» и «Одиссеей» все же больше, чем отличного.

Несходство и прямые противоречия обнаруживаются не только между поэмами, но и внутри каждой из них. Они объясняются в первую очередь упомянутой выше многослойностью греческого эпоса: ведь в мире, который рисует Гомер,

совмещены и соседствуют черты и приметы нескольких эпох — микенской, предгомеровской (дорийской), гомеровской в собственном смысле слова. И вот рядом с дорийским обрядом сожжения трупов — микенское захоронение в земле, рядом с микенским бронзовым оружием — дорийское железо, неведомое ахейцам, рядом с микенскими самодержцами — безвластные дорийские цари, цари лишь по имени, а, по сути родовые старейшины... В прошлом веке эти противоречия привели науку к тому, что под сомнение было поставлено само существование Гомера. Высказывалась мысль, что гомеровские поэмы возникли спонтанно, то есть сами собой, что это результат коллективного творчества — вроде народной песни. Критики менее решительные признавали, что Гомер все-таки существовал, но отводили ему сравнительно скромную роль редактора, или, точнее, компилятора, который умело свел воедино небольшие по размеру поэмы, принадлежавшие разным авторам, или, может быть, народные. Третьи, напротив, признавали за Гомером авторские права на большую часть текста, но художественную цельность и совершенство «Илиады», и «Одиссеи» относили на счет какого-то редактора более поздней эпохи.

Ученые неумолимо вскрывали все новые противоречия (нередко они бывали плодом ученого воображения или ученой придиристичности) и готовы были платить любую цену, лишь бы от них избавиться. Цена, однако же, оказалась слишком высока: выдумкою, фикцией обернулся не только Гомер, но и достоинства «мнимых» его творений, разодранных на клочки беспощадными перьями аналитиков (так называют ниспровергателей «единого Гомера»). Это было явной нелепостью, и в течение последних пятидесяти лет верх взяла противоположная точка зрения — унитарная. Для унитариев неоспоримо художественное единство гомеровского наследия, ощущаемое непосредственно любым непредвзятым читателем. Их цель — подкрепить это ощущение с помощью особого «анализа изнутри», анализа тех правил и законов, которые, сколько

можно судить, ставил себе сам поэт, тех приемов, из которых складывается поэзия Гомера, того мироощущения, которое лежит в ее основе. Итак, взглянем на Гомера глазами непредвзятого читателя.

Прежде всего нас озадачит и привлечет сходство, близость древнего к современному. Гомер сразу же захватывает и сразу из предмета изучения становится частью нашего «я», как становится всякий любимый поэт, мертвый или живой — безразлично, потому что основным для нас будет эмоциональный отзыв, эстетическое переживание.

Читая Гомера, убеждаешься, что многое в его взгляде на мир — не только вечная и непреходящая истина, но и прямой вызов всем последующим векам. Важнейшее, что отличает этот взгляд, — его широта, желание понять разные точки зрения, терпимость, как сказали бы сегодня. Автор героического эпоса греков не питает ненависти к троянцам, бесспорным виновникам несправедливой войны (ведь это их царевич Парис нанес обиду людям и оскорбил божеский закон, похитив Елену, супругу своего гостеприимца, спартанского царя Менелая); скажем более — он уважает их, он им сочувствует, потому что и у них нет иного выбора, как сражаться, защищая свой город, жен, детей и собственную жизнь, и потому, что они сражаются мужественно, хотя ахейцы и сильнее и многочисленнее. Они обречены; правда, сами они еще не знают этого, но Гомер-то знает исход войны и, великодушный победитель, сострадает будущим побежденным. И если, по словам самого поэта, «святая Троя» ненавистна богам «за вину Приаида Париса», то Гомер выше и благороднее богов-олимпийцев.

Широта взгляда вдохновляется добротой, человечностью. Едва ли случайно, что европейскую литературу открывает призыв к доброте и осуждение жестокости. Справедливость, которую обязаны блюсти люди и охранять боги, — во взаимной любви, кротости, приветливости, благодушии; беззаконие — в свирепстве, в бессердечии. Даже Ахиллесу, образцовому своему

герою, не прощает Гомер «львиного свирепства», и поныне это не прописное проклятие прописному пороку, а живой опыт, за который люди на протяжении своей истории платили так много и всякий раз сызнова. Человечность Гомера столь велика, что одерживает верх даже над неотъемлемыми признаками жанра: обычно героический эпос — это песнь войне, как испытанию, обнаруживающему лучшие силы души, и Гомер в самом деле прославляет войну, но он уже и проклинает ее бедствия, ее безобразие, бесстыдное надругательство над человеческим достоинством. Первое, видимо, идет от примитивной морали варваров-дорийцев, второе — от новой морали законности и мира. Ей предстояло подчинить себе вселенную, и по сию пору нельзя еще сказать, чтобы эта задача была решена. Вот где Гомер встречается с Шекспиром, а мы — с тем и другим, вот что нам Гекуба! Мы отлично понимаем ужас старого Приама, заранее оплакивающего свою уродливую и бесславную гибель:

*О, юноше славно.*

*Как ни лежит он, упавший в бою и растерзанный медью, —*

*Все у него и у мертвого, что ни открыто, прекрасно!*

*Если ж седую брану и седую главу человека,*

*Ежели стыд у старца убитого псы оскверняют, —*

*Участи более горестной нет человекам несчастным!*

И нисколько не меньше, не хуже понятен нам яростный шекспировский протест против судьбы, позволившей этому совершиться:

*Стыдись, Фортуна! Дайте ей отставку,*

*О боги, отымите колесо.*

*Разбейте обод, выломайте спицы*

*И ось его скатите с облаков*

*В кромешный ад!*

(Перевод Б. Пастернака)

Унижение человека несправедливостью, насилием — это позор и мука для каждого из людей; свой наглый вызов злодейство бросает всему миропорядку, и, стало быть, каждому из нас, и, стало быть, каждый в ответе за злодейство. Гомер это предчувствовал, Шекспир ясно понимал.

Но терпимость нигде ни разу не оборачивается терпимостью к злу, робостью перед ним, попыткой его оправдать. Твердость этической позиции, серьезная и строгая однозначность в отношении к жизни, столь характерная для Гомера (и для античной традиции в целом), обладает в наших глазах особою притягательною силой. «Незыблемость скалы ценностей», от Гомера до наших дней — неискоренимость добра и честности перед лицом злобы и предательства, вечность тяги к прекрасному вопреки соблазнам безобразного, «вечность» максим и заповедей, которые иным простакам кажутся родившимися только вчера или даже сегодня, — несет в себе радость и ободрение. И не нужно подозревать, будто такая однозначность оценок — следствие примитивного, первобытного самодовольства, которому непонятно, что такое сомнение; нет, под нею скрыта органическая уверенность в себе здорового интеллекта, здорового чувства, уверенность в своем праве (и в своей обязанности!) решать и судить.

Для здорового чувства и здорового интеллекта жизнь — великий дар и самое драгоценное достояние, несмотря на все ее бедствия, муки и тяжкие превратности несмотря на то, что Зевс изрекает с высоты небес:

*...Из тварей, которые дышат и ползают в прахе,  
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека!*

Но бессмертному не понять смертных, и поэт не только благороднее, но и мудрее своих богов. Он приемлет действительность спокойно и здраво, он улавливает в ней ритм чередующихся радостей и горестей и видит в таком чередовании

непреложный закон бытия, и решительно говорит бытию «да», а небытию — «нет».

Решительно, но безоговорочно, потому что и в лицо смерти смотрит с таким же бесстрашием и спокойствием, как в лицо жизни. Неизбежность смерти не может и не должна отравить радость земного существования, а ее угроза — толкнуть на бесчестие. Одно из лучших и самых знаменитых мест в «Илиаде» — слова троянского героя Сарпедона, обращенные к другу перед битвою:

*Друг благородный! когда бы теперь, отказавшись от  
брани,  
Были с тобой навсегда нестареючи мы и бессмертны,  
Я бы и сам не летел впереди перед воинством биться,  
Я и тебя бы не влек на опасности славного боя.  
Но и теперь, как всегда, неисчетные случаи смерти  
Нас окружают, и смертному их не минушь, не избегнуть.  
Вместе вперед! иль на славу кому, иль за славою сами!*

Мироощущение Гомера — это высшее спокойствие и просветленность духа, который изведаль и неистовый восторг, и неистовое отчаяние и поднялся выше обоих — над наивностью оптимизма и озлобленностью пессимизма.

Слова Сарпедона, призывающие друга в бой, читателя призывают задуматься, насколько свободен человек у Гомера — обладает ли он свободой выбора, свободой воли или скован «вышними силами» по рукам и ногам. Вопрос на редкость сложный, и ответы разноречивы, ибо разноречивы представления о богах и Судьбе, совместившиеся в греческом эпосе. Довольно часто люди действительно жалуются, что они не более чем игрушки в руках богов, и во всех своих бедах и ошибках винят злокозненных небожителей, но если это так, почему боги негодуют на неправду, чинимую людьми? Тогда это их, божеская, неправда, и гомеровская мораль лишается

основания. Как ни толкуй эти жалобы (а их можно объяснять и психологически, например, попыткой оправдаться, переложить собственную вину на чужие плечи), сгладить противоречие очень трудно. Да это и ни к чему. Тем более что мы встретим достаточно мест, где человек принимает решение сознательно, здраво взвешивая все «за» и «против», без всякой помощи (или коварной подсказки) свыше, и потому обязан нести ответственность за свой поступок. Подобные человеку во всем, боги Гомера и тут выступают в чисто человеческих ролях: они подают советы — совершенно так же, как мудрый старец Нестор, они участвуют в схватках — совершенно как смертные герои, иногда даже с меньшею удачей, чем смертные, не брезгают вмешательством и в мелочи земной жизни. Они способны помочь человеку или навредить ему, но решить его участь они не могут — ни один из них, даже Зевс.

Участь человека предопределена Судьбою, высшей в мире силою, которой подчиняются и сами боги. Они слуги Судьбы, исполнители ее решений; приблизить или отдалить назначенное Судьбою — вот все, на что они способны. Главное их преимущество перед людьми — знание, мудрость, предвидение будущего (так же как главная причина людской несправедности, греха — это невежество, духовная слепота, глупость), и они охотно пользуются этим преимуществом, чтобы заранее известить смертного, что «предначертано ему роком». А это очень важно, поскольку в рамках предначертанного, в рамках необходимости почти всегда остается место свободе. Судьба предлагает дилемму: поступишь так-то — уцелеешь, поступишь по-иному — умрешь (что и значит «судьбе вопреки низойти в обитель Аида»). Выбор есть акт свободной воли, но, коль скоро он сделан, в его последствиях ничего нельзя изменить. Гермес внушал Эгисту, чтобы тот не покушался на жизнь Агамемнона, когда царь возвратится из похода на Троию, и не вступал в брак с его супругой. Эгист остался глух к наставлению бога и, как предупреждал его Гермес, понес наказание от руки сына убитого.



Читая Гомера, убеждаешься, что бывают случаи, когда банальные, захватанные штампы, давно потерявшие смысл и выразительность, вдруг оживают. Он в самом деле «гений поэзии» и в самом деле «художник слова». Он рисует и лепит словом, созданное им зримо и осязаемо. Он обладает неповторимой даже среди собратьев по гениальности остротой глаза, и потому мир его видения — самые обыденные предметы в этом мире — резче, отчетливее, содержательнее, нежели то, что открывается любому иному взору. Это качество хотелось бы, вслед за Марксом, назвать детскостью, потому что лишь в ранние годы, лишь ребенку доступна такая зоркость. Но детскость Гомера — это еще и яркое солнце, которым пронизаны поэмы, и восхищение жизнью, во всяком ее облики (отсюда общая приподнятость тона, эпическая величавость), и неиссякаемое любопытство к деталям (отсюда бесчисленные, но никогда не утомляющие подробности). Детскость проявляется, наконец, и в том, как относится художник к своему материалу.

Писатель нового времени, как правило, борется с материалом, он *организует* слово и стоящую за ним действительность — это именно процесс организации, претворение хаоса в космос, беспорядка в порядок. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем заметнее борьба, тем меньше старается художник скрыть ее от чужих глаз, а нередко и демонстративно выставляет сопротивление материала на всеобщий обзор. Античный писатель не знал этого сопротивления, у Гомера субъект еще не противопоставлен объекту (обществу или даже природе): так ребенок долго не осознает противоположности «я» и «не-я». Органическое ощущение единства слабело с веками, но вплоть до самого конца античной традиции не исчезало окончательно, и это придает всякой античной книге, и прежде всего гомеровским поэмам, особую цельность, которую ни с чем не спутаешь, и которая влечет нас и радует — по контрасту. То же ощущение, пожалуй, запечатлено в современной Гомеру пластике и вазописи, обычно именуемых архаическими. Глядя на «курсов»

(изваяния юношей в полный рост), на их сдержанную, скованную мощь и блаженную улыбку, разглядывая вазы и глиняные статуэтки, каждая из которых вправе называться шедевром, думаешь о том, с какою свободой и беззаботностью, с каким мудрым забвением повседневных тягот и тревог, с каким детским доверием к будущему и уверенностью в нем воспринимал мир древний художник. Потому-то и улыбаются губы, потому так широко открыты глаза — с любопытством ко всему на свете, с достоинством и спокойствием, которые чудесным образом сочетаются с экспрессией, смелою выразительностью движений в вереницах людей и животных.

То же и у Гомера. «Статические» зарисовки чередуются с «динамическими», и трудно сказать, какие удаются поэту лучше. Сравним:

*В мантию был шерстяную, пурпурного цвета, двойную  
Он облачен; золотую прекрасной с двойными крючками  
Бляхой держалась мантия; мастер на бляхе искусно  
Грозного пса и в могучих когтях у него молодую  
Лань изваял...*

*...в изумленье та бляха*

*Всех приводила. Хитон, я заметил, носил он из чудной  
Ткани, как пленка, с головки сушеного снятая лука,  
Тонкой и светлой, как яркое солнце; все женщины, видя  
Эту чудесную ткань, удивлялись ей несказанно.*

И:

*Вышел таков Теламонид огромный, твердыня Данаев,  
Грозным лицом осклабясь, и звучными сильной стопами  
Шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля.*

Чему отдать предпочтение, пусть каждый решит для себя сам, но в любом случае запомним, что упрекать гомеровский

эпос в примитивной застылости, в неспособности изобразить движение — несправедливо и нелепо.

Зримость, наглядность, как основное качество поэзии Гомера, позволяет объяснить многое в «Илиаде» и «Одиссее». Становится понятным последовательное олицетворение всего отвлеченного (Обида, Вражда, Молитвы): то, чего нельзя охватить взором, для Гомера просто не существует. Понятна полная конкретность — но просто человекоподобие, но именно конкретность, вещность — образов небожителей. Конкретность неизбежно снижает образ, и только здесь, в обостренном чувстве реальности, а никак не в первобытном вольнодумстве, надо искать причину того, что нашему восприятию кажется насмешкою над богами: боги Гомера вспылчивы, тщеславны, злопамятны, высокомерны, простоваты, не чужды им и физические изъяны. Гомеровская мифология — первая, которая нам известна у греков; что в ней от общепринятых религиозных верований, что добавлено вымыслом поэта, никто не знает, и можно с большою вероятностью предполагать, что более поздние, классические представления об Олимпе и его обитателях во многом прямо заимствованы из «Илиады» и «Одиссеи» и происхождением своим обязаны художественному дару автора поэм.

Конкретность и вообще несколько снижает приподнятость тона, эпическую величавость. Одним из средств, создающих эту приподнятость, был особый язык эпоса — изначально неразговорный, сложенный из элементов различных греческих диалектов. Во все времена он звучал для самих греков отстраненно и высоко, и уже в классическую эпоху (V в. до н. э.) казался архаичным. Русский перевод «Илиады», выполненный Н. И. Гнедичем около полутора столетий назад, как нельзя вернее воспроизводит отчужденность эпического языка, его приподнятость надо всем обыденным, его древность.

Читая Гомера, убеждаешься: не только внешность мира, его лик, — когда улыбчивый, когда хмурый, когда грозный, — умел он изображать, но и человеческая душа, все ее движения, от

простейших до самых сложных, были ведомы поэту. Есть в поэмах настоящие психологические открытия, которые и теперь при первой встрече — первом чтении — поражают и запоминаются на всю жизнь. Вот дряхлый Приам, тайком явившись к Ахиллесу в надежде получить для погребения тело убитого сына,

*никем не примеченный, входит в покой и, Пелиду  
В ноги упав, объмает колена и руки целует, —  
Страшные руки, детей у него погубившие многих!*

Цену этим строкам знал, бесспорно, и сам поэт: недаром чуть ниже он повторяет их, вложив в уста самого Приама и дополнив прямым «психологическим комментарием»:

*Храбрый! почти ты богов! над моим злополучием сжался,  
Вспомнив Пелея отца: несравненно я жальче Пелея!  
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:  
Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю!*

Или еще пример — другое открытие: горе и сплачивает, и в то же время разъединяет людей. Дружно рыдают рабыни, оплакивая убитого Патрокла, но в душе каждая сокрушается о собственном горе, и так же плачут, сидя рядом, враги — Ахиллес и Приам:

*За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо.  
Оба они вспоминая: Приам — знаменитого сына,  
Горестно плакал, у ног Ахиллесовых в прахе простертый,  
Царь Ахиллес, то отца вспоминая, то друга Патрокла,  
Плакал, и горестный стон их кругом раздавался по дому.*

Или еще — всякое очень сильное чувство двулико, скорбное просветление скрыто на дне безутешного плача, за бешеным гневом таится сладость:

*Гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит,  
Он в зарождении сладостней тихо струящегося меда.*

Психологизм в сочетании с даром художника — постоянным стремлением не рассказывать, а показывать — сообщает эпосу качества драмы: характеры раскрываются не со стороны, а непосредственно, в речах героев. Речи и реплики занимают приблизительно три пятых текста. В каждой из поэм около семидесяти пяти говорящих персонажей, и все это живые лица, их не спутаешь друг с другом. Древние называли Гомера первым трагическим поэтом, а Эсхил утверждал, что его, Эсхила, трагедии — лишь крохи с пышного стола Гомера. И правда, многие знаменитые, психологически совершенные эпизоды «Илиады» и «Одиссеи» — это сцены, словно бы специально написанные для театра. К их числу принадлежат свидание Гектора с Андромахой в VI песни «Илиады», появление Одиссея перед феакийской царевною Навсикаей и «узнание» его старой нянькою Евриклеей — в VI и XIX песнях «Одиссеи».

Читая Гомера, убеждаешься, что обе поэмы (в особенности «Илиада») — чудо композиции, и дивишься безумной отваге аналитиков, утверждавших, будто эти виртуознейшие конструкции сложились сами собой, стихийно, спонтанно. Трудно сомневаться, что расположение материала было строго и тщательно обдуманно, — именно потому так полно исчерпываются все начатые однажды темы, так плотно сконцентрировано действие. Всего одиннадцать стихов потребовалось автору «Илиады», чтобы ввести слушателя (или читателя) в суть дела, в самую гущу событий; в одиннадцати строках экспозиции открываются и главная тема всего произведения — гнев Ахиллеса, и повод к гневу, и обстоятельства, предшествовавшие

ссоре вождей, и даже божественная подоплека событий («совершалась Зевсова воля»). Сразу же за тем начинается действие, которое длится до тех пор, пока не иссякает полностью главная тема. Ни убийство Гектора, ни надругательство над его телом, ни пышные похороны Патрокла, ни погребальные игры в честь друга не приносят успокоения Ахиллесу. Только после свидания с Приамом наступает перелом: душа, омраченная яростью и отчаянием, словно просветляется, омытая слезами, которые вместе проливают убийца и отец убитою. И затем такое же просветленное завершение второй темы — темы Гектора, которая неотделима от главной, ею рождена и дополняет ее. Эпилога в «Илиаде» нет, и вплоть до последней, завершающей строки: «Так погребали они конеборного Гектора тело» — длится развязка, всем духом своим напоминающая развязку трагедии. Напоминает о трагедии и темп повествования, неровный, порывистый, изобилующий резкими, неожиданными поворотами — в трагедии их называют перипетиями. Главная перипетия решает судьбу героя и решительно направляет действие к кульминации и развязке. В «Илиаде» роль главной перипетии играет гибель Патрокла, кульминации — умерщвление Гектора.

И эпизоды, и образы «Илиады» объединены вокруг главной темы и главного героя, образуя тесно связанную систему. Все события поэмы укладываются в девять дней (впрочем, если считать и «пустые промежутки» между сгустками действия, дней набирается пятьдесят один). «Одиссея» построена несколько иначе, более рыхло. Здесь нет такого сгущения действия, такого тесного переплетения различных его линий (хотя «действенных» дней тоже девять). Более независимы друг от друга и образы: нет таких психологически взаимодополняющих или противопоставленных пар, как Ахиллес — Гектор, или Ахиллес — Диомед, или Ахиллес — Патрокл, связи между персонажами по преимуществу внешние, сюжетные. Но надо помнить, что перед поэтом стояла труднейшая задача —

изложить десятилетнюю предысторию возвращения на Итаку, рассказать о десятилетних скитаниях героя. Выходит, что шая рассредоточенность действия была задана самим сюжетом.

Изучая построение поэм, ученые открыли у Гомера особый композиционный стиль, который назвали «геометрическим». Его основа — острое чувство меры и симметрии, а результат — последовательное членение текста на триптихи (тройное деление). Так, первые пять песней «Одиссеи» составляют структуру из двух триптихов. Первый: совет богов и их намерение вернуть Одиссея на родину (I, 1 — I, 100) — Телемах и женихи на Итаке (I, 101 — II) — Телемах гостит у Нестора в Пилосе (III). Второй: Телемах гостит у Менелая в Спарте (IV, 1 — IV, 624) — женихи на Итаке (IV, 625 — IV, 847) — совет богов и начало пути Одиссея на родину (V). Второй триптих как бы зеркально отражает первый, получается симметричное расположение элементов по обе стороны от центральной оси. Конечно, это результат не расчета, а врожденного дара: автор, вернее всего, и не подозревал о собственном геометризме. Нам, читателям, геометризм открывается непосредственно. Мы говорим о нем нечетко и расплывчато, называя общию стройностью, изяществом, соразмерностью. Но как бы там ни было, мы наслаждаемся этой непридуманной, ненарочитой соразмерностью, — быть может, в противоположность нарочитой асимметричности, которая становится эстетической нормой в новейшее время.

Со всем тем нельзя настаивать, что композиция поэм — и не только композиция — совершенно свободна от изъянов, с точки зрения современного читателя. Остатки примитивного творческого метода древних певцов обнаруживаются и в утомительных длиннотах, и в сюжетных повторах, резко снижающих занимательность (например, в начале XII песни «Одиссеи» волшебница Цирцея заранее и довольно подробно рассказывает о приключениях, которые будут содержанием этой же самой песни), и в так называемом законе хронологической несовместимости: действия одновременные и параллельные Гомер

изобразить не может, а потому рисует их одновременными, следующими одно за другим. По милости этого закона гомеровские битвы выглядят цепочками поединков — каждая пара бойцов терпеливо дожидается своей очереди, да и внутри пары строго соблюдается очередность — разом противники никогда не бьют.

В список изъянов можно было бы внести и пресловутое «эпическое (или даже гомеровское) спокойствие», ибо чистая, беспримесная объективность, полная незаинтересованность — мертвы и к искусству не принадлежат. Но, хотя «гомеровское спокойствие» часто считается необходимым признаком эпического стиля, это выдуманый признак. Гомер отнюдь не устранился от суждения о происходящем. Расставив декорации и выпустив на сцену актеров, он уже не вмешивается в игру, но и не прячется все время за кулисами, а то и дело выходит к зрителям и говорит с ними, комментируя происходящее; иной раз он обращается к Музе и к действующим лицам. Ученые подсчитали, что подобные «прямые высказывания» составляют около 1/5 всего текста. Самая замечательная их часть — это, бесспорно, авторские (или эпические) сравнения. В обычном сравнении, каким бы образным оно ни было, каждое слово направлено к возможно более полному изображению сравниваемого. Если Одиссей притворно жалуется:

*...Но все миновалось;*

*Я лишь солома теперь, по соломе, однако, и прежний*

*Колос легко распознаешь ты, —*

здесь все «идет в дело»: я теперь как вымолоченная солома, но как по соломе легко догадаться, что за колос она несла, так и ты, глядя на меня, догадаешься, что за человек я был прежде. Но когда о младших начальниках, строящих войско к бою, говорится:



*...Подобно как волки,  
Хищные звери, у коих в сердцах беспредельная дерзость,  
Кои еленя рогатого, в дебри нагорной повергнув,  
Зверски терзают; у всех обагрованы кровию пасти;  
После стаею целой к источнику черному рыщут;  
Там языками их гибкими мутную воду потока  
Локчут, рыгая кровь поглощенную; в персях их бьется  
Неукротимое сердце, и всех их раздуты утробы, –  
В брань таковы мирмидонян вожди и строители ратей  
Реяли окрест Патрокла, –*

то собственно сравнению отведены три строки из десяти: вожди мирмидонян, окружавшие Патрокла, были похожи на волков. Остальные семь — особая картина, ничем фактически не связанная с окружающим текстом. Когда-то считали, что авторские сравнения только украшают эпос, но никакой функциональной нагрузки не несут. Теперь думают по-другому: авторские сравнения — это выход из условной, поэтической действительности в мир, доподлинно окружавший певца и его слушателей; чувства слушателей, изменяя свое направление, как бы получали отдых, чтобы затем с новым напряжением обратиться к судьбам героев. Если авторские сравнения должны были служить эмоциональным контрастом к основному повествованию, ясно, что темы для сравнений заимствовались преимущественно из мирной жизни. В «Илиаде», более одухотворенной, монументальной и сумрачной, монументальны и сравнения; в «Одиссее» они короче и проще, среди мотивов преобладают бытовые, — вероятно, в противоположность чудесам сказки. Мы видели, как гомеровский эпос соприкасается с драмою. В авторских сравнениях он становится самою настоящею лирикой. Читая Гомера, радуешься встрече с каждым новым сравнением, останавливаешься и медленно произносишь вслух — раз, другой, третий, наслаждаясь его прелестью, свежестью,

смелостью и вместе с тем полнейшей естественностью, ненарочитостью.

*Словно как на небе около месяца ясного сонмом  
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;  
Все кругом открывается — холмы, высокие горы,  
Долы, небесный эфир разверзается весь беспредельный;  
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится, —  
Столько меж черных судов и глубокопучинного Ксанфа  
Зрилось огней троянских.  
Так помышляет о сладостном вечере пахарь, день целый  
Свежее поле с четою волов бороздивший могучим  
Плугом, и весело день провожает он взором на запад —  
Тащится тяжелой стопою домой он готовить свой ужин.  
Так Одиссей веселился, увидя склоненье на запад Дня.*

Читать «Илиаду» и «Одиссею», просто читать, как читаешь своего современника, не делая никаких скидок на века и тысячелетия, — вот самый лучший, самый верный путь к Гомеру. Он открыт и доступен всем.



## ЧТО ТАКОЕ «МИФ» И ЧТО ЗНАЧИТ «ПЕРЕСКАЗАТЬ МИФ»<sup>10</sup>

Среди греческих мифов — сказаний о богах и потомках богов — миф о титане Прометее один из самых прославленных. Во всяком случае — в нашей стране и в наше время. «Прометей», «Прометеев огонь», «Подвиг Прометейя», «Муки Прометейя», «Наследники Прометейя» — эти слова то и дело попадают в газетах, журналах и книгах, звучат по радио, с трибун комсомольских съездов и пионерских слетов. Все знают, что Прометей похитил с неба огонь и принес людям; за это он был жестоко наказан, но ни в чем не раскаялся и мужественно переносил свои страдания.

А что знали о Прометее те, для кого он был богом, — древние греки? Мы даже спросили бы так: «Какой был Прометей по-настоящему?» — если бы не понимали, что по-настоящему это вымысел, сказка.

Здесь задержимся на мгновение. Вымысел? Верно. Сказка? Нет. Миф — это не сказка. Когда рассказывают или слушают сказку, и рассказчик и слушатели крепко помнят, что все это неправда, что нет и никогда не было на свете ни Кощея Бессмертного, ни Царевны-Лягушки, ни Алладина с его волшебной лампой. Были свои сказки и у греков, и, как все народы земли, она забавлялись веселыми и страшными похождениями героев своих сказок. Тому же, что гласили мифы, греки верили в

---

<sup>10</sup> Впервые: Миф о Прометее. По Гесиоду, Эсхилу, Платону и другим древним писателям, греческим и латинским, пересказал Симон Маркиш. М., Детская литература. 1967. С. 5–7.

каждом слове, какими бы странными и невероятными ни казались нам сегодня эти истории.

Но вот что любопытно: пока греки на самом деле хранили веру в мифы, они их почти не записывали. Лишь когда вера начала умирать, появились первые сборники мифов, но до чего же сухо, скупо и мертво излагались там прекрасные, полные поэзии предания!

Позвольте-ка, а откуда известно, что они были прекрасны и полны поэзии, — ведь прежде никто мифов не записывал? Да, верно, их не записывали один за другим, в определенном порядке, чтобы составить «священную историю» мира и людей, но зато вся греческая литература, живопись, скульптура выросли из мифов и были полны ими. Боги и их потомки действовали в поэмах, трагедиях и даже комедиях, намеки на мифы, всевозможные подробности мифов рассыпаны повсюду в трудах историков, философов и других ученых; героев греческих мифов мы видим на тысячах ваз, расписанных древними художниками, в сотнях древних статуй. Вот почему мы не только догадываемся о прелести старинных преданий, но и пытаемся их восстанавливать. Не полностью, конечно, — это, к сожалению, невозможно, — но хотя бы в той мере, в какой удастся собрать и приладить одну к другой разрозненные черты.

Это все равно, как если бы большое узорное блюдо разбилось, а потом отыскивали бы уцелевшие осколки (сколько именно уцелело и сколько пропало — никому не ведомо) и принялись их складывать: очертания блюда, наверное, угадывались бы довольно точно, а разгадать безошибочно узор едва ли кто взялся бы. Случаев для ошибки тем больше, что осколки, которые мы держим в руках, — не от одного блюда, а от нескольких; потому что всякий миф ходил в нескольких разновидностях, иногда заметно различавшихся.

Вот что значат слова в начале этой книжки: «По Гесиоду, Эсхилу, Платону и другим древним писателям...» Греческий поэт VII века до нашей эры Гесиод написал поэму о

происхождении богов и еще одну — о трудах крестьянина, и в обеих говорит о Прометее. У афинянина Эсхила (V век до нашей эры) были три трагедии о Прометее. Великий философ и писатель Платон, тоже афинянин, живший примерно столетие спустя после Эсхила, часто вспоминал о Прометее. Вспоминали о нем и многие другие древние писатели. Здесь сделана попытка, ничего не сочиняя и не прибавляя от себя свести в одно, в один связный рассказ все эти упоминания, намеки и сообщения греков и римлян, и великих, и не очень великих, и даже совсем не великих, прочно забытых потомками.

Вымысла в этом рассказе почти нет вовсе. Можно было бы, конечно, придумать всякие подробности, веселые и грустные, или, воспользовавшись смутными намеками древних, ввести в «биографию» Прометея новые приключения, победы, неудачи, можно было бы, наконец, приписать Прометею подвиги других богов, тем более, что с некоторыми из богов, например с Гефестом, богом огня и кузнечного ремесла, у него много сходного и общего. Но тогда получилась бы совсем иная книга — не древний миф в пересказе, а современная повесть о мифологической древности.

Больше того, рассказчик старался передать и слог тех старинных поэтов и прозаиков, которым он следовал. Слог старинной литературы, в особенности античной трагедии, сегодня может казаться странным, но если его упростить, приблизив к нашим сегодняшним вкусам и привычкам, это разрушит миф.

А наша цель и задача — познакомиться именно с мифом.



## РИМСКАЯ ЛЕТОПИСЬ<sup>11</sup>

**В** 31 году до н. э. приемный сын Гая Юлия Цезаря, Октавиан, будущий император Август, разгромил последнего из своих соперников в борьбе за власть и сделался единовластным хозяином Римской державы. Римская республика погибла. Родилась Римская империя.

И примерно в ту же пору тридцатилетний Тит Ливий из Патавия (ныне Падуя) в Северной Италии написал первые строки громадного сочинения, которому последующие времена, вплоть до нашего, нынешнего, всего более обязаны своими представлениями о республиканском Риме, своим почтительным изумлением перед теми, кто превратил ничем не приметный городок на Тибре в столицу сильнейшего в древнем мире государства.

О жизни Ливия известно немного. Он смолоду жил в Риме, был прекрасно образован, государственными делами и военной службой никогда не занимался, целиком отдался литературе. Ему принадлежали рассуждения на отвлеченные, философские темы в форме бесед между двумя или несколькими лицами, но ни одно из них до нас не дошло. Главным же трудом Ливия была гигантская история Рима — от его основания до событий 9 года до н. э. Произведения античной литературы делятся на «книги»: каждая «книга» — это столько слов и фраз, сколько помещалось на папирусном свитке, изготовленном руками древних издателей — переписчиков. «Книг» в сочинении Ливия было сто сорок две. Это составило бы приблизительно двадцать

---

<sup>11</sup> Тит Ливий. Война с Ганнибалом. Пересказ с латинского. Москва, Детская литература. 1968. С. 386–394.



пять таких томов, как тот, что вы держите в руках. Но до наших дней из ста сорока двух «книг» сохранилось всего тридцать пять, остальные пропали еще до начала средних веков.

«Книги» Ливия объединялись в десятикнижия — декады (по-видимому, тоже древними издателями): четырнадцать полных декад и начало пятнадцатой. Сохранились декады первая, третья, четвертая и половина пятой. Здесь пересказана третья декада, и озаглавлен пересказ «Война с Ганнибалом».

Заглавие это выбрано мною — у Ливия ни декады, ни отдельные «книги», ни части «книг» не озаглавлены вовсе. Как называл автор свою работу в целом, мы точно не знаем, но скорее всего — «Летопись». И правда, события излагаются в строгой последовательности, год за годом. (Не везде, разумеется: когда речь идет о глубокой древности, где истина перемешана с легендами, с явным вымыслом, это оказывается невозможным.)

У современников Тит Ливий пользовался славою самой громкой. Его знали не только в столице, но и на отдаленных окраинах империи. Рассказывали, будто один почитатель его таланта приехал в Рим из Гадеса (ныне Кадис в Испании) с единственной целью — увидеть Ливия. Император Август был его покровителем и даже другом. Но уже через двадцать лет после его смерти (он умер в 17 году н. э.) император Калигула приказал изъять все написанное Ливием из общественных библиотек — за утомительное многословие и небрежное отношение к фактам. Еще строже судили Ливия христианские государи: римский папа Григорий I (VI век) предал его труд сожжению за «идольские суеверия», которыми он пропитан. Вполне возможно, что эти гонения помогли пропасть бесследно многим декадам.

Новые времена относились к Ливию по-разному. Сокрушались об исчезнувших частях его истории, особенно о тех, где описывалось близкое к Ливию I столетие до н. э., полное гражданских смут и междоусобиц. Подобно Калигуле, упрекали

его в многословии и напыщенности, в исторических небрежностях, в незнании военного дела и географии, в незнании тех стран и государств, которые сталкивались с Римом в войнах (в том числе и Карфагена). Восхищались его мастерством оратора, красотой его слога, чистотою и возвышенностью его убеждений. В прошлом веке его вдалбливали на школьной скамье любому гимназисту, и редко кто уносил за стены гимназии иные чувства, кроме скуки, а порою и отвращения. В наш век, когда латынь вышла из моды окончательно, его почти не читают вообще, и почти не помнят, и знают только понаслышке.

Так надо ли возвращаться к Титу Ливию? Зачем он нам? Для того лишь, чтобы познакомиться с подробностями давным-давно отгремевшей войны, которую мы «проходим» в пятом классе? Так ли уже нам необходимы эти подробности? Ведь в прошлом есть столько событий, волнующих нас куда больше и сильнее, чем Вторая Пуническая война!

Но если вы прочитали эту книгу, вы уже сами убедились, что перед вами не пособие для юного историка и что, несмотря на обилие битв, стычек, походов, штурмов и лагерей, главное здесь не война. Вы убедились, что это не столько наука, сколько литература — изящная словесность, как говорили когда-то, беллетристика, как иной раз говорят сейчас, заменяя русское слово французским. Вы убедились, что в первую очередь Ливия занимает не число потерь, не пути подвоза провианта и боеприпасов, не тактика и стратегия обеих сторон, а люди, их поведение, воля, мужество, стойкость, слабости. Главное в этой книге — описание человека попытка четко разглядеть его и понять, а после — и дать оценку тому, на что способен человек и какое употребление находит он своим способностям.

Античная наука была неотделима от искусства. Грек Геродот (V столетие до н. э.) — не только «отец истории», как его величали еще в древности, но и отец греческой прозы, изумительный рассказчик. Платон (V — IV столетия до н. э.) — крупнейший мыслитель Древней Греции, но греческую и

мировую литературу он одарил и обогатил ничуть не меньше, чем философию. В Риме в век Ливия считали, что историк должен быть так же красноречив, как лучший оратор, и это — в век, когда римское красноречие достигло самой своей вершины, самой полной силы и на площади Народного собрания и в сенате. От истории ждали и требовали того же воздействия на чувства, какое оказывает поэзия.

Вот так и будем судить о Тите Ливий из Патавия, летописце римского народа, — как о волшебнике слова и зорком наблюдателе человеческой души.

Всего заметнее словесное волшебство обнаруживает себя в речах. Дошедшие до нас «книги» Ливиевой летописи заключают больше четырех сотен речей. Конечно, все они принадлежат самому Ливию, хотя какими-то сведениями о содержании подлинных высказываний своих героев он, вероятно, располагал. Но можно ли сомневаться, что полководцы, ободряя солдат, говорили совсем не так, как Публий Корнелий Сципион (отец) перед битвою при Тицине (Первый год войны), или римский всадник Луций Марций (Седьмой год войны), или Публий Корнелий Сципион (сын) перед началом своей первой испанской кампании (Девятый год войны). Скорее, они грубо поносили врагов и столь же грубо соблазняли своих подчиненных богатой добычей или пугали трусов страхом неизбежной гибели. И едва ли в сенате звучали тогда стройные, прекрасно отшлифованные речи вроде тех, что Ливий вкладывает в уста Фабию Максиму или Марку Валерию. И уж, разумеется, прямой вымысел — изумительное надгробное слово Капуе, которое произносит, готовясь к смерти сам и призывая умереть других, капуанский сенатор Вибий Виррий (Восьмой год войны).

Вымышленные или наполовину вымышленные речи подлинных исторических лиц — не открытие Ливия; их сочиняли все античные историки, начиная с Геродота. Но нет большего мастера подобных речей, чем Тит Ливий; таково мнение древних, и оно подтверждается учеными и читателями наших

дней. Никогда речь у Ливия не бывает просто упражнением в ораторском искусстве или средством блеснуть собственным красноречием, действительно прекрасным, могучим и блестящим. Никогда не обращается к ней автор и для того, чтобы просто сообщить о каком-нибудь событии. Любая речь у Ливия — это образ и зеркало души того, кто ее произносит. В речах Ливия люди раскрываются, будто герои пьесы на сцене театра; кто раскрывается сразу и целиком, кто — медленно, исподволь, кто — лишь отчасти, так что мы (да, наверное, и автор) до конца остаемся в некотором недоумении.

Давайте, например, поразмыслим о Сципионе, покорителе Испании и Африки, победоносном завершителе войны с Ганнибалом. Ясно, что Ливий им восхищается, видит в нем поистине великого человека, одного из самых великих в истории Рима. Но когда читаешь его речи — и ту, что уже упоминалась выше, обращенную к воинам перед первой испанской кампанией, и речь перед мятежниками из сукронского лагеря (Тринадцатый год войны), и беседу с Масиниссою, у которого он отбирает Софонибу (Шестнадцатый год войны), и все остальные, — постоянно ощущаешь какой-то привкус фальши, притворства, лицемерия, точно возвышенными словами он старается обмануть и других, и самого себя. И это смутное ощущение крепнет, если припомнить, что говорит Ливий о демонстративной, нарочитой набожности Сципиона, умевшего ловко играть на суевериях толпы (Восьмой год войны), или о его зверской расправе с испанским городом Иллитургий (Тринадцатый год войны).

Но тут мы обязаны задуматься над вопросом гораздо более общим и гораздо более важным — быть может, самым важным и для самого Ливия, и для нашего к нему отношения: что было в глазах римского летописца добром и что злом? То же, что в наших глазах, или что-нибудь иное?

И Сципион, и все прочие любимые Ливием герои его истории часто, во всех своих рассуждениях ссылаются на

«общее благо», на «благо государства». Ливий — очень искренний и очень горячий патриот. Процветание и могущество Рима — вот высшее для него благо. Что же, ведь и каждый из нас желает счастья и силы своей стране. Но посмотрим подробнее, как это надо понимать и толковать — «благо государства».

Все, что приносит пользу Риму, — прекрасно и справедливо, все без исключения. Все, что Риму во вред, — безобразно и несправедливо. Вряд ли нужно доказывать, что такая точка зрения бесчеловечна и подла. Она идет от глубокой и мрачной древности, от дикарства, для которого существовало лишь одно деление на «хорошо» и «плохо»: «хорошо» — это если я ограбил соседа, «плохо» — это если сосед ограбил меня.

Когда сагунтяне, союзники римского народа, предпочитают спалить свое добро в огне, лишь бы оно не досталось пунийцам, и погибнуть сами, лишь бы не попасть в плен и в рабство, Ливий это, по-видимому, одобряет и, уж во всяком случае, ни словом не осуждает. Когда таким же образом поступают испанцы из города Астапы, Ливий называет их ненависть к Риму «ничем не объяснимой, бессмысленной и лютой».

Когда Ганнибал взятых в плен римских граждан продает в рабство, а италийцев-союзников отпускает без выкупа, он коварный злодей, подбивающий союзников Рима на предательство. Когда Сципион действует точно так же в Испании, возвращая испанским племенам заложников, которых взяли у них пунийцы, освобождая пленных испанских воинов, он являет пример истинно римского милосердия и великодушия.

Римский гарнизон в кампанском городке Казилине страшится, как бы местные жители не приняли сторону Ганнибала и не открыли ему ворота. Прямых доказательств измены у римлян не было, и тем не менее — на всякий случай — они перебили всех горожан, от мала до велика. Ливий их не осуждает: еще бы, ведь это кровопролитие было «на благо государства» (Третий год войны)!

Консул Варрон, виновник Каннской катастрофы, встречается с послами города Капуи, и Ливий винит его за неуместную откровенность: он открыл капуанцам правду об отчаянном положении римлян. Но бессовестную ложь консула, внушающего послам, будто Ганнибал строит мосты и плотины из человеческих трупов и кормит своих солдат человечино́й, он пересказывает без всякого неодобрения. Правда невыгодна государству, клевета выгодна, а стало быть, правда пусть спрячется, схоронится, клевета ж пусть трубит во все трубы!

Если бы, проклиная пунийское коварство, Ливий повсюду одобрял коварство и жестокость своих соотечественников, если бы дикарская точка зрения, дикарская мораль торжествовали безраздельно в его летописи, то ни красоты слога, ни занимательность и напряженность повествования, ни умение читать в человеческой душе не приблизили бы его к нам. Но он уже вырвался из дремучего дикарства, он шагает к нам навстречу, и потому мы тоже можем шагнуть навстречу к нему.

Рассказав о подлой бойне, которую римляне под началом Луция Пинария учинили в сицилийском городе Хенна (Пятый год войны), Ливий спрашивает себя: как это назвать — злодеянием или необходимой мерой защиты? И видно по всему, что Пинарий для него скорее преступник, чем радетель об «общем благе».

Да и вообще он далеко не во всем согласен со своими, и далеко не всегда хулит и поносит чужих. Он отдает должное и военному таланту, и мужеству, и силе духа Ганнибала и Гасдрубала. При всем преклонении перед римским сенатом и суровыми обычаями предков он против жестокой и бесконечно долгой кары, наложенной на тех, кто спасся при Каннах. Он не щадит наглецов, корыстолюбцев, хищников, к какому бы из сословий они ни принадлежали, не пытается умолчать об их гнусностях, наоборот — говорит о них громко, в полный голос, не скрывая подробностей. И потому идеал Ливия — Римская

республика — представляется достойным уважения и нам, в наши новые времена.

Не надо упускать из виду, что свой республиканский идеал, свои убеждения — любовь к свободе, ненависть к тирании, уважение к законам, требование подчинять личные интересы общим — Ливий отстаивал в ту пору, когда республики уже не было и Римом правил Август. С Августом у Ливия были добрые, дружеские отношения, и, однако же, Ливий прославлял Помпея, главного врага Юлия Цезаря (Помпеи выступал в роли защитника сената и республиканских свобод). Более того — даже убийц Цезаря он нигде не порицал и писал о них сочувственно и почтительно.

Писатель, художник заслоняет в Ливий ученого, но это не значит, что его труд не имеет значения для науки. И дело не в том лишь, что часто Ливий оказывается единственным источником наших знаний о событиях прошлого, но и в том, как сам он понимал долг историка. Лучший оратор Рима и крупный государственный деятель I века до н. э. Марк Туллий Цицерон назвал историю «свидетельницей времен, светочем истины, живою жизнью памяти, наставницей жизни». Так же смотрел на историю и Ливий.

Он не был исследователем, не искал старинных документов, не ездил по полям былых сражений. Все его знания заимствованы из трудов его предшественников, и, наталкиваясь в них на противоречащие одно другому суждения, он часто не в силах решить, какому из них надо следовать. Но никогда не извращает он правды в угоду собственным вкусам и пристрастиям.

Особенно велика историческая ценность третьей декады, потому что здесь у Ливия были надежные источники. Впрочем, и третья декада страдает от тех же недостатков, какие свойственны всей Ливиевой летописи: сражения обрисованы неточно, а кое в чем и неверно, много ошибок в топографии, не меньше — в сведениях о борьбе между знатью и простым людом в Риме, о порядках в Карфагене, об устройстве карфагенской

армии (вражеское государство Ливий наивно представлял себе почти полным подобием своего, карфагенское войско — копией римского). Но моей задачей было пересказать древнего писателя, то есть сделать его более доступным для чтения, сокращая утомительные иной раз длинноты, меняя кое-где порядок повествования, несколько упрощая слог, когда он становится чересчур замысловатым и хитрым, пересказать, а не исправлять, не «улучшать».

Впрочем, не так уже и велики невольные погрешности Ливия, и не так уж много мы знаем помимо того, что поведал нам он. Кто пожелает в этом удостовериться, пусть возьмет учебник истории, и даже не для школы, а для университета, а не то — если хватит желания, усидчивости, терпения — и специальные книги о Риме и Карфагене во времена Пунических войн. Но мне хочется надеяться, что и в этом случае, погрузившись в детали, юный искатель научной истины не забудет о целом — о прекрасной книге, созданной два тысячелетия назад, но и до сего дня волнующей, тревожащей, укоряющей, требующей, одним словом — живой.





## АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ (ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА)<sup>12</sup>

Лет двадцать назад и в не очень густых рядах «классиков» — то есть специалистов (и будущих специалистов) по античной древности — были волнения. Не слишком заметные, но всё же волнения. Наиболее горячие и нетерпеливые, устыженные тем, что все вокруг ищут связей с животрепещущей современностью, принялись атаковать устои своей науки, такой безнадежно старомодной и по материалу, и по методам. Большинство, как это и всегда бывает, соглашалось с критикой, признавая необходимость обновления и «связей», но всё же пытаясь оправдывать свое существование. Особенно популярны при этом были ссылки на то, что латынь способна служить ступенькою к глубоким и основательным познаниям в новых языках (упор делался на молдавский и румынский), напоминания о горячей любви, которую испытывали к древним русским революционные демократы, об античном способе производства, о пресловутой «революции рабов и колонов», погубившей древний мир, и т. п. Но были и упорные ретрограды, полагавшие, что нет ничего слаще, как отыскивать условно-сравнительные союзы у какого-нибудь Валерия Флакка или ковыряться в крохотных и никак не связывающихся один с другим фрагментах какого-нибудь Вакхилида. В этом упорстве было разное: и искренний, бескорыстный интерес к своему делу, и осуждение тех, кто, устанавливая «живые связи с современностью», жертвовал истиной, а порою даже и наивное стремление укрыться от этой самой «современности», как будто от нее можно было укрыться...

---

<sup>12</sup> Новый мир, 1968. 4. С. 227–237.

Двадцать протекших лет многое переменили. «Классикам» не угрожают более ни бдительные проверки их преданности злобе дня, ни взвинченный радикализм собственных новаторов. Их существование надежно оправдано искренним и глубоким вниманием общества к тому, что они делают: переводы древних поэтом и прозаиков, любых, всех подряд, исчезают с книжных прилавков с непонятною быстротой; за ними хоть и менее резво, но всё же достаточно быстро следуют популярные сочинения, а иной раз и специальные работы по древней истории, истории древней литературы, искусства, обыденной жизни.

В первые послевоенные годы все «новинки» античной литературы на русском языке исчерпывались двумя названиями — «Записками» Цезаря и поэмой Лукреция (тираж каждой из этих книг не выходил за пределы пяти тысяч экземпляров). За последние десять лет один только Апулей издавался не то четыре, не то пять раз, в общей сложности — более чем в трехстах тысячах экземпляров. Но то Апулей, возразят малoverы. Отлично, возьмем не Апулея, а мудрейшего и чистейшего Платона. После долгого перерыва избранные его диалоги вновь увидели свет в 1965 году. Напечатано было 50 тысяч экземпляров; не знаю, как в других городах, но ни в Москве, ни в Ленинграде уже через неделю книгу нельзя было сыскать ни в одном из магазинов. Театры охотно ставят спектакли на античные сюжеты — и самых древних, и западные «реплики», вроде «Антигоны» Ануйя, и даже своих драматургов, соблаздившихся древностью, — а зрители с не меньшею охотою ходят...

Что же произошло?

Вообще говоря — ничего сверхобычного, исключительного. Просто отношения современности и античной древности стали входить, наконец, в свою нормальную колею, приобретать тот естественный и закономерный характер, каким отличались всегда, на протяжении веков, — в том числе и у нас в последние довоенные годы — ибо живой интерес к античности всегда был нормальной, неременной чертой развития мировой культуры.

Выпадали, конечно, и полосы равнодушия, заброшенности, забытости (когда «классики» ощущали себя почти что «лишними людьми»), но они проходили, и довольно скоро.

В России принудительная античность классической гимназии, ответом на которую были чеховские насмешки и «пластический грек» Козьмы Прутков, сменилась послереволюционным ликованием по случаю ее отмены. Конец бессмысленной зубрёжке, напыщенным банальностям, затхлою мудрости, которой давным-давно пора на свалку, конец восхищению перед мертвым в ущерб живому! Забудем всё это раз и навсегда!.. Но, избавляясь от вкуса принудительности, античная старина вопреки прогнозам слишком ретивых борцов с «рутиной» всегда только выигрывала — она снова приобретала обаяние и притягательную силу неизведанного, отвоевывала свое законное право на живое внимание общества. И в этом нет ничего удивительного: ни одержимые поборники классицизма, ни вполне оправданная реакция на их тупую одержимость не способны восстановить современность против античности. Это было бы так же противоестественно, как ненависть сына к матери, потому что мир античности — один из трех китов, на которых стоит духовная культура любого европейского народа, а стало быть, и русская культура. Европейская литература, поэзия, театр, скульптура, архитектура были бы совсем иными, если бы не античное наследие, влияющее на них то непосредственно, то косвенно, то скрыто, то явно, то очень сильно, то совсем слабо, но непрерывно вот уже более тысячелетия. Вся европейская философия — все ее школы и системы, не исключая и философии марксизма, — невозможна без трудов великих греческих мыслителей. И даже стертые банальности, вроде «жизнь коротка, труд творца долговечен», — не просто ходячие истины, но доподлинные основания нашей жизни и общества.

Итак, всё снова на своих местах, все ладно, и «классикам», стало быть, беспокоиться не о чем?

Однако вопрос о «живых связях с современностью» — не из тех, что утрачивают свою остроту, освобождаясь от искусственной взвинченности. И подлинная, не конъюнктурно-минутная причина давнего бунта «классиков» не только не устранена нынешним благоволением общества к их работе, но, в сущности, и не может, не должна быть устранена никогда. В самом общем виде она была сформулирована еще двадцать одно столетие назад в Палестине мудрым Гиллелем, чьи слова так любил повторять Горький: «Если не я для себя, то кто же для меня? Но если я только для себя, то зачем я? И если не теперь, то когда же?» Человек всегда испытывает потребность, нет, больше — нужду определить свое отношение к главному занятию своей жизни, именно свое собственное, не вычитанное из книг и газет, не выдуманное под воздействием скоротечной моды, не приспособленное к жестокой подчас ситуации, но единственно для себя возможное, глубоко личное, измена которому — смертный грех.

Я могу твердо знать, что Монтень или декабристы боготворили Плутарха и что русские революционные демократы очень одобряли греческую трагедию, а Гёте — буколику, но для меня из этого еще ничего не следует, точно так же как я не люблю Эсхила или Расина по той лишь причине, что они были великие мастера мировой драматургии, и их высоко ценили во все времена, и про это написано во всех учебниках. «Если не я для себя... И если не теперь...»

Но сама потребность, сама необходимость такого самоопределения как раз тогда только и возникает, когда человек сознает свою сопричастность времени, веку и дорожит ею, чувствует свою за них ответственность. И если «классик» (ученый, преподаватель, переводчик) — не машина, не бесчувственная мельница, если он хочет строить свои отношения — не машина, не бесчувственная мельница, если он хочет строить свои отношения со своим ремеслом (мастерством, творчеством — как угодно!) на четком и строгом понимании того, что он делает и чего

от своей работы ждет, — то он должен определить прежде всего свое место в живой жизни своего времени. Об этом с настойчивостью напоминает ему именно сам характер его профессии.

Вот два примера. В последнее время литературные журналы, систематически рецензирующие книги по античности, столь же систематически нападают на классическую филологию за ее эстетическую неразборчивость, за чрезмерное благоговение ее перед любым словом, если это слово было сказано или написано кем-либо из великих древних. Справедливы ли эти нападки? Бесспорно. Конечно, всё, что сохранилось от Пиндара или Эврипида, имеет историческую ценность и подлежит изучению. Но, изучив, надо оценить, и тут филолог должен стать критиком — не только вправе, но и должен. Если мы судим поживому, по-современному о Пушкине, Шекспире или Сервантесе, чему-то отдавая предпочтение, что-то полагая менее удачным, а что-то и вовсе неудавшимся, точно так же следует относиться и к Гомеру, и к Вергилию, и к Аристофану. Если классическая филология хочет быть живой наукой, то ей неминуемо придется расстаться со многими своими привычками, утратить самодовлеющий, замкнутый, преимущественно эзотерический характер науки для немногих знатоков. Только принявши в себя злободневность, критическую мысль, она может доподлинно встретиться с современностью.

Но ведь что встреча эта произошла, как раз и важно прежде всего отдать себе ясный отчет в том, чего же ищет наша современность в античности, что это значит — судить о древности по-современному...

Или возьмите художественный перевод. В противоположность равнодушному и безликому филологическому переводу (или, точнее, подстрочнику) он всегда предполагает живую, личную заинтересованность. Заинтересованность переводчика обнаруживается в том образе переводимого автора, который он для себя создает и который во многом определяет фактуру и окраску словесной ткани перевода, сообщает ей необходимое

единство и цельность. В сегодняшнем мире главный посол древности — переводчик. «Цивилизация, — пишет профессор Эрик Бентли, — существует переводами... Если древние литературы продолжают жить, так только в переводе». Лестно переводчику читать такую рекомендацию, когда она сделана не своим же собратом-переводчиком, а известным ученым. Лестно знать, что отношения двух эпох завясят и от тебя, что ты их если и не устанавливаешь, то, во всяком случае, улучшаешь, укрепляешь, расширяешь. Но ты можешь и испортить их — по бесталанности, по невежеству, потому что превратно понимаешь свои задачи и полномочия. И мы снова возвращаемся к тому же — к неизбежной и настоящей потребности строгого «самоопределения», к необходимости ясно отдавать себе отчет в том, каков характер взаимоотношений античной старины с сегодняшним днем...

\* ..... \* ..... \*

«Удивительное дело! Две тысячи лет прошло, а люди ничуть не переменились: так же чувствуют, так же думают!» Подобные речи приходится слышать часто и по разным поводам — полистали «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, посмотрели на сцене «Медею» или «Электру», услышали на лекции отрывок из Фукидида. Бытовало и посейчас бытует представление, будто в иных социально-экономических формациях всё было по-иному. По-иному любили детей, ласкали жён, любовались красотой моря и неба, оценивали храбрость и трусость, ненавидели врагов, боялись смерти...

Но за свое историческое существование, еще такое недолгое, род человеческий не так уж сильно изменился — в отличие от окружающих его материальных условий жизни. Человек, стиснувший рукоять меча, и человек, держащий палец на кнопке с надписью «Пуск», отличаются друг от друга несравненно меньше, нежели меч от ракеты с ядерной

боеголовкой. Разумеется, многое в них несхоже, но очень во многом они легко поняли бы друг друга. Во многом дурном и во многом хорошем.

Поражающее нас сходство современности с античною древностью — первое, что привлекает внимание, когда берешься за греческого или латинского писателя; это первый, и, конечно, самый поверхностный слой в старинном литературном произведении, прочитанном глазами нашего современника. Но, при всей своей поверхностности, он гораздо глубже, чем кажется любителю злободневных, острых аналогий. Аналогичное стечение обстоятельств, аналогичная ситуация — по большей части дело случая. Сходство же, о котором идет речь, закономерно, оно вырастает из стойкого, не скорого на перемена человеческого «нутра».

Вот две совершенно разные, даже как бы прямо противоположные по духу и характеру выдержки из авторов, живших в одно время (I — начало II века н. э.), но писавших на разных языках: один — по-латыни, другой — по-гречески. Первая принадлежит Корнелию Тациту, который пережил деспотическое правление Домициана, последнего императора из династии Флавиев, всё время находясь рядом с тираном, в столице, видя, как гибнут близкие и друзья, и страшась гибели сам. Итак, после убийства Домициана Тацит пишет:

Поистине, мы дали великий пример долготерпения! И как прошлое узнало крайние рубежи свободы, так мы — крайние пределы рабства. Через доносчиков у нас отняли даже возможность говорить и слушать. Мы потеряли бы вместе с голосом и самую память, если б забвение было в нашей власти в той же мере, что и молчание. Лишь теперь мы оживаем... Но природа человеческой слабости такова, что лекарства медлительнее недугов: подобно тому, как тела наши растут не скоро, а гибнут быстро, так подавить дарования и усердие легче, чем вернуть их к жизни. Само бездействие становится сладко, и



праздность, ненавистная вначале, под конец внушает любовь. Пятнадцать лет минуло, большой отрезок человеческого века, — и многие ушли по воле случая, а самых решительных, всех до последнего, убил принцепс. Мы, немногие, пережили не только прочих, но, можно сказать, и самих себя: ведь из середины жизни вырвано столько лет, что мужчины состарились в молчании, а старики дошли почти до могилы.

И примерно в те же годы Плутарх, живший в далекой провинции, в маленьком и тихом городишке, где, скорее всего, и не догадывались, что император — преступник, кровожадный безумец, чудовище, как были убеждены сенаторы-оппозиционеры в Риме, — Плутарх, излагая биографию римского полководца II века до нашей эры Эмилия Павла, приводит такой анекдот:

Он был женат на Папирии, дочери бывшего консула Мазона, но после многих лет брака развелся, хотя супруга родила ему замечательных детей — знаменитого Сципиона и Фабия Максима. Причина развода нам неизвестна (о ней не говорит ни один писатель), но, пожалуй, верней всего будет вспомнить, как некий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему: «Разве она не целомудренна? Или нехороша собою? Или бесплодна?» — выставил вперед ногу, обутую в башмак, и сказал: «Разве он нехорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?» В самом деле, по большей части незначительные или получившие огласку проступки жены лишают ее мужа, но мелкие, частные столкновения, проистекающие из неуступчивости или просто от несходства нравов, даже если они скрыты от посторонних глаз, вызывают непоправимое отчуждение, которое делает совместную жизнь невозможной.

Действительно, отрывки совсем разные — и по содержанию, и по самой интонации, и по характеру мировосприятия. Четкая,

лаконичная, до жестокости жесткая мысль политика — и округлое, неторопливое, уснащенное анекдотическим примером рассуждение нравописателя. Страстность — и невозмутимая отстраненность наблюдателя. Горечь, сдержанная ярость, презрение и жалость к тем, кто все-таки выжил, зависть к «самым решительным» — и легкая, добродушная насмешливость. Подлинная, драгоценная мудрость — и обыденный здравый смысл...

Но, по истине, и та, и другая, они совершенно живы для нас, эти две цитаты! Их сходство — именно в отсутствии временного барьера, в поразительной психологической убедительности, в непосредственной понятности того, что думалось и переживалось двадцать веков назад. Решится ли кто утверждать, что думы и чувства этих рабовладельцев (по главной социальной примете, по классовой принадлежности) чужды человеку предкосмической эры и кануна бесклассового общества? Живость нашего отклика вызвана тем, что психологически человечество имеет много общего не только в пространстве, но и во времени. Потому и Лев Толстой плакал всякий раз, как перечитывал ветхозаветную историю Иосифа, потому и сегодня пробегает по коже озноб, когда читаешь, как сын царя Давида Амнон умирал от любви к девице Фамари, как хитростью и силою овладел ею и как мгновенно «потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, которую возненавидел он ее, была сильнее любви, какую имел к ней». Во всех этих случаях дело не только в искусстве, в силе и прелести слова, но и в постоянстве многих коренных черт духовного облика человека.

Ахилл — главное действующее лицо «Илиады» Гомера, самого великого поэтического творения древности. Гневаясь на своих соратников, он отказывается принимать участие в боях, но разрешает другу, Патроклу, сразиться с врагами в его доспехах, чтобы все решило, будто Ахилл снова взялся за оружие. Патрокл гибнет, и Ахилл, забывший гнев, мстит за друга, твердо зная заранее, что эта месть — первый шаг к собственной гибели. И пусть он несравненный герой, полубог,

живое воплощение древнего «кодекса» чести — не такого, как в средние века или в наши дни, — но слезы, которыми он оплакивает убитого друга и скорую свою смерть, горе, которым он горюет о непрочности, ненадежности человеческого счастья, понятны без всяких комментариев. И точно так же понятны, так же не нуждаются в комментариях подлость доносчиков или наглость временщиков у Тацита, великодушные, самоотверженность, бесстрашие героев Плутарха, маниакальная подозрительность «героев» Светония. Потому что подлец — всегда подлец, во всех обстоятельствах, и никакая формация, ни одна, как бы она ни старалась, не превратит предательство в доблесть. Оттого именно и возникает ощущение общности, родства современности с древностью, что протекшие два тысячелетия неопровержимо подтвердили неизменность некоторых важнейших критериев: общими, неизменившимися оказались многие из нравственных основ нашего существования — элементарных, оттого неприметных, как бы само собою разумеющихся, однако жизненно необходимых.

*Есть ценностей незыблемая скала  
Над скучными ошибками веков, —*

писал Осип Мандельштам в 1914 году.

Вот эта «незыблемость скалы ценностей» и подтверждается опытом общения с древностью. И опыт этот несет в себе радость и одобрение. Он утверждает неискоренимость добра и честности перед лицом злобы и предательства. Вечность тяги к прекрасному вопреки соблазнам безобразного. Долговечность афоризмов и заповедей, которые иным кажутся родившимися только сегодня. «Не трудящийся да не ест» — это было сказано по малой мере два тысячелетия назад. «Миру — мир» — и того ранее, «Человек человеку брат» — гораздо раньше, чем «человек человеку волк».

Не удивительно, что на эту «вечность и незыблемость» нравственной природы человечества, способную возбудить отзыв в любую эпоху, у любой современности, наш, сегодняшний отзыв — особой. Концентрационным лагерям и газовым камерам, геноциду и мерзкому глумлению над жизнью, смертью, справедливостью и разумом, безудержной лжи и лицемерию — одним словом, всему нравственному одичанию, которое узнал XX век и которое мы называем фашизмом, предшествовала на рубеже двух столетий — нашего и предыдущего — такая переоценка ценностей в философии, искусстве, публицистике, которая поставила под сомнение все нравственные принципы, не усматривая в них ничего, кроме пустых, обветшалых потерявших всякий смысл словес. И что же? Началось с ницшеанских мотивов «любви к дальнему», кончилось «хикурою совести» и истошными проклятия милосердию, добру и человечности. Вот почему похвала кротости, приветливости и правде у Гомера, который и любимцу своему Ахиллу не прощает «львиной свирепости», то есть зверства и бесчеловечности, — для нас, сегодняшних, не прописная похвала прописной добродетели, а живой опыт, за который человечество на протяжении своей истории платило так много и всякий раз сызнова.

В сложном и всё более усложняющемся мире простота не может не привлекать. И мы теперь более, чем когда-либо раньше, понимаем, что античная простота — это вовсе не первобытная примитивность житейских условий и образа жизни, которую восхищались вольнодумцы и просветители в конце XVIII века и которая была такою же точно небылицей, как нежные пейзажи и чувствительные бергеры королевских балетов в Версале, а серьезность и строгая однозначность в отношении к жизни. Не только Саллюстий (I век до н. э.), отчаянно скорбящий о сгинувшей староримской доблести и о нравственном упадке своих сограждан, но и Апулей, ироничный наблюдатель жизни, не знает двух правд, не сделает попытки понять

кровожадность, чтобы оправдать или хотя бы простить ее. И это не самодовольная ограниченность, которой не понятно, что такое сомнение, а органическая уверенность в себе здорового интеллекта, здорового чувства, уверенность в своём праве (и в своей обязанности) решать и судить. Сложность и пестрота, как видно, неотъемлемые качества бытия во все времена и потому никогда не могут служить оправданием безответственности, беспринципности обывателя и потребителя — никогда, ни теперь, ни в прошлом.

Вспоминая о замечательных работах итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, я всегда вспоминаю древность. Чудовищная запутанность мира часто разрешается у него предельною простотою, совершенно неоспоримую и неотразимую: слезы Дзампано («Дорога»), свежесть и покой утра, окружающего Джульетту, которая разогнала духов («Джульетта и духи»). Ведь они все-таки всего-навсего духи, нежить, надо только собраться с мужеством, не дать себя запугать, сказать им твердо: «Нет, нет и нет». «Прочь!» Никаких компромиссов с нежитью, никаких двусмысленностей, никаких иронических подмигиваний. в бескомпромиссной этой определенности я вижу отзвук античной традиции.

Но определенность суждений сочеталась у древних с терпимостью к чужому мнению, даже если оно представлялось неверным. Да, да, мы помним и не забудем: древняя терпимость была особого рода, не совсем то, что терпимость нового времени. Корни были иные. Но что из этого? Фанатизм средних и более поздних веков, скрывающийся порою под разными благозвучными именами, не ближе ли к нам по времени, а иногда, к сожалению, и по мотивам, но кто предпочтет его терпимости, хотя бы и «не совсем такой»? Лукиан, великий рационалист древности, ненавидел суеверия, но ему и в голову не могло прийти посадить суевера за решетку или отправить на казнь...

Пусть сказанное не будет понято превратно. Я вовсе не хочу твердить с маниакальной назойливостью человека в футляре,

что в эллинизме вся мудрость человеческая или что греки знали всё, — ничего подобного! Но древние действительно умели ставить такие вопросы, которые и сейчас настоятельно требуют ответа, несмотря на историческую ограниченность «полисной» (то есть присущей только полису — древнегреческому городу-государству) идеологии тех, кто их поставил впервые.

Откройте диалог Платона «Горгий», или, как гласит старинный, но уже Платону не принадлежащий подзаголовок «О красноречии». Сократ, учитель Платона, встречается со знаменитым оратором Горгием и расспрашивает его, в чем суть и сила красноречия. Как и следовало ожидать, Горгий оказывается беспомощен перед Сократовой диалектикой и не может дать дельного определения. В разговор вмешивается другой ритор, Пол. Он упрекает Сократа в том, что тот нарочно запутал Горгия. Но Сократ, с готовностью возобновив исследование с самого начала, легко показывает, что красноречие — не искусство, а навык, точнее — льстивое угодничество, ничем по сути своей не отличающееся от кулинарии, только кулинария угождает делу, а красноречие — душе. Здесь нить беседы подхватывает молодой афинянин Калликл, ученик Горгия, оратор-политик. Красноречие необходимо, утверждает он, потому что оно — дорога к власти и силе, а политика — единственное занятие, достойное мужчины. Спор продолжается...

Казалось бы, какое имеет всё это отношение к заботам сегодняшнего дня? Что нам до красноречия, давно потерявшего всю свою силу и влияние не только в политике или в судах, но и во всех прочих областях человеческой деятельности, не исключая и литературы? и не всё ли наравно, было ли древнее красноречие искусством или «навыком»? Нам вполне понятно, что всё это живо занимало современников Платона, граждан города-государства, где умение говорить с народом нередко решало, кому вести за собой народ, быть вожаком народа — демагогом, если вспомнить греческое слово в первоначальном его

значении. Проблема, по-видимому, специфически полисная и к нашему веку касательства не имеющая.

Однако вчитайтесь в этот диалог — и очень скоро вы почувствуете, как этот далекий и специфический предмет вдруг начинает волновать и задевать вас. Потому что не в красноречии здесь суть, не столько о нем идет здесь речь, сколько о том, как надо жить, в чём долг человека перед жизнью и перед собою самим. Иными словами, Платон говорит о самом главном, насущном и неотложном. Чтобы показать, насколько остра и увлекательна мысль Платона, я приведу часть монолога Калликла, в котором он излагает свое *credo*. Отвечая на возражение Сократа, что власть, приобретенная с помощью красноречия, мнима (ибо красноречие — это по сути вещей обман), а стало быть, несправедлива, а если несправедлива, то непричастна благу, и, значит, не способна дать счастье своему обладателю, Калликл, этот древний имморалист, говорит:

По-моему, законы <...> устанавливают бессильные, а их большинство <...> Стараюсь запугать более сильных, тех, кто способен возвыситься, боясь, как бы те и вправду не возвысились над ними, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость — в стремлении подняться выше прочих <...>

Но сама природа, я думаю, вещает, что это справедливо — когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду, и у животных, и у людей — если взглянуть на государства и племена, — видно, что признак справедливости таков: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого. По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его отец — на скифов?.. Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою природою права и — клянусь Зевсом! — в согласии с законом самой природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и

решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и усмиряем наговорами и ворожбою, внушая, что все должны быть равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен — он освободится, втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы, и явится перед нами владыкою, бывший наш раб, — вот тогда-то и просияет справедливость природы!

Калликл последователен и отважен, он не боится самых крайних выводов из «права сильного», которое провозглашает. Именно потому так сокрушительна и полна Сократова критика этого «права» (несмотря на упорство Калликла, не скрывающего своего презрения к Сократу, которого он считает либо лицемером, либо, скорее, прекраснодушным болтуном). Сократ легко «сбивает» Калликла, который даже не способен объяснить толком, что понимает под «силою» и «сильным». Обнаруживается, что знаток государственной политики, будущий государственный муж не умеет отличить добро от зла. Мало того, выясняется, что не только юный Калликл, но и великие государственные деятели великого афинского прошлого, такие, как Фемистокл или Перикл, не исполнили единственную свою задачу — сделать сограждан как можно лучше, но лишь потакавали желаниям сограждан (или собственным желаниям), не заботясь о том, насколько эти желания здравы и справедливы. И нет ничего удивительного в том, что афиняне оплачивали своим вожакам черной неблагодарностью — присуждали их под конец карьеры к громадным штрафам, к изгнанию и даже к смерти. Будь они действительно хорошими политиками, «никогда б не случилось с ними ничего подобного. Так не бывает, чтобы хороший возничий сперва не падал с колесницы, а потом, когда выходит коней и сам станет опытнее, тогда бы вдруг



начал падать. Не бывает так ни в управлении колесницей, ни в любом ином деле».

Платон отстаивает необходимость твердых нравственных основ человеческого общежития, без которых — смерть обществу, категорически отвергает тактику минутных выгод, предающую капитальные, вечные принципы. Его позиция отлично сформулирована новейшим издателем «Горгия» оксфордским профессором Доддсом:

Большую часть жизни Платона исчезнувший мир Перикловой демократии был для его воображения не менее реален, чем тот мир, в котором он жил и работал... Сперва он, вероятно, оглядывался назад с тем же простым чувством сожаления, что испытывали люди двадцатых годов нашего века, вспоминая мир, каким они его знали до 1914 года... Но к тому времени, когда восстановленная демократия справила свое десятилетие, сентиментальная грусть у многих афинян начала перерождаться в прямое честолюбие. Экономически Афины опять твердо стояли на ногах. Длинные стены были отстроены заново, и Конон, словно другой Фемистокл, создал новый афинский флот. Не доживем ли мы до того дня, когда увидим воскресшей Периклову «архэ»<sup>13</sup>?

Такие вопросы заставляли Платона более глубоко, чем прежде, размышлять о причинах, вызвавших материальное и духовное крушение Перикловых Афин... Он отказывается возложить всю вину на поколение Алкивиада<sup>14</sup> или промахи и просчеты одной из политических партий. Главная

---

<sup>13</sup> Державу (*греч.*).

<sup>14</sup> Алкивиад — государственный деятель и полководец времен Пелопоннесской войны (431 — 404 гг. до н. э.), положившей конец могуществу Афин. На протяжении войны Алкивиад несколько раз переходил от одной враждующей стороны к другой, и вину за эти измены афиняне возлагали на Сократа (как и Платон, Алкивиад был его учеником), якобы оказывавшего тлетворное влияние на молодежь.

ответственность, по мнению Платона, лежит на самом Перикле и тех его предшественниках, которые подготовили Периклово общество, практически — на всем V веке в целом, создавшем свое представление о задачах государственного деятеля... То, на что нападает в «Горгии» Платон, — это всё жизненное устройство общества, измеряющего свою «мощь» числом кораблей, в гаванях и долларов в казне, а свое «благоденствие» — уровнем жизни граждан. Таким обществом, утверждает Платон, были Перикловы Афины: извращенность основных его принципов привела к гибели все учреждения этого общества — не только социальные и политические, но и музыкальные и театральные...

История доказала правоту Платона. Теперь мы видим достаточно ясно, что 404 год (год окончания Пелопоннесской войны. — *Ш. М.*) был концом века и что перевести часы назад было невозможно... Вдобавок мы убедились на опыте: по мере того, как расшатываются традиционные моральные нормы, всё более ненадежными становятся и устои демократии; в отличие даже от наших отцов мы сегодня в состоянии подтвердить Платонов анализ процесса, в котором разложение демократии открывает путь к тирании».

Особенно примечательна прямая связь инвектив Калликла против «морали рабов» с проповедью Ницше. Конечно, прямолинейно выводить Ницше из Платона было бы такой же фальсификацией и глупостью, как выводить германский национал-социализм из Ницше. Однако верно говорит профессор Доддс: «По странной иронии истории, изложение идей, которые Платон надеялся разрушить, способствовало возрождению тех же самых идей в наши дни; в некоторых аспектах своей мысли Ницше был незаконным и нежеланным отпрыском Платона, точно так же, как нацистам предстояло стать незаконными и нежеланными отпрысками Ницше». И иные терминологические совпадения до крайности любопытны. Например, знаменитая «белокурая bestия» — один из расхожих символов ницшеанского иррационализма. На самом деле это. вовсе не «bestия»,

а «зверь», и в родстве она вовсе не с тевтонами, как хотелось бы нацистам, а с Калликловым львенком, которого общество старается приручить и выдрессировать.

Существует мнение, будто «Горгий» — самый «современный» из диалогов Платона. Мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к остальному его творчеству. Не менее современно, к примеру, звучит разговор Сократа с Законами и диалог «Критон» — о долге гражданина подчиняться сознательно принятым на себя гражданским обязательствам.

Банальность, прописная истина полисной морали?

Но прочитайте этот разговор с Законами: здесь и не пахнет примитивностью, слепой, нерассуждающей верностью заветам предков. Здесь речь идет об индивидуальном договоре гражданина с государством и, стало быть, о свободе выбора, на основе которой закон только и обретает право требовать от гражданина подлинной ответственности за свои поступки. А это ли не одна из самых мучительных и тревожных проблем нашего века?

Или проблема ценности слова и его инфляции. В диалоге «Федон», повествующем о последних часах жизни Сократа, когда искомое доказательство, по-видимому, уже найдено (Сократ убеждает своих друзей, что ему нечего страшиться смерти, потому что душа не умирает, а душу истинного философа ждет за гробом блаженство), вдруг выдвигаются новые доводы в пользу утверждения, что душа смертна, на первый взгляд — очень сильные. Участники беседы удручены: «... прежние доводы полностью нас убедили, а тут мы снова испытывали замешательство и были полны недоверия не только к сказанному прежде, но и к тому, что нам еще предстояло услышать». И вот, подметив это, Сократ произносит свое знаменитое предупреждение против «мисологии» — «словоненавистничества», сравнивая его с человеконенавистничеством и утверждая, что нет большей беды, чем ненависть ко всякому слову и рассуждению. Как и ненависть к людям, она бывает следствием чрезмерной доверчивости и последующих разочарований, но

повинна в этом наша собственная неопытность, то, что мы приступаем к словам (или к людям), не владея искусством их распознавать, и было бы печально, если бы, «узнав истинное, надежное и доступное для мысли доказательство, а затем, встретившись с доводами такого рода, что иной раз они представляются истинными, а иной раз ложными, мы стали бы винить не себя самих и не свою неискренность, но от досады охотно свалили бы собственную вину на доказательства в целом и впредь, до конца дней, упорно ненавидели бы и поносили всякое рассуждение, лишив себя истинного знания о вещах».

Разве только к афинянам, сбитым с толку хитроумием и беспринципностью лжемудрецов и уже всякую мудрость полагающим за шарлатанство, обращен этот призыв хранить мужество и здравомыслие? Новая «мисология» — или, выражаясь более современно, «идеологический вакуум» — так же опасна для своего общества, как древняя для своего. Всегда находятся Калликлы, которые умеют ею воспользоваться, в особенности если они не так прямолинейны и откровенны, как платоновский герой, а иногда и напротив — благодаря грубой прямолинейности. Поле для их деятельности открыто, и нива щедро удобрена: бедствия последней войны, ошеломляющая, сбивающая с толку запутанность послевоенного развития основательно подорвали в современном мире доверие к разуму, веру в силу всякой мысли, кроме естественнонаучной и практически приложимой, — всё остальное кажется уже только словами, пустым умствованием или своекорыстной демагогией. Сократовы поучения способствуют ясному пониманию природы болезни, а ясное понимание — уже пробоина в пакостной скорлупе воинствующего антиинтеллектуализма.

Труднее всего, разумеется, описывать то, что воспринимаешь непосредственно, интуитивно — радость эстетического переживания. И здесь, на мой взгляд, не менее, чем ассоциации по сходству, существенны и ассоциации по контрасту. К числу

последних принадлежит и различие в отношении художника — античного и современного — к изображаемому объекту.

Современный писатель, как правило, противостоит своему материалу, организует и подчиняет его, постоянно чувствует и преодолевает его сопротивление. И чем резче это противостояние, тем отчетливее, заметнее эта борьба, тем меньше старается художник скрыть ее от чужих глаз, а нередко и демонстративно выставляет это сопротивление материала на всеобщий обзор. Античный писатель (тоже, как правило) еще не знает, не чувствует такого «сопротивления». На самой ранней стадии, у Гомера, субъект еще не противопоставлен объекту, человек — ни обществу, ни даже природе: так ребенок долго не сознает противоположности «Я» и «не-Я». В дальнейшем органическое ощущение единства слабеет, но никогда до самого конца античной традиции не исчезает вовсе (не в этом ли грань или, вернее, одна из граней, разделяющая сосуществующие хронологически позднеантичную и раннехристианскую литературы?). Это придает античности произведению неповторимую целостность, которую ни с чем не спутаешь, и которая влечет нас и радует — по контрасту. Хочется верить, что наше чувство хотя бы отдаленно напоминает то, какое испытывал древний художник, радуясь своей работе и своему успеху.

Проходя по залам Национального музея древностей в Афинах и глядя на каменных «курсов» (так искусствоведы называют изваяния юношей в рост, относящиеся к VII и VI векам до н. э.) или на поразительного бронзового «Курса из Пирея», на их сдержанную, скованную мощь и незабываемую улыбку, — уж верно, она казалась «диавольской» юному христианству, — а потом, поднявшись на второй этаж и останавливаясь у каждой вазы, у каждой статуэтки, думаешь о том, с какой свободой и беззаботностью, с каким мудрым забвением повседневных тягот и тревог, с каким юным доверием к будущему и уверенностью в нем воспринимал мир древний художник.

Потому-то и улыбаются губы, потому так широко открыты глаза — с любопытством ко всему на свете, с достоинством и спокойствием, которые чудесным образом сочетаются с экспрессией, смелой выразительностью движений в вереницах людей и животных.

Другой контраст можно было бы назвать контрастом произвольной симметрии и нарочитой асимметричности. Новое время зачастую избегает равновесия, строгой согласованности частей, тяготеет к угловатости, умышленно резким поворотам, сдвигам. У многих древних писателей ученые, как известно, открыли так называемый геометрический стиль композиции: произведение делится на части, симметричные относительно некоторых осей, образуются сложные структурные единства, зеркально отражающие друг друга, и т. д. Подобная композиция у Гомера или Эсхила, конечно, результат не сложного расчета, и врожденного чувства меры: вернее всего, авторы и не подозревали о собственном геометризме. Обратимся снова к «Федону». (Платон, один из крупнейших мыслителей Древней Греции, первый их философов, чьи труды сохранились и дошли до нас в цельном виде, несравненный мастер диалектики в первоначальном значении этого слова, то есть искусства вести рассуждение, вскрывая противоречия и в доводах собеседника, и в самом предмете исследования, — Платон был вместе с тем великим писателем, и его сочинения столько же принадлежат истории литературы, сколько истории философии.) Нельзя не заметить благородного изящества, с которым «сконструирован» диалог: разделение беседы на внутренние и взаимно уравновешенные отрезки: «интерлюдия» посередине (уже упоминавшийся выше разговор о ненависти к слову), позволяющая отдохнуть, чтобы со свежими силами и обостренным вниманием приступить к самой трудной и сложной части доказательства — опровержению новых контрдоводов; точная постановка мифа о загробной участи душ, который венчает целое и вместе с тем доставляет второй отдых —

перед трагической развязкой (описанием кончины Сократа). Тут симметрию не надо открывать, как у Гомера и Эсхила, — она открыта и видна всякому. И любопытно, что современный вкус не мешает ощутить прелесть «Федона» и насладиться ею.

Та же прелесть природной, непридуманной соразмерности — и в архаической керамике, и в облике новых Афин. Когда смотришь на город сверху, с бельведера на Акрополе, с холмов Филопаппа или Ликавитта, приходят на память слова комедиографа Лисиппа — младшего современника Аристофана, — известного на лишь по имени до по нескольким кратким фрагментам:

*Чурбан ты, брат, коли Афин не видывал;*

*Осел, коль, увидав, остался холоден.*

*Верблюду, коли увидел — и умчался прочь.*

(Перевел С. Аверинцев)

Но мы-то смотрим не на древние храмы, портики и лестницы, которыми так темпераментно призывает любоваться древний поэт, мы смотрим на город, который еще сто лет назад был жалкой деревушкой у подножья знаменитых развалин. Едва ли кто назовет архитектуру нынешних Афин несовершенной, отсталой, провинциальной, скучной. Напротив, бывалые путешественники, объездившие чуть ли не полмира, восхищаются ею без каких был то ни было скидок и оговорок. А если так, то, может быть, и вообще античные эстетические традиции совместимы с современностью не только как контрастное противопоставление, но и как живой стимул творчества? Однако это уже иная тема.

В узкой улочке, заставленной старыми домами, лежит одна из многих «древностей» Афин — так называемая библиотека Адриана. Это сооружение времен римского владычества в Греции и потому оберегается куда менее тщательно, чем греческая

старина: вход бесплатный от восхода до заката, у ворот нет киоска с билетером, контролером и сплошными рядами памятных открыток и буклетов. Просторный двор метра на полтора ниже уровня улицы: «древность» хоть и римская, но за тысячу девятьсот лет успела уйти глубоко в землю. Колонны, обломки колонн, ряды каменной кладки. Я сижу на какой-то стертой ступени. Девятый час утра. Первое октября 1965 года — последний мой день в Греции и первый день школьных занятий. В двери, выходящей прямо на Библиотеку, появляется мальчишка лет одиннадцати и бегом пересекает двор, не замечая ни меня, ни тем более ветхих желтых камней, тысячу раз виденных и таких же привычных, как старый стол в кухне. Что ему до туриста, примостившегося на каменной ступени, до его восхищения этими камнями и этой страной, до самих камней, которых здесь так много, почти без числа? У мальчишки свои заботы — школа, свидание с приятелями после долгой летней разлуки, несколько менее приятное, надо полагать, свидание с учителями. Он не думает о древней земле, на которой живет, он просто живет на ней, наследник и преемник всего, что было здесь создано и совершено.

Но разве мой сын, бегущий в школу Большим Харитоньевским переулком, не сонаследник ему, не сопреемник? Быть может, ни тот, ни другой за целую жизнь ни разу не задумается всерьез о том, что значат для него — не для мира, не для истории, а именно и только для него — Гомер, или архаическая скульптура, или Сократ, или рыночная площадь древнего Коринфа с ораторским возвышением, откуда, как гласит предание, говорил с коринфянами апостол Павел. Вполне возможно. Но наследники — оба, потому что для обоих эта старина родная и живая, и оба вправе притязать на нее как на свое законное достояние.





«ГОСПОДЬ — СИЛА МОЯ И ПЕСНЬ...»<sup>15</sup>

**Н**ет в еврейском Священном Писании книги более охристианившейся, чем «Псалтирь». И по числу ссылок на нее на всех уровнях — от отцов и учителей церкви, богословов всех времен и исповеданий, до скромной проповеди немудреного приходского священника. И по числу толкований, изъяснений, парфразов, никогда не иссякавших, даже в те времена, когда знакомство с Писанием — непосредственная встреча мирян и рядового духовенства с источниками их веры и религии — отнюдь не поощрялось. И по месту, которое псалмы заняли в богослужении; достаточно напомнить, что в русской православной церкви они входят в состав любого, даже самого краткого чина службы, что «Псалтирь» прочитывается целиком каждую неделю церковного года. И по значению ее в старинной системе образования: в старой Руси (чтобы не ходить за примерами далеко) она была главным «учебником», по ней учились читать, а научившись, часто не расставались с нею ни при каких обстоятельствах, до конца дней. И, наконец, по вкладу ее в культуру и цивилизацию всех христианских народов. Опять-таки не станем искать примеров далеко, ни умножать их сверх меры и без нужды. Немалое число русских крылатых слов и выражений выпорхнуло из книги, приписываемой царю Давиду, да так далеко улетело, что родимое гнездо оказалось начисто забытым. Кто помнит сегодня, что «ложь во спасение» восходит к

---

<sup>15</sup> Предисловие // Книга Псалмов (Псалтирь). Восточная литература, РАН, М., Школа-Пресс, 1994. С. 5–16. Первая короткая версия: «Господь — сила моя и песнь...» // Континент 74 (1992), С. 255–264. Исправленная после публикации версия. (*Примечание Ж. Х.*)

неверно понятому стиху 17 из псалма 32<sup>16</sup> в церковнославянском переводе: «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своя не спасется»? (В общеизвестном и общепринятом русском переводе — в так называемой Синодальной Библии — стих этот звучит так: «Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею».) И переложения псалмов, вольные вариации в стихах — вся русская поэзия XVIII в. (с заходом в XIX, по крайней мере, вплоть до Мая) не просто сверкает ими, но дышит. Эту нить русской стихотворной культуры возобновляет и ведет далее работа Наума Гребнева.

Все это сказано для того, чтобы подчеркнуть: о псалмах можно судить с самых различных точек зрения, жесткий выбор и самоограничение неизбежны. В этой статье речь пойдет преимущественно о двух вещах: чем были и (в меньшей мере) остаются псалмы на языке оригинала, у народа, который их создал; псалмы как явление поэзии (слово «памятник» решительно не годится!).

Начнем с названия.

Русское (и вошедшее в международную лексику) «псалом» происходит от греческого *псалмос* — «песня», исполняемая под аккомпанемент струнного инструмента; греческий же термин есть, по всей видимости, перевод еврейского *мизмор*, которое повторяется в заголовках более чем третьей части всех псалмов, составивших «Псалтирь». Заглавие сборника по-русски более или менее точная фонетическая транспозиция греческого (в средневековом произношении) *псалтирьон* — названия того музыкального инструмента, в сопровождении которого пели *псалмой*; заглавие это вошло в употребление не позже V в. христианской эры. К тому времени у евреев, однако, уже возникло и закрепилось иное заглавие — «Книга Восхвалений»

---

<sup>16</sup> По нумерации, традиционной для христиан; о различиях в нумерации псалмов см. далее.

(*Сефер Теһилим*). Русскому читателю будет легче «почувствовать», что это значит, если он узнает, что *теһилим* — одного корня с хорошо знакомым ему «аллилуйа» (*һалелу-йа* — «восхваляйте Бога»); этот возглас, по всей очевидности обращенный к молящимся, среди всех библейских текстов встречается только в псалмах. Но тут же мы встречаемся и с первыми недоумениями, с первыми трудностями.

Любой из тех, кто заглядывал в «Псалтирь», помнит, что хвалы Всевышнему — совсем не единственное ее содержание. Вероятно, самая известная, а точнее сказать — наименее оспариваемая попытка классифицировать псалмы по содержанию принадлежит немецкому богослову-библеисту Иоганну Фридриху-Герману Гункелю (1862–1932). Он наметил пять основных категорий:

1. Гимны, т. е. песни восхваления в собственном смысле слова, прославляющие и призывающие прославлять Бога во всех его проявлениях и творениях; особо выделяется группа гимнов, посвященных святому городу (Иерусалиму) и святой горе (Сиону), которые Бог избрал местом своего пребывания (Храм). Эта категория численно самая значительная, что и оправдывает традиционное еврейское заглавие сборника.

2. Плачи коллективные: сетования, вызванные кризисной ситуацией общины или нации, и взывания к Богу о помощи.

3. Плачи индивидуальные: жалобы на муки, очень часто заверения в невиновности, очень часто надежда и даже уверенность, что жалоба будет услышана и справедливость восстановлена. Плачей индивидуальных гораздо больше, чем коллективных.

4. Песни благодарения, в подавляющем большинстве индивидуальные, но есть и несколько коллективных; соединяя описание бедствия с хвалами Богу за счастливое избавление, они как бы синтезируют плач и гимн.

5. Царские псалмы, изображающие ту или иную ситуацию из жизни царя земного, царя евреев: восшествие на престол, свадьбу и т. д.

(Внимательный читатель легко убедится в несовершенстве этой классификации, но ведь любая схема несовершенна.)

Гункель считал, что все намеченные им категории псалмов имеют культовое происхождение и применялись в храмовом богослужении. Но когда? каким образом? в каком качестве? как приспособляли древние тексты к новым обстоятельствам (например, царские псалмы в период, когда не стало монархии)? Сколько-нибудь точных ответов нет, есть только предположения, основывающиеся на свидетельствах различных книг Библии (частично — сравнительно поздних, например «Хроника» или «Хроники», в русской традиции две «Книги Паралипоменон», датируемые современной библейской критикой IV или даже III в. до христианской эры) и на археологических находках, особенно на дешифровке клинописных «библиотек». Попробуем как-то обобщить эти предположения.

Обычай торжественных песнопений в честь божества и его святилища, равно как и плачей, покаянных и благодарственных молитв, существовал и в Египте, и в Месопотамии, и в древнем Ханаане во втором тысячелетии до христианской эры; следовательно, едва ли можно приписывать евреям «открытие» псалма как поэтического и религиозного жанра. Но уже в древнейших, по суждению библеистов, частях Писания встречаются, так сказать, псалмообразные вкрапления («Песнь Моисея и сынов Израилевых» после перехода через Черное море — «Исход», 15, 1–21; «Песнь Деворы и Варака» — «Книга Судей», 5). И — также по суждению библеистов — можно в целом доверять разбросанным по «Хроникам» сведениям о том, что регулярную службу певцов и музыкантов при Ковчеге Завета установил царь Давид в первой трети X в. до христианской эры. Во все существование Первого Храма, от построения его при сыне Давида, Соломоне

(965–928 гг. до хр. э.), до разрушения вавилонянами (586 г. до хр. э.), священные обряды сопровождалось пением и струнным аккомпанементом; храмовые музыканты и певчие объединялись в некое подобие корпораций, учрежденных, возможно, еще самим Давидом; все они были левиты, т. е. Принадлежали к колену (племени) Леви, исполнявшему низшие священнические функции при Храме. Их потомки, вернувшиеся из Вавилонского пленения, продолжали деятельность своих предков во Втором Храме (516 г. до хр. э.–70 г. хр. э.). Иными словами, псалмопение было в принципе исключительным правом и обязанностью левитов. Однако еще до разрушения Второго Храма римлянами возникает синагогальная форма богослужения и в самой Земле Израиля, и в диаспоре, и псалмы становятся всеобщим молитвенным достоянием, составляя необходимую и неотъемлемую часть повседневных и праздничных служб. В дальнейшем роль их, удельный вес непрерывно возрастали во всех разновидностях ритуала (*нусах*), принятого той или иной общиной в рассеянии. И не только в синагогальной литургии, но и в любом несинагогальном обряде: молитва перед сном, перед дальней дорогой, погребение, освящение могильного камня и т. д. Псалмы неизменно включаются и во вновь возникающие молитвенные обряды, например по случаю Дня независимости Еврейского государства. Пожалуй, вся жизнь традиционного еврейства пронизана текстами «Псалтири».

Перейдем же к текстам.

Нет сомнения, что канонический корпус псалмов не вышел полностью из-под пера царя Давида, — если только, разумеется, речь не идет о читателе благочестивом, свято верующем Святому Преданию, закрепленному в Талмуде. Впрочем, в Талмуде нашла отражение и другая традиция, приписывающая авторство части псалмов праведникам, живущим до и после Давида. Эта последняя опирается на само Писание, на текст, где достаточно часто и совершенно однозначно говорится о разрушении

Храма и пленении, изгнании народа; с другой стороны, псалмы снабжены своего рода заголовками (в переложении Наума Гребнева они опущены), и около половины их — 73 псалма — упоминает Давида, но есть и заголовки с другими именами: Моисея, Соломона, нескольких храмовых певчих в правление как самого Давида, так и его преемников. Современная библеистика соглашается, что Давид действительно сыграл большую, быть может решающую, роль в истории еврейской религиозной лирики, что какие-то псалмы могут действительно принадлежать ему, но далее этого не идет. Что касается датировки, то тут мнения расходятся: некоторые ученые полагают, что, за крайне немногочисленными исключениями, псалмы сложены в глубокой древности (и тогда Давид выступает скорее в качестве собирателя, «редактора»), другие — что в них отражена вся история Израиля, вплоть до периода после Вавилонского пленения включительно. Временем канонизации сборника считают IV или даже V век до хр. э. Сохранность канонического текста признается сегодня достаточно удовлетворительной (и, следовательно, поправки и конъектуры, в обилии предлагавшиеся учеными прошлого века, — излишними). Высокий уровень сохранности подтверждается, в частности и в особенности, находками 40–60-х годов нашего века в Иудейской пустыне, так называемыми Свитками Мертвого моря, среди которых оказалось около трех десятков манускриптов «Псалтири».

Канонический текст состоит из 150 псалмов и разделен традицией на пять отделов («книг»). Нумерация псалмов у евреев (и следующих еврейской традиции протестантов) отличается от той, что принята у православных и католиков, восходящей к переводу Библии на греческий язык — древнейшему среди всех вообще переводов Писания (не позже II в. до хр. э.). Греческая версия, «Септуагинта», т. е. «Перевод семидесяти толковников» объединяет (9–10 и 114–115 номера оригинала, но зато разделяет надвое 116 и 147; таким образом, общее число псалмов оказывается одним и тем же. Как уже упоминалось, в

этой статье принята православно-католическая нумерация, которой следовал Наум Гребнев; вдобавок так будет удобнее и проще русскому читателю, который пожелает сопоставить переложения Гребнева с общераспространенным русским переводом в Синодальной Библии. Различия в нумерации объясняются, вероятно, тем, что в древности строго зафиксированного деления сборника на «главы» не существовало, что, кстати, подтверждается и рукописями; заголовками же снабжены не все псалмы. Отсюда возможность ошибок. Такой ошибкой следует полагать раздробление номеров 9–10 в оригинале: в совокупности они составляют алфавитный акростих.

«Книги» с I по IV (1–10, 41–71, 72–88, 89–105) завершаются особыми формулами благословения, обозначающими границу между «книгами». Есть достаточно доводов предполагать, что «книги» существовали первоначально в качестве отдельных сборников, а позже были сведены воедино. К числу доводов относится, в частности, то, что псалмы могут повторяться полностью или конгломератами стихов (например, пс. 13 из «книги» I = пс. 52 из «книги» II: или пс. 56. ст. 8–12 + пс. 59. ст. 7–14, оба из «книги» II, = пс. 107 из «книги» V; или то, что заключительный стих последнего псалма «книги» II гласит: «Кончились молитвы Давида, сына Иессея». Предполагается также, что две последние «книги», т. е. IV и V, составляют единый сборник и деление их носит искусственный характер; оно может быть объяснено стремлением представить «Псалтирь» как некую параллель Учению (Тора), т. е. Пятикнижию; во всяком случае, в начале старинного «Толкования па псалмы» (Мидраш теһилум) говорится: «Моисей дал Израилю пять книг Учения, Давид дал Израилю пять книг псалмов».



Чтобы понять, хотя бы приблизительно, как «сделаны» псалмы, разберем один из них — № 22 (23 по нумерации оригинала). Начнем со звучания подлинника в произношении сегодняшних израильтян (как звучала еврейская речь две с половиной, а то и три тысячи лет назад, вопрос слишком сложный):

1. Йеһовá ро'й ло эхсáр; мизмóр ледавíd

2. бин'óт дéше йарбицéйни ал-мей менухóт йенаһалéйни;

3. нафшй йешовéйв йанéейни бема'гелей-цéдек  
лемá'ан шмó;

4. гáм ки-эйлэх бегей цалмáвет  
ло-црá рá  
ки-атá имадй шивтéха умиш'антéха  
һéма йенахамуни;

5. та'арóх лефанáй шулхán  
нéгед цорерáй  
дишáнта вашéмен рошй  
коси ревайá;

6. ах тóв вахéсед йирдефуни  
кол-йемéй хайáй  
вешáвти бевéйт-йеһовá  
лебрех йамим.

(Транскрипция следует как еврейской графике и пунктуации — отсутствие прописных букв, отсутствие точек, — так и усвоенной современными изданиями разбивке на полустихия.)

Перевод, целиком сосредоточенный на передаче смысла:

*Песня Давида*

*1. Бог — мой пастух, я не буду терпеть нужду.*

*2. [Он] уложит меня на травянистом месте, приведет меня к тихим водам.*

*3. Освежит мою душу, поведет по путям справедливости во имя Свое.*

*4. Даже если я пойду долиной мрака, не буду бояться дурного, ибо Ты со мною, Твой посох и Твоя трость будут мне в утешение.*

*5. Ты накрыл для меня стол на виду у моих врагов, щедро помазал маслом мою голову, моя чаша полна сверх краев.*

*6. Лишь добро и милость будут мои спутники во все дни моей жизни, и я буду жить в доме Бога долгое время.*

Трудности понимания (и перевода) начинаются с того, что система времен глагола в языке Библии либо не до конца прояснена, либо вообще не поддается окончательному прояснению. Так или иначе, но весьма часто невозможно решить, идет ли речь о настоящем, о будущем или же об особом континууме, покрывающем и настоящее и будущее. В нашем случае два авторитетных перевода новейшей поры, латинский и французский, отдают предпочтение настоящему, один, английский, — будущему. Наш собственный выбор определен не столько громким именем и научной славою английского переводчика Митчелла Дахуда (его работа, в трех томах, вышла в 1966–1971), сколько непосредственным восприятием наследников и живых

носителей иврита, образованных израильтян, основательно начитанных в библейских и постбиблейских источниках.

Заголовок: точное значение его неизвестно. При отсутствии знаков препинания в рукописях ничто не препятствует поставить после первого слова точку: «Песня». Второе же слово может означать как «принадлежащая Давиду», т. е. сочиненная им, так и «связанная с Давидом» тем или иным образом: повествующая о нем, посвященная ему, написанная в его манере, положенная на его мелодию и т. д. Как уже говорилось, очень древняя традиция толкует *ледовид* в первом из двух смыслов.

Разноречий в толковании собственно текста столько, что придется ограничиться лишь примерами.

Стих 2. «Тихие воды», т. е. спокойные, небурные, могут быть поняты как «воды покоя, отдыха», т. е. источник, подле которого стадо располагается на отдых.

Стих 3. «Поведеет по путям справедливости» передает словосочетание, встречающееся в Библии всего один раз (гапак легоменон). Дахуд понимает его совершенно иначе: «приведет на богатые пастбища», чтобы соотнести с «травянистым местом» в предыдущем стихе (зачем ему такое соотнесение, будет выяснено далее).

Стих 4. «Долиной мрака» — «среди полной темноты». «Будут мне в утешение» — «вот они поведут меня».

И любое из различных осмыслений — никак не каприз и не фантазия, но результат филологического анализа, часто глубокого и изощренного, и ступенька к выводам, иногда далеко идущим. Только один пример. В стихе 6 *вешавти* оригинала может быть выведено из двух корней: *ЙШБ* со значением «сидеть», «пребывать» или же *ШВБ* со значением «возвращаться». В комментарии к псалмам, который вышел в Житомире в 1902 г. (на иврите) и принадлежал известному ориенталисту Цви-Перецу Хайесу, рассматриваются возможные варианты написания (конъектуры) и соответственно понимания; среди прочего

Хайес указывает: если принять значение «я вернусь в дом Бога», то речь должна идти о возвращении в Храм, откуда певца (или его предков) изгнали враги, и тогда, по суждению комментатора, псалом следует относить к эпохе Хасмонеев и борьбы с Селевкидами (II в. до хр. э.). Для современной библеистики, как уже упоминалось, эта дата неприемлема — слишком поздна.

Важнейший для перевода вопрос — о стилистическом уровне текста — неотделим от куда более широкой проблемы библейской поэзии в целом. Ее несхожесть с поэзией европейской и характеризующие ее особенности были по-настоящему обнаружены лишь в XVIII в., и только нынешнее столетие включило ее в систему родственных ей поэзии Ближнего Востока, в основном более древних и, по-видимому, впрямую на нее влиявших. Славным ритмообразующим элементом в ней (повторяющимся, противопоставляющимся, соотносящимся) выступают единицы смысла, а не формы — «отрезки» мысли, а не стоны или (и) икты, ударения. «Отрезки» — их называют по-разному, общепринятой терминологии, сколько можно судить, до сих пор не сложилось — складываются в разного рода параллельные конструкции.

Параллелизм может быть синонимическим:

*Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?*

*Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?*

(Псалом 26, стих 1; Синодальный перевод)

Может быть и антитегический параллелизм:

*Они зашатываются и упадут,*

*а мы подыдемся и станем твердо.*

(Псалом 19, стих 9)

Возможны и иные варианты, но эти два — наиболее наглядны. Параллелизм может быть полным (как в приведенных примерах) или частичным, когда число элементов в «отрезках» неодинаково или же — при равновеликости — не все имеют свою параллель. Он может быть прямым, как в первом из приведенных примеров, или перевернутым, хиастическим, как во втором.

Что касается системы стихосложения в европейском смысле, метрической организации стиха, то она упорно не поддается определению. Можно утверждать только, что библейский стих был акцентным, что равновеликие «отрезки» были достаточно часто и равноударными, с числом иктов от 2 до 4, в зависимости от длины «отрезка», и что преобладают скорее трехударные «отрезки». Но главным фактом остается метрическая нестабильность библейской поэзии.

И наконец, фонетическая организация библейского стиха. Она была развита в высокой степени — от простых аллитераций и ассонансов до сложной, изошренной, эффектной звукописи и даже созвучий в окончаниях «отрезков», хотя говорить о рифме в поэзии древнего еврейства не приходится. (Заметим кстати, что необоснованным, так сказать анахроническим, представляется и применение понятия строфы.)

Теперь вернемся к нашему псалму, начиная с конца — с фонетики и метрики. Сразу бросается в глаза, что стих 2 содержит «рифму», которая возвращается как внутренняя в стихе 3. Заметно также обилие аллитераций на «ш», рассыпанных по всему тексту. Обращают на себя внимание ассонансы «ей» («йе») и «ай» («йа»), сосредоточенные во вторых полустихиях. Одним словом, «инструментовка» кажется не случайной, но умышленной и целенаправленной. Распределение иктов почти регулярное (по три в долгих «отрезках», по два в коротких).

С параллелизмами, однако, все не так четко. Очевидный синонимический параллелизм представлен стихом 2. Есть комментаторы, которые видят в первой половине стиха 6 своего

рода резюме стихов 4 и 5, а во второй половине стиха 6 — резюме стихов 2 и 3. Тогда перед нами «макрохиазм», охватывающий все названные выше стихи. Это толкование, однако ж, выглядит чересчур смелым. Напротив, если согласиться с Дахудом в его понимании второго «отрезка» стиха 3 («приведет на богатые пастбища»), а доводы его отнюдь не легковесны, то возникает перевернутый синонимический параллелизм с первым «отрезком» стиха 2 («уложит меня на травянистом месте»).

Итак, стилистический уровень библейской поэзии, и в частности, псалмов. Она беспримерно (без сравнения — если воспользоваться церковнославянизмом) богата образностью — на этот счет существует общее согласие. Образы черпались из всех без изъятия сфер бытия, от самых возвышенных до самых низменных. И независимо от сферы образы всегда конкретны, наглядны, «вещны». Это связано с качествами — или, если взглянуть с противоположной точки зрения, слабостями — самого еврейского языка библейской эпохи, а именно со сравнительной бедностью его средствами выражения отвлеченных понятий и отношений. Отсюда — простота, пусть серьезная, важная, торжественная даже, но все-таки простота, в известном смысле заземленность библейского текста. А между тем и по-русски, и на других языках эти тексты взвились под стилистические небеса и при этом потеряли «вещность», обескровились. Тут действовал, по-видимому, главным образом психологический мотив: Священное Писание должно быть возвышенным, иначе какое же оно священное? Кстати, та же беда постигла и христианский канон, повествовательные его части (Четвероевангелие, Деяния Апостолов), греческий язык которых по-простонародному незамысловат, неуклюж, а случается, и неграмотен.

Проверим это на переводе нашего псалма в Синодальной Библии.

1. *Господь — Пастырь мой: я ни в чем не буду нуждаться.*

2. *Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим.*

3. *Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.*

4. *Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.*

5. *Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.*

6. *Так, благодать и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.*

И лексика, и даже синтаксис поражают безжизненностью, бесплотностью — по сравнению с оригиналом. Регулярно проведенная инверсия существительного и притяжательного местоимения; инверсия определяемого и определения («к водам тихим»); «в виду» в значении «на виду», «перед глазами»; «так» в значении «да», «точно»; и в первую голову лексические архаизмы — пастырь, покоит, злачные пажити, стези, убоюсь, жезл, трапеза, умастил елеем, преисполнена, благодать, пребуду — вся эта свержкнижность, чтобы не сказать замшелость, привнесена переводом.

Завершая на этом разбор псалма 22, необходимо отметить, что многое осталось даже незатронутым, в частности богословская экзегеза данного текста, довольно существенная как по объему, так и по мысли у евреев и христиан.

Ложная возвышенность тона прочно закреплена традицией, и литературной, и языковой, а стало быть, перестала быть

ложной. В этой традиции выполнены и стихотворные переложения Наума Гребнева, и выполнены, мне кажется, прекрасно. Тем более что, перелагая прозу Синодального перевода и сохраняя в целом его стилистический ключ, Гребнев пытается кое-где снизить тон — примешивает к архаизмам просторечье (вестимо, тыщи, одёжи и т. п.), вводит в число размеров дольник.

И все-таки хорошо было бы преодолеть традицию и приблизить русского читателя не только к русской же «Псалтири», но и к древнееврейским *теhilim*. Тогда, независимо от того, наделен ли он даром веры или нет, он лучше, совершеннее, полнее осознает и прочувствует, что значат слова псалмопевца, вынесенные в заглавие этой статьи: «Господь — сила моя и песнь» (Псалом 117, стих 14).

Женева, 1990 г.





## ИСТОРИЯ АРХИВА Ш. МАРКИША

Жужа Хетени

**Р**абота над архивом, можно сказать, началась еще при жизни Маркиша, с составления списка работ. В начале нашей общей жизни, в 1991 году обнаружилось, что самая свежая библиография Маркиша была составлена в 1983 году, в год его защиты в Сорбонне. Маркиш не особенно уважал, даже презирал бухгалтерию академической жизни, «автоадминистрацию» публикаций, ссылок и рецензий, в то же время он аккуратнo сохранял всё, что было этого достойно, вплоть до газетных вырезок, заметок и конспектов с данными и датами. Список 1983 года насчитывал 8 книг, 21 статью и 16 переводов — всего 45 наименований, и кончался строками:

Список не полон и не вполне точен, поскольку никакого архива у меня не осталось. Я не помню даже названия мелких рецензий, которые печат в разных журналах Москвы, в том числе — в «Новом мире». Я написал и напечатал не меньше 30 статей для второго издания «Большой Советской энциклопедии» и для «Краткой литературной энциклопедии». В Венгрии я напечатал большую статью о принципах перевода фольклора, но не помню ни названий, ни дат публикации.

Эти строки фигурируют и в конце французской версии. Неудивительно, ведь из России Маркиш уехал не с полной библиотекой — он не подозревал, что его мать и младший брат через два года уедут в Израиль, да и сам он вернется в Москву всего лишь раз (хоронить бабушку). Еще больший ущерб нанес

библиотеке переезд из Венгрии в Швейцарию, с ограниченным количеством вещей (официально всего на полгода, но фактически — с целью не возвращаться). В письмах и интервью (напр. отвечая Раисе Орловой на вопросы о самиздате, 1983) он вспоминает о документах, рукописях и книгах, которые остались у разведенной жены в Будапеште (они хранятся там до сих пор). Эти два переезда оставили свой след и на архиве, который после его смерти пострадал и в третий раз.

В 1991 году в составленном нами новом списке значилось 10 книг, 28 статей, и те же 16 переводов. Дальнейшие дополнения (1995–96 — перед годом во Флориде, 1999 — для досье проекта в Институт продвинутых исследований в Будапеште) вносились в ходе работы. Оказалось, что составленный мною наспех список, сопровождавший посвященные Маркишу некрологи в двух журналах («Иерусалимский журнал» и «Studia Slavica Hungarica») в 2004 году, тоже не был полным, хотя в него входило уже 19 книг (включая те, в которых Шимон Маркиш был редактором), 115 статей и 18 переводов. К этим примерно 150 наименованиям за последующие годы добавилось более 50 новых (на самом деле, немало и из старых, забытых).

В дополнении списка статьями из прошлого помогали и случайные события. В 1999 году здание нашего университета в Будапеште было возвращено государством католической церкви, и при переезде на новое место университетская библиотека первым делом решила избавиться от толстых журналов советского периода. В лихорадке спасательной акции я просматривала и вырезала (вырывала) пожелтевшие страницы с редкими публикациями, среди них находила и публикации Маркиша, про которые он и сам позабыл.

В том же 1999 году умерла венгерская переводчица, праведник мира и бывшая политзаключённая ГУЛАГа, Шара Кариг (Karig Sára), с которой Маркиш дружил с первого зарубежного визита (еще туристического, с группой рабочих) в Будапешт в 1960 году. Адрес Шары он получил от бывших заключённых.

Семья Кариг предложила нашей кафедре ту часть богатой русской библиотеки Шары, которая показалась им лишней. Весной 2000 года Маркиш здесь нашел свои старые книги и переводы с собственными дарственными надписями, памятниками его дружбы с Шарой. Таким образом его будапештская библиотека, привезенная в Будапешт в 1998 году<sup>1</sup>, значительно пополнилась авторскими экземплярами.

Новый переезд стал поводом для сортировки и упорядочивания личных бумаг. Научный архив остался в Женеве, переводы переехали в Будапешт. Маркиш не особенно хранил письма, но в Будапеште он сжег большинство переселенных писем. В огонь отправились все семейные письма и письма от друзей, за исключением тех, что бандеролью вернулись обратно к отправителям<sup>2</sup>. Фотографии неизменно возвращались тем, кто на них был изображен, — Маркиш не выбрасывал фотографии и, конечно же, не сжигал их. Из писем осталось десятка два — от сестры, от отца, от Александра Меня, от Ланна и от Слуцкого. Фотографий же — всего две коробки, с надписью «я», «семья» и «не я». С женевской половиной будапештская библиотека воссоединилась уже после смерти Маркиша.

Архиву тоже не повезло. После внезапной смерти Маркиша я осознала, что хоронить его следует в Израиле, ведь еще была жива его мать, ей шел 91-й год. Административных проблем с похоронами не было, у Маркиша было три гражданства: венгерское (с 1970 года), израильское (с 1975 года) и швейцарское (с 1997 года). Маркиш в годы после выхода на пенсию любил приговаривать, что «надо бросить все и поехать с одним чемоданом в Израиль», но каждый раз после поездок туда к семье (дважды в год, на еврейский новый год ранней осенью и на день рожде-

---

<sup>1</sup> Более 13 лет мы жили на два дома, вместе же провели семьей без перерыва три учебных года (1993–1994: в Женеве; 1995–1996: в США, а 1999–2000: в Будапеште).

<sup>2</sup> Некоторые деловые письма хранились в Женеве, в папках. Лишь намного позже выяснилось, что в 2004 году и они попали в Израиль.

ния матери в феврале), он возвращался с огромным вздохом облегчения: было ясно, что он не смог бы там жить. Но ему все менее охотно жилось где бы то ни было — Маркиш жил преподаванием, питался энергией общения, ему нужны были люди, широкий круг самых разных друзей. Суровая пенсионная система Швейцарии ограничивает возможность работы точным днем 65-летия, а университет после этого и знать не желает бывших коллег. Маркиш еще год охотно преподавал в США, принимал приглашения на конференции и лекции, но уже с угасающим интересом. Это его настроение чувствуется в никогда не публиковавшемся предисловии к не вышедшей книге (дата написания все тот же 1996 год выхода на пенсию). Это предисловие войдет в том 3 данной серии.

Название сборников собрания сочинений, «Непрошедшее прошлое», — единственно возможное название. В названии я была уверена уже в 2004 году, когда задумала сборники, потому что оно с начала 1990-х то и дело повторяется в его творчестве<sup>3</sup>. Такую «шапку» (как он называл) он дал разделу в мюнхенском «Еврейском журнале» (1991), поместил над своей статьей о письмах Найдича Грузенбергу (1992), и так же назвал серию передач о русско-еврейской литературе для «Радио Свобода» (1994). «Непрошедшее прошлое» можно считать основной, стержневой концепцией творчества Маркиша: как читатель может убедиться на основе его текстов, он рассматривал и античных авторов, и авторов эпохи Эразма как своих современников, в категориях современности.

Но вернемся к судьбе архива.

---

<sup>3</sup> Английский эквивалент названия «Непрошедшее прошлое» я сначала перевела как «Unfinished Past», затем я обнаружила в английской аннотации «Еврейского журнала» вариант, который он либо сделал сам, либо одобрил: «The Unvanished Past». Из бумаг вновь и вновь выныривают новые сведения, данные и фрагменты.

В 2004 году, накануне отъезда со съемной квартиры в Женеве приехал брат Маркиша. Было ясно, что место документов, связанных с отцом, Перецем Маркишем, и с бабушкой, у его матери<sup>4</sup>. Делить архив самого Маркиша не хотелось, ведь мы всегда работали параллельно и вместе, всегда делились материалами. Маркиш достаивал вниманием всех писателей, произведения и второй, и третьей линии — он искал в них ранние вариации принадлежности к двум культурам, феномену, в котором жил и он сам — иногда душевно раздвоенный, но умом и интеллектом всегда удвоенный.

При отъезде из пустевшей уже месяцами квартиры я отдала в Израиль многое, даже толком не просмотренное — под обещание, что документы вернутся ко мне либо в копии, либо в оригинале. С братом я отправила и около двадцати текстов для отбора материала в номер журнала, посвященного памяти Шимона Маркиша («Иерусалимский Журнал», № 18, 2004). В 2004 году я получила наскоро составленный список увезенного, а потом и бумажные копии машинописных передач для «Радио Свобода». Копии получились бледные, кривые и неполные. Потом я уже напрасно просила копии остальных материалов. Таким образом архив распался на две части.

Тем не менее, главные тексты были у меня на руках, и на их основании я составила план первого трехтомного издания, который в 2005 году предложила издательству «НЛО» на книжном фестивале в Будапеште. (В 2005 году Россия была почетным гостем фестиваля, на котором я выступала как переводчица свежеспеченного венгерского «Чонкина» В. Войновича, нашего с Маркишем приятеля.)

«НЛО» я считала самым престижным и самым «концептуальным» российским издательством того времени, к тому же первая длинная статья Маркиша (об Осипе Рабиновиче) вышла

---

<sup>4</sup> Впоследствии архив Переца Маркиша был продан в архив (Blavatnik Archive): <https://www.blavatnikarchive.org/search?id=50>.

именно в их журнале. Я получила устное согласие, но в первом же письме сотрудник издательства пояснил, что им нужен только один том и только по русско-еврейской литературе. Я выслала новую версию, и в том же 2005 году (приурочив поездку к конференции по истории восточноевропейского еврейства) отвезла в Москву всё, что у меня было из нужных им материалов. По договору я уступала авторские права бесплатно, и мне полагалось 50 экземпляров. Но дальше дело заглохло. Моя электронная почта показывает, что я писала им каждый год, договоры приходили в 2006, 2009, 2013 и 2014 году.

В 2014 году я поехала в Москву на конференции и заявила в издательство «НЛО». Оказалось, что издательство не меня назначает составителем тома (годами раньше уже составленного мной), и заказывает предисловие не у меня. Я была готова на компромисс, чтобы публикация наконец состоялась, однако поставила условие, что хочу одобрить это предисловие, а сама напишу послесловие. Я решила, что это, может быть, и к лучшему — чтобы это не был слишком близкий взгляд, чтобы это шло не от вдовы. Предисловие Леонида Кациса застало меня еще в Москве. Две треть его текста было составлено из тех писем Маркиша, которые были напечатаны в 2006 году нелегально, без моего разрешения<sup>5</sup>.

Метод использования писем (чтобы не сказать злоупотребления ими) как самых важных аргументов для демонстрации тезисов заслуживает внимания еще и в свете методов и принципов творчества Маркиша. Письма (и в этом мы с Маркишем были стопроцентно согласны) не являются частью творчества, и их научный анализ относится не к литературоведению, а к истории культуры и психологии. «Подлинная биография писателя

---

<sup>5</sup> Письма вышли в журнале «Лехаим», где мы с Маркишем печатались (спросить меня не составило бы труда). Они напечатаны в отрывках, произвольно выбранных адресатом, Марленом Коралловым, который в своем введении задается вопросом: «...как отнестся бы Шимон к короспелой публикации?» Сомнений нет, он бы ее не допустил.

— в том, что он написал для публики и опубликовал или намеревался опубликовать», — пишет Маркиш на второй странице своего эссе о Богрове (Третий отец-основатель, или «К чужим кострам». Григорий Богров, 2000). И то же самое он повторял в статье о Гроссмани: «подлинная биография писателя в том, что он написал и напечатал». Иначе говоря, и это я уже добавлю от себя, по всем, даже не очень хитрым нарратологическим правилам, письма о Шимоне Маркише отражают в первую очередь взгляд автора тех писем. Но первый раз и в наиболее развернутом виде о роли писем говорится в предисловии к книге «Знакомство с Эразмом из Роттердама»:

Теперь зададим себе вопрос, обязавшись ответить на него с полной искренностью и откровенностью. Если мы заинтересовались каким-нибудь писателем и решили с ним познакомиться, с чего должно начаться наше знакомство? С жизни писателя, с его друзей и врагов, истоков его творчества и влияния на последующие поколения или же с самого творчества, с книг, писем, высказываний, заметок? Облик полководца или путешественника складывается из того, что он совершил, из фактов его биографии; ими же определяется его значение для потомства. Но писатель — это, в первую очередь, то, что им создано; его биография привлекает наше внимание лишь постольку, поскольку оно уже привлечено творениями писателя. Мы можем удивляться «горестной жизни» Франсуа Вийона, или честолюбию Грибоедова, или служебной карьере Тютчева, мы можем восхищаться мужеством Хемингуэя или несокрушимостью рабочих привычек Томаса Манна, но все это приобретает свой подлинный смысл лишь в той мере, в какой соотносится с «Большим завещанием», «Горем от ума», «Silentium», «По ком звонит колокол», «Волшебной горой», в какой мере отвечает или противоречит единственной истинной биографии писателя — истории его творчества.



Я не одобрила предисловие еще и потому, что оно не выполняло свою роль, не было основано на его произведениях Маркиша, и показывало его несостоявшейся фигурой<sup>6</sup>. На этом и закончились переговоры с «НЛО».

Моя работа возобновилась в 2019 году. Похоронив близких, сузив круг своих академических и переводческих планов, выпустив монографию о Набокове, я опять взялась за архив и подала заявку на осуществление своих планов в Институт Продвинутого Исследования Центрально-европейского Университета<sup>7</sup>.

По разным случайным каналам до меня доходила информация, что какие-то материалы хранятся в каком-то израильском архиве. Это подтвердилось в переписке с немецким издательством, которое заинтересовалось рукописью уже вышедшей на французском языке книги, для перевода. Оригинал как раз застрял в Израиле. Я перенаправила немца к семье в Израиле. Он переслал мне полученный ответ: посмотрят в архиве, куда сданы все материалы. Это стало подтверждением того, что все, что мне полагалось бы получить обратно, лежит в архиве.

Я пошла на сайт Национальной библиотеки Израиля и написала письмо на английском на все доступные адреса сотрудников и на общий центральный адрес<sup>8</sup>. По прошествии нескольких недель пришел ответ (причем на венгерском!). Мол, то, что

---

<sup>6</sup> Как выяснилось в 2020 году, текст этого предисловия вошел в нелегально изданную книгу из текстов Маркиша без разрешения, и даже вопреки моего отказа, да и без указания наследника прав (Оренбург, 2020). Историю и мою рецензию 18 февраля 2021 года см. <https://www.colta.ru/articles/literature/26649-zhuzha-heteni-piratskoe-izdanie-teksty-shimon-markish>.

<sup>7</sup> <https://ias.ceu.edu/people/zsuzsa-hetenyi>. Вместо гранта я получила кабинет и ассистента на 5 недель, в связи с чем окончательно улетучились надежды на финансирование бумажного издания.

<sup>8</sup> На сайте в красной полосе было написано, что библиотека закрыта (нет, не по причине пандемии), а «по политическим и финансовым причинам» (август 2020 года). Из англоязычной печати я узнала, что библиотека в тяжелом положении, уволены сотрудники. Среди них, вероятно, было немало моих адресатов.

вы ищите, не у нас, но скоро вам напишет сотрудник, ответственный за архив. Тем временем я начала поиск в каталоге, и стали появляться, выныривать из забвения те названия и статьи, которых я не видела уже 16 лет. Ответственный за архив, Анастасия Глазанова мгновенно поняла ситуацию. На основе моего свидетельства о наследии с заверенным переводом она поставила на архив Маркиша гриф «авторские права охраняются». Я получила опись. Стало понятно, что почти все, что было увезено из Женевы в 2004 году, лежит сейчас у них. Но в пандемию поездка исключена. Глазанова многократно оказывала мне помощь в сканировании и отправке нужных материалов — за что я выражаю ей свою искреннюю благодарность. Вероятно, рано или поздно нужно будет присоединить к этим бумагам и остальное: архив Шимона Маркиша окажется в Израильском национальном фонде в хороших руках. (Его библиотека в Будапеште, у меня, а половина раздарена, частично в Центрально-Европейскому Университету, частично — в Институту иудаики будапештского университета ELTE, частично — библиотеке Еврейской теологии ORZSE (Jewish Theological Seminary, University of Jewish Studies).

Я получала помощь от разных библиотек в поиске и сканировании материалов, знакомых мне лишь по библиографии, по данным. Я обязана Библиотеке Иностранных Языков и ELTE в Будапеште, сотрудникам ИМЛИ и Общества «Мемориал», редакции «Вопросов литературы» за копии материалов, и также сайту Colta за публикацию статьи о судьбе архива.

Я выражаю свою искреннюю благодарность Леониду Межибожскому, который давал советы по оформлению книг вместе с Андреем Никитиным-Перенским, который и принял публикацию собрания сочинений Маркиша в свою уникальную книжную коллекцию в интернете литературы русской эмиграции «Вторая литература»/ImWerden.



## ШИМОН МАРКИШ

### Краткая биография

**Ш**имон Маркиш родился 6 марта 1931 году в Баку, рос и воспитывался в Москве.

Отец — Перец Маркиш (1895–1952), поэт на идиш, расстрелян в последнем сталинском процессе, завершившем «антикосмополитическую» кампанию и уничтожающем еврейских деятелей культуры. Мать — Эстер Лазебникова (1912–2010).

Войну семья провела в эвакуации с другими писательскими семьями в Чистополе и Ташкенте (1941–1943).

Маркиш записался в МГУ на английское отделение. После ареста отца не мог остаться на престижной специальности, перевелся на классическую филологию. Преподаватели, главным образом Сергей Иванович Соболевский, профессор старого поколения (ему было за 90), сразу заметили в нем талант.

Учебу прервала ссылка — семья, не имевшая вестей об отце, была арестована и отправлена в тюремных вагонах этапом в Среднюю Азию, в Казахстан (Кзыл-Орда) в январе 1953 г. За неделю до ареста Маркиш в ускоренном процессе защитил свою диссертацию об Апулее, но диплома не получил. В ссылке он работал кладовщиком, а с изменением положения после смерти Сталина преподавал в школе самые разные предметы.

Маркиш вернулся в Москву летом 1954 года, женился, у него родился сын.

Получив диплом тем же летом, начал работать переводчиком в Государственном издательстве художественной литературы (1956–1962). Переводил в первую очередь с греческого и латинского, но и с английского, немецкого, иногда под чужим

именем. В 1962 году его приняли в Союз советских писателей (с рекомендацией Анны Ахматовой), и стал «свободным» переводчиком (как он писал в биографии, «фриланс»). Между 1958 и 1970 годами был соредактором серии книг по теории художественного перевода «Мастерство перевода».

В 1970 году женился на венгерке, в августе переехал в Венгрию, и сразу сменил гражданство. Работал над темой «Эразм и еврейство». Перевел том венгерских народных сказок. Вступил в Венгерский филиал Клуба Пэн (Pen Club). Родился второй сын. Работы не нашел, поэтому не получил паспорта и не мог выехать из страны, повидаться с матерью, эмигрировавшей в Израиль в ноябре 1972 года после долгого ожидания разрешения на выезд. В 1973 году Маркиш поехал в Москву, похоронить бабушку, чтобы больше никогда не возвращаться в Россию. Устроившись с помощью Дюла Ортутай (фольклориста и политика культуры) на работу «без зарплаты» в Институте литературоведения Венгерской Академии Наук, он мог получить паспорт и поехать в Париж, где уже обсуждались планы о его переезде на Запад.

Через парижских знакомых он скоро получил приглашение на работу в основанное тогда русское отделение Женевского университета. С трудом получил разрешение на выезд на один учебный год, приехал в Женеву вместо сентября 1973 года в феврале 1974 году, с опозданием на семестр, с визой до лета. По истечении паспорта не вернулся в Венгрию, стал невозвращенцем. Жена с сыном не поехали за ним.

Маркиш работал в Женеве 22 года, вплоть до пенсии (1996).

Получил израильский паспорт в 1975 году. В 1982 году женился в третий раз.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русско-еврейская литература» в Сорбонне (Нантерр, Париж X).

В 1983 году преподавал один семестр в Университете Колгейт (Colgate University, Hamilton, New York).

В 1987 году был приглашен в качестве старшего исследователя в Исследовательский институт Еврейского университета в Иерусалиме на 3 месяца, работал в архиве Жаботинского.

Между 1991 и 1993 годами был соредактором «Еврейского журнала» (Мюнхен).

С 1991 года жил попеременно в Женеве и Будапеште с четвертой женой, Жужей Хетени.

В 1995 г. получил обратно венгерский паспорт, которого его лишили в 1987 году, а в 1997 году стал гражданином Швейцарии.

В 1996–1997 академическом году был приглашен на пост профессора по гуманитарным наукам на кафедру англистики во Флоридском интернациональном университете (Florida International University, Miami, USA).

В 1998 году читал пленарный доклад на Нобелевском симпозиуме по художественному переводу в Стокгольме.

В 1999–2000 академическом году был старшим исследователем в исследовательском институте в столице Венгрии (Collegium Budapest for Advanced Studies).

В 2002 году он читал юбилейный доклад в международном Обществе Эразма Роттердамского (Erasmus of Rotterdam Society) в Голландии.

Последней завершенной работой Маркиша в октябре 2003 году был совместный с Жужей Хетени перевод романа венгерского Нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность» на русский язык, за который они были удостоены призом-стипендией по художественному переводу Милана Фюшта при Венгерской Академии Наук.

Он умер внезапно 5 декабря 2003 году в Женеве.



## **Библиография работ Шимона Маркиша по античности**

### **Книги**

- 1962 Гомер и его поэмы. М., Государственное Издательство Художественной литературы. 1962. 126 с.
- 1964 Слава далеких веков. Из Плутарха. Пересказ с древнегреческого. М., Детская литература, 1964. 270 с.
- 1967 Миф о Прометее. По Гесиоду, Платону и другим древним писателям, греческим и латинским, пересказал Симон Маркиш. М., Детская литература. 1967. 60 с.
- 1968 Тит Ливий. Война с Ганнибалом. Пересказ с латинского. М., Детская литература. 1968. 408 С. = 1996 СПб., Лимбус Пресс. 1996. 405 с.
- 1988 Сумерки в полдень. Тель-Авив, Лим, 1988. 255 С.  
= 1999 Сумерки в полдень.  
СПб., Университетская книга, 1999. 317 с.

### **Статьи**

- 1956 Вступительная статья и комментарии. // Апулей. Золотой осел. Перевод М. Кузмина под редакцией С. Маркиша и А. Сыркина. Государственное Издательство художественной литературы, М., 1956. С. 3–22., 256–278.
- 1956 О языке и стиле Апулея. Комментарии. // Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. Издательство АН СССР 1956. С. 3–23, 373–376. = 1993 // Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. М., Наука, 1993. С. 373–377, 378–432.
- 1959 Несколько заметок о переводах с древних языков. // Мастерство перевода Сб. 1. 1958, М., Советский писатель. 1959. С. 153–172.
- 1963 Послесловие, перевод, примечания // Плутарх: Сравнительные жизнеописания, в трех томах. Подготовка издания, примечания, переводы. М., Издательство Академии Наук СССР Т.1: 1961. С. 501 (перевод, примечания); Т. 2: 1963, С. 545. (примечания); Т. 3: 1964. С. 546. Послесловие: 595–597.



- 1964 Памятники поздней античной литературы (рецензия). // Вопросы литературы 1964. 12. С. 205–208.
- 1964 Ученым и переводчикам (рецензия). // Вопросы литературы 1964. 8. С. 227–229.
- 1964 Ученым и переводчикам (рецензия на перевод Егунова). // Мастерство перевода Сб. 4. 1964. М., Советский писатель. 1965. С. 227–237.
- 1965 Античная библиотека. // Вопросы литературы 1965, № 5. С. 222–229.
- 1967 Путь к Гомеру. Вступление. // Гомер. Илиада. Одиссея. Пер. Н. Гнедича. Примеч. В. Ошерова. М., Художественная литература, 1967. С. 5–20.
- 1968 Римская летопись. Послесловие. // Тит Ливий. Война с Ганнибалом. Пересказ с латинского. М., Детская литература. 1968. С. 386–394. = 1996. С. 380–389.
- 1968 Античность и современность (Заметки переводчика). // Новый мир 1968. № 4. С. 227–237.
- 1968 От веры к религии. Рецензия на книгу А. Каждана. // Прометей 1968. № 5.
- 1970 Вопросы и ответы. // Мастерство перевода 1969. Сб. 6. М., Советский писатель. 1970. С. 284–289.
- 1992 «Господь – сила моя и песнь...» // Континент 74 (1992), С. 255–264.
- 1994 «Господь — сила моя и песнь...» (Предисловие и примечания.) // Книга Псалмов (Псалтирь). «Восточная литература», М., РАН – Школа-Пресс 1994. С. 5–16.
- 1998 Старший классик (опыты участника). // Тыняновские чтения, вып. 10. / ред. Е. А. Тоддес. М., 1998. С. 662–669.  
= 2001 Советская античность (из опыта участника). Итоги советской культуры (конференц-зал). // Знамя 2001. 4. С. 188–191.
- 2000 L'Antiquité soviétique d'après l'expérience d'un participant. // Transitions. Bilan de la culture soviétique. Vol. XLI-2. Université de Genève – Institut Européen, 2000. 97–104.

## Переводы

- 1955 Лукиан. Три диалога, часть примечаний. // Избранные атеистические произведения. / Под ред. А. П. Каждана. Серия Научно-атеистическая библиотека. М., Издательство Академии Наук СССР.
- 1964 Апулей. Апология. Флориды // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства века. / М. Е. Грабарь-Пассек. М., Издательство Наука, 1964. С. 96–107, 108–115.
- 1993 Апулей. Апология. Флориды. // Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды. М., Издательство АН СССР 1993. С. 5–98, 317–356.
- 1963 Плутарх: Сравнительные жизнеописания, в трех томах. Подготовка издания, примечания, переводы. М., Издательство Академии Наук СССР.  
Т.1: 1961. С. 501 (переводы, примечания).;  
Т. 2: 1963, С. 493–545. (примечания);  
Т. 3: 1964. С. 546. (все переводы, примечания, послесловие)  
= 1994 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В двух томах, М., “Наука”, 1994. Т. 1. С. 5–92., 114–131., 150–175., 201–405.; Т. 2. С. 203–578.  
= 2001 Плутарх. Сравнительные жизнеописания, в трех томах. СПб., Кристалл, 2001.
- 1965 Платон: Федон. // Платон: Избранные диалоги. М., Художественная литература, 1965. С. 325-414.
- 1970 Гай Саллюстий Крисп: Заговор Катилины, Война с Югуртой. // Историки Рима. / Редакция, перевод и примечания С. Маркиша. М., Художественная литература, 1970. С. 35–140.

## A Summary

*The first volume of "The Unvanished Past. Collected Works of Shimon Markish" includes two books, his two "retellings" and eight of his important texts — forewords, afterwords, and theoretical essays, organically adjacent to the translations of the authors of antiquity from Ancient Greek and Latin (Homer, Apuleius, Plutarch, Livy), performed before Markish's emigration, but mostly not republished in the last 50 years. The volume ends with his latest article (but about a most ancient text): his preface to the new translation of the Psalms.*

*This edition is launched for commemorating the 90th birthday of Shimon Markish (March 6, 1931–December 5, 2003).*

*The uniqueness of this series consists in the fact that it covers all the fields of Markish, a classic philologist, researcher of the era of Humanism-Renaissance-Reformation and the founder of the now flourishing research area of "Russian-Jewish literature"; and in the fact that it shows him as a researcher, publicist and translator at the same time, but especially in the fact that — unlike the first editions of these texts (often with errors), their illegal versions (on the Internet or reprint books) — all texts are corrected on the basis of original manuscripts, typescripts and articles in journals and books corrected by the author's hands even after publication, from his library and archive. The volumes of the series include also archival materials that have never been published or only in other languages; and the full version of those texts that were shortened by editors as well.*

\* \* \*

*This open-access text **has copyright restrictions** entailing the obligation of proper referencing and quoting according to common academic rules.*

*Any form of reprinting or reusing is allowed only by permission or by contract with the copyright holder.*

